

ГРАНИ

GRANI

89-90

1973

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Juli - Dezember

В. Максимов



История жизни большой рабочей семьи Лашковых в период от революции 1917 года и до наших дней — художественно достоверное отражение будней трудовой России, простых русских людей, задавленных и обманутых властью и с мучительным недоумением задающих себе вопрос: «Что же случилось с нами? Что?»

Роман проникнут верой автора в могучие жизненные силы народа, в его будущее.

Большой формат, 512 стр., твердый переплет с золотым тиснением. Цена 28.80 н. м.

Уменьшенный карманный формат, в мягком переплете «Скай» с золотым тиснением. Цена 18.40 н. м.

Роман проникнут идеей самопознания и самосовершенствования человека... Пройдя через «карантин» жизни, герой и героиня этого произведения приходят к пониманию истинной любви, к познанию сути человеческого бытия, познанию пути к Богу. Высокая символика перемежается в романе с конкретностью обыденной жизни современной России,



изображенной автором с большой силой художественного таланта.

Твердый переплет с серебряным тиснением, 352 стр.
Цена 23.50 н. м.

Суперобложка обеих книг работы художника Н. И. Николенко.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVIII

№ 89-90

1973 год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ — Прощание из ниоткуда. Роман.
Часть вторая 3

ПОЭЗИЯ

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА — Из цикла «Рогожа»: «День Иоанна
Богослова...». «Метёт, метёт декабрьская тьма...».
«Не обелить мне этих дней...». Стихи 96

АРКАДИЙ ЦЕСТ — Реквием о Виолетте. Поэма 98

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ-АГАТОВ — «Так проходит за годом
год...». «На Мордовской земле...». Стихи 102

АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК — Памяти Петефи. Стихи 103

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ШАЛОМ ИОСМАН — Рейс 265. Продолжение 104

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Ю. Т. Галансков — поэт и человек. Сборник. Самиздат. 143

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС ФИЛИППОВ — Вячеслав Иванов 204

Н. АНТОНОВ — Годы безвременщины 229

ПЕТР ОДАБАШЬЯН — Духовный мир героев А. И. Сол-
женицына 246

РОНАЛЬД ЛЭЙН — Ф. И. Тютчев (1803 — 1873) 269

ИСКУССТВО

- МИХАИЛ ГОЛЬДШТЕЙН — О композиторе Б. Тищенко и советской монополии на музыкальные произведения 285

ПУБЛИЦИСТИКА. ФИЛОСОФИЯ

- АБДУРАХМАН АВТОРХАНОВ — Зарождение криминального течения в большевизме («экссы») 297

- АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК** — «Новый колокол» 329

- ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) — Исихазм 344

БИБЛИОГРАФИЯ

- Владимир Самарин. Горение духа. — Борис Филиппов. Не лира, но кисть. — А. Шифрин. «Рывок». — † О. Можайская. Полнота воспоминания. 358
- Редакционная почта. С. Кирсанов. Письмо в редакцию 377
- Список книг, поступивших в редакцию 382
- Обращение издательства «Посев» 387

Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора, не обязательно выражают мнение редакции.

Не принятые к публикации рукописи редакцией не возвращаются.

© 1973 Copyright by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»

Прощание из ниоткуда

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

«Здравствя дорогой мои Владик письмо твае я получила большое тибя спасибо ты ниможиш сибя представить как я была рада вместе стваим получила от тани ието было тожи большой радостью пока читала лецо смочила слизами очинь скучаю и много плачу все для миня чужое ничего нет роднова бываит такая таска низнаю куда сибя деть что делать нимагу сабой справитса здравя моя ниважная часто балит печинь дорогой Владик ты замине нибеспокоиси как нибудь может все проидет буду тирпеть пока подростут дети очинь часто спрашивают алеша как только утром встает то спрашивает как сичас в Москве как мой дядя Вова говорит вырасту и поеду книму иногда дажи доходит дослез хачу вмаскву ира никогда ниоком ниспоминает а вся вбабушку никем особено нитирисуется будит наверно очинь жистокая даладно посмотрим дорогой Владик ты обмине ниочинь беспокоися надеись набога можит он нам поможет стабои встретитса ты харашо знаишь маю жизнью я прожила всю вслизах нибыло уминя неодного отрадного дня радости нечиги делать знать мая такая

Продолжение. Смотри первую часть романа в «Гр а н я х»
№87 - 88. — Р е д .

судьба буду тирпеть этам будит видно пока все досвидания дорогой Владик цылую крепко жду ответ»...

Господи, Господи, Господи! Куда я денусь от этого голоса и от этой мольбы? Прости меня, тетка моя, Мария Михайловна, еще раз прости! Мой грех — благословить тебя в Синайскую чужбину — и на том каюсь...

«Здравствуй, родной мой! Давно тебе не писала, но и от тебя тоже очень давно нет писем. Спасает телефон — либо Юра с тобой говорит, либо с кем-либо из своих ребят, которые всегда о тебе рассказывают. Я понимаю, что тебе очень трудно писать, но я надеюсь, что ты нас не забываешь. В конце июля — начале августа я была безумно занята: сдавала экзамен, чтобы Министерство воспитания и культуры выдало мне разрешение работать в школе. Ощущение от экзаменов и настроение было отвратительным; ты же понимаешь, что в августе я размениваю четвертый десяток, уже было в жизни, в работе какое-то устойчивое положение и даже вес, а здесь чувствуешь себя, как маленький ребенок, с трудом лепечешь что-то на иврите, а они снисходительно улыбаются. Сейчас я уже немножко отошла. Видимо, между пятнадцатым и двадцатым августа мы переедем в Хайфу. Много надежд питаю я на этот переезд, особенно связанных с Марией Михайловной. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно — пусть только придет к ней выздоровление. Мне кажется, что она себя уже довела до точки. Ужасно тягостная атмосфера в доме. И она сама это понимает, но ничего-ничего не может с собой поделать. Меня особенно тревожит ее озлобление. Она никогда такой не была. Тебе уже, наверное, надоело, что я всё пишу об этом, но ты пойми — я буду самым счастливым человеком, когда мне уже не придется тебе жаловаться. Может быть, ты ее попросишь, чтобы она тебе написала откровенно всё, что ей не нравится, может быть, мы или я как-то не так себя ведем, что-то не так делаем.

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

А в остальном вроде бы пока нормально. Ребята чувствуют себя хорошо, бегают. Ирка с первого августа ходит учить иврит, Лёшка еще в детском саду. День его рождения прошел очень хорошо. Мы ему купили много игрушек — от дяди Вовы, бабушки, дедушки и от всех нас. Он был доволен. Он вырос, загорел, лазает по стенкам и по шестам, как обезьянка, на одних руках. И очень смешной он и ласковый, но баловник ужасный. Все американские и местные наши тетушки и дядюшки от него в восторге. Про Ирку говорят, что она стала очень серьезная и самостоятельная, раскованная. Она уже хорошо говорит на иврите, Алёшка уже почти всё понимает, хотя говорит мало, но у него всё впереди. Скоро должно быть готово много фотографий. Обязательно пришьем. Юрины родственники из Штатов очень нам помогли — дали денег на первый взнос за квартиру. Наконец-то я видела эту квартиру — знаешь, по сравнению с тем, что мы имели всегда, это прекрасно. Очень хороший, красивый район на горе, видно город внизу и море. И там не так жарко, как внизу, но довольно влажно — из-за моря. Когда переедем, то я сфотографирую и самый дом и квартиру и пришлю тебе.

Вот, пожалуй, и всё. Я тебя очень прошу, позванивай изредка Юриным родителям. К ним совсем никто не приходит и не звонит. А они старые, больные и одинокие. Хоть иногда, пожалуйста.

Я много о тебе думаю, мне очень тебя не хватает, я не говорю, что я всегда понимала тебя, но то, что ты всегда понимал меня и даже без лишних слов — это точно. Нелегко мне здесь, очень нелегко, но, поверь, я стараюсь держаться — о том, что нелегко, я говорю только тебе, ибо Юре это не нужно знать, он не должен чувствовать себя ни в чем виноватым.

Ну ладно, будь здоров, береги себя и не забывай нас.

Обнимаю и целую тебя крепко. Катька»...

Где же мне забыть вас, плоть и кровь моя? Это всё равно, что забыть себя...

Влад закрыл глаза и попытался представить себе и эту землю, и этот небосвод, и это море, над которым повис среди обжигающего зноя и пологих холмов белый, словно бурнус кочевника, город. Он мог бы поклясться сейчас, что когда-то ему уже доводилось видеть нечто подобное. Да, да — только нечто подобное: жалкий слепок с оригинала, любительский негатив так и не проявленного снимка, халтурную копию с великолепного макета в натуральную величину.

Но когда, где, при каких обстоятельствах?
Стоп!..

2

Белое, чуть подсиненное море, желтое безлесое взгорье, скопление серых коробок вокруг убогого вокзала — Красноводск. И зной, зной, зной. Зной, пропахший тюремным запахом вара и карболки. Зной, от которого, кажется, высыхают мозги и в жилах сгущается кровь. И песок на зубах, с которым ты, минуя расстояние, равное чуть не четверти земной окружности, уже не расстанешься до самого Оренбурга.

Когда Влад в пестрой толпе прибывших поднялся в город, провальное небо показалось ему с овчинку. Оттуда, из-за низкорослых взгорий веяло потаенной жизнью дремучих песков. Ему казалось, что в их раскаленном дыхании он явственно различает безостановочную работу несметного множества тварей, ткущих вечную паутину своего подспудного мира. Змеи и ящерицы, фаланги и скорпионы, мыши, мангусты, шакалы, яростно пожирая друг друга, а иные и самих себя, оплодотворяли песчаную сушь своим прахом и новым семенем. Грозные Кара-Кумы обступали город многофигурными легионами магических миражей, и он — этот город — жался к морю, отчаянно цепляясь за самый краешек спасительного плоскогорья.

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

От пристани дорога брала вверх, и по ней, растекаясь затем в разные стороны, тянулась, словно похоронная процессия, палубная рвань голодного сорок шестого года. Она высаживалась здесь каждое утро и с первым же поездом пускалась через пески к благодатной земле зеленых долин Средней Азии в поисках тепла и хлеба. Кого только здесь не было! Отощавшие молдаване, выделявшиеся среди прочих бровастыми лицами загнанных конокрадов, в латанных и перелатанных обносках, хохлы с дежурной готовностью в голодных глазах, целые кланы татар, обалдевшие от собственного крика, и русские, русские, русские — всех возрастов и обличий, вечные перекасти-поле, бездумные странники, искатели кисельных берегов, словно от рождения клейменные тоской и одиночеством. Пустыня втягивала их всех в свое огнедышащее жерло, чтобы вскоре отрыгнуть то, что от них останется на другом краю континента, где-нибудь под Оршей или Актюбинском.

Когда общий поток вынес Влада в город и, растекшись по улицам и переулкам, оставил его наедине с дорогой, он неожиданно услышал позади себя торопливые шаги.

— Тормози, пацан, разговор есть. — Хриплый, с частыми придыханиями голос возник наконец у его плеча. — Тебе говорю.

И тут же бок о бок с ним обозначился тощий, целой головой выше его парень в заношенной путевой шинельке с чужого плеча и путевой фуражке на коротко остриженной голове. Идя рядом, тот оценивающе косил в сторону Влада слегка прищуренным совиным глазом и всё старался приноровить свою размашистую рысь к его неторопливому покачиванию.

— Ну? — сказал Влад. Неожиданное соседство не вызывало в нем большого восторга. Горький опыт бродяжьей жизни давно отбил у него охоту к скоропалительным знакомствам. — Чего тебе?

— Давно бегаешь? Куда канаешь? Откуда сам? —

Тот спрашивал, не ожидая ответа. Желваки под его пергаментной кожей сурово поигрывали, острый подбородок вопросительно кружил над Владом. — Я еще на пароходе тебя приметил. Чую, малый битый. Мне партнер теперь позарез. Сквозим на базар. Отвод сумеешь дать?

После той, Батумской истории Влад навсегда зарекся ввязываться в авантюры, подпадающие под какую-либо статью уголовного кодекса, но голод уже давал себя знать, да и роль, отведенная ему напарником в предстоящей операции, ограничивалась минимальным риском.

— Ладно, — поддаваясь искушению, деловито кивнул он, — в случае чего — ты меня не знаешь, я тебя не знаю.

— Учи ученого...

Жиденский базар мало способствовал их предприятию. Редкий, как видно, здесь покупатель к полудню и совсем улетучился, оставив своего туземного продавца на попечение жары и мухам. На скупо затененных прилавках жухла и плавилась неказистая снедь — мокрый творог на застиранной марле, кислое молоко в разнокалиберных банках, скупые горки изюма, изреженная россыпь сушёных абрикосов и кое-где среди этой сиротской пестроты, наподобие сторожевых курганов, — матово лоснящиеся бурдюки, залитые бараньим мясом в сале. И над всем этим, вровень с прилавками, зорко бдели слезящиеся от трахомы и зноя глаза хозяев, устремленные перед собой из-под паранджи или халата: нас не тронешь — мы не тронем!

Время от времени на пороге входной будки появлялся милицейский сержант в надвинутой на самые глаза фуражке, сонно потягивался, окидывая вверенную ему базарную территорию, и, видно, вполне удовлетворенный осмотром, снова исчезал в спасательной полутьме сторожевого помещения.

— Вон видишь: с самого краю божья коровка в бу-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

сах. — Жертва была выбрана, оставалось ждать, когда спадет жара и базарная суета облегчит им поставленную задачу. — Гляди за ней в оба, а пока перекурим в тенечке.

— Я не курю.

— Я тоже, — угрюмо ухмыльнулся тот, опускаясь под прилавок пустующего ряда. — Сушь поубавится, разбудишь... Старуху не прозевай смотри...

Не спуская глаз со злополучной старухи, Влад кружил по рыночному пятаку в ожидании торгового пика, и немилосердное солнце то и дело взрывалось у него в глазах радужными фейерверками. Пронзительный звон распирал голову, отдаваясь в висках гулкой ломотой. Колючая пыль першила горло, жгла подошвы, проникала в каждую пору кожи. Теплая и, как во сне, неосязаемая вода из колонки, не утоляя жажды, лишь собиралась в подреберье тошнотворно тяжким комком.

К тому времени, когда порядком обליнявший диск солнца нехотя коснулся наконец гор, Влад уже люто ненавидел ее — эту старуху. Закинув паранджу за спину, она была вшей в складках халата... Она была их с таким самозабвением и остервенелостью, словно в этом занятии заключался для нее какой-то высший и доступный только ей смысл. Подслеповатые гноящиеся глазки ее изредка вскидывались, затуманенно вперяясь в пространство перед собой, и тут же вновь соскальзывали вниз, к своему безостановочному поиску. Казалось, было слышно, как позвякивают в такт каждому движению монисты на ее халате.

Базар ожил сразу, едва спала жара и первые тени коснулись стен и прилавков. Изо всех щелей и укрытий на базарную площадь потянулась пестрая нищета всеобщей разрухи: безногие пехотинцы и слепые во флотских бушлатах, беспаспортные бродяги из недавних мастеровых, обветшавшие в долгой эвакуации косяки сотворгслужащих, беспризорники послевоенного призыва, пенсионеры и залетные воры, вчерашние

фронтвики и местные кочевники. барыги, менялы, филера. Человечество хотело есть, но спрос явно превышал предложение, и поэтому надо было спешить.

С облегчением сворачивая под навес, Влад тихонько толкнул напарника:

— Пора вроде.

Тот будто и не спал совсем, мгновенно скосил в его сторону круглый, с горячечной искрой внутри глаз, деловито осведомился:

— Старуха на месте?

— Куда она денется.

— Не напортачишь?

— Делов куча — «отвод» дать!

— Ну, ну, — примирительно осклабился тот, подаваясь в толпу, — пикируй с умом, а то сцапают. Дуй потом на опресниловку, я там буду...

Задача перед Владом стояла нехитрая: отвлечь внимание старухи на себя, пока напарник будет шарить под ее прилавком. Чуть потерявшись в базарной толчее, он стал медленно выкручивать к цели. Резкое, обрамленное полосатой накидкой лицо туркменки пергаментным пятном возвышалось теперь над рассыпчатыми срезами курдюков, и трахомные глазки ее подслеповато щурились. Точь-в-точь сказочный Кащей, чахнувший над своим златом.

Всё разыгрывалось, словно по нотам. Стоило Владу, изображая из себя заправского покупателя, протянуть руку к товару бабки, как та моментально преобразилась. И куда только девалась сразу ее старческая апатия и сонливость! Разгневанно встрепенувшись, она, будто внезапно потревоженная клушка, захлопала пестрыми крыльями своего халата и зашлась, закудаhtала на единственно понятном для них обоих языке:

— Кышь... Кышь! — Казалось даже, что она вот-вот взлетит. — Кышь, шолтай-болтай!.. Кышь!..

Потешаясь, Влад еще поиграл с ней, подразнил старуху, правда, ровно столько времени, сколько понадо-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

билось напарнику, чтобы слегка облегчить ее запасы под прилавком. Но едва тот с увесистым курдюком под мышкой канул в окружающей толчее, он сразу потерял к ней всякий интерес, повернул прочь, и лишь у самых ворот его настиг истошный вопль незадачливой торговки. «Кричи теперь, — мысленно позлорадствовал Влад, направляясь в сторону моря, — может, полегчает».

Партнер не подвел Влада. Когда после недолгих поисков он выбрался на пологий берег за опреснительным заводом, тот уже поджидал его у наскоро раздутого костерка, орудуя перочинным ножом над их общей добычей.

— Садись, хавай. — Горка ребристых, отливающих стывшим жиром кусков росла под его рукой на аккуратно расстеленной рядом с огнем газете. — Тебя как зовут?

— Влад, — сглатывая голодную слюну, выдавил он. — «Боксер» кличка.

— Смотри! — Тот поднял на него насмешливые глаза. — В чем душа держится, а туда же — в люди. — Но тут же и подобрел: — Ладно, ладно, в дерьмо не лезь, наваливайся лучше, набьешь пузо — отойдешь... Зови меня «Серый», а если проще, то Серёгой. Лады?

— Угу, — благодарно промычал Влад, целиком занятый едой. — Угу...

Надолго запомнится Владу тогдашняя трапеза. Пройдет много лет, а ему будет сниться и сниться эта голодная оргия на пустынном берегу Каспия. Гора мяса таяла у них на глазах. Они глотали его, почти не пережевывая. Рассыпчатый жир вязкой пеленой обтягивал им дёсны, мясные волокна забивали прощелины зубов, нёбо ныло от напряжения. Глаза уже не смотрели на еду, но челюсти всё двигались и двигались, пока их собственные животы не отказали им, и лишь тогда они разом отвалились на спину и впервые по-настоящему увидели море и берег, и вечернюю высь над головой.

Блаженная истома сморила Влада. Алый закат до-тлевал над горизонтом, вода кротко поплескивалась чуть не у самых ног, потаенно гудели неподалеку установки опреснительного завода. Заполняясь глубиной и умиротворенностью окружающего, он, словно перенасыщенная губка, бездумно впитывал в себя неторопливую, с долгими паузами речь напарника:

— Держись за меня, малый, не пропадешь. Я, брат, с двенадцати лет бегаю, одних судимостей пять штук собрал и все по делу. Что-что, а кусок хлеба достать сумею, век свободы не видать. А сюда, в Азию, уже по третьему кругу захожу, в первый раз еще до войны был, место хлебное, фраеров — хоть отбавляй, жить можно. Потом в войну с госпиталем на том же «Багирове» привозили, после ранения отлеживался...

— А ты и воевал, значит?

— Воевал! Скажешь тоже. Два раза навывлет произошло. Один раз винтовочной, другой раз разрывной. И в плену тоже коптел, недолго только, в побег ушел, под Прагой довоевывал. Меня потом учиться посылали, только мне это дело без пользы. Я вольный казак, свободу люблю. Пускай Сталин думает — у него голова большая, а мне и неучёному хорошо. Вот только с прошлого года грудью слабеть стал, кашель заедает — сил нет. Говорят, здесь вода недалеко есть, лечит. Верная братва адресок дала, поеду попробую. Попытка — не убыток. — По ту сторону города возник, нарастая, протяжный паровозный гудок. — Ашхабадский-скорый карячится, через три часа обратным ходом пойдет. Устроим-ка дежурный перекур с дремотой и айда на вокзал...

Поздним вечером Ашхабадский-скорый уносил их сквозь остывшие пески в заманчивую неизвестность долгой пустыни. Лежа внизу, на «собачьем» ящике, Влад засыпал, насквозь пронизанный обезвоженным ветром ночных Кара-Кумов, под ликующую песню вагонных колес: «Лежи и спи, лежи и спи, лежи и спи...»

Здравствуй, Азия, летящие сквозь ночь приветствуют тебя!..

Серый, Серёга, Сергей! Его связь с тобой отныне и навсегда сделалась нерасторжимой. Может быть, теперь, в третьей части жизни, эти стремительные два года и покажутся ему порой лишь кратким сполохом, далекой зарницей, резким росчерком падучей звезды в будничной мгле позади, но всякий раз, едва он вспомнит о них, сердце в нем упоенно зайдет, распахиваясь прошлому. И он отчетливо представит себе каждый день, каждый час, каждую минуту этих быстрых лет от той трапезы в Красноводске до того знойного полдня во дворе Таганской тюрьмы, когда хмурый конвой развел вас по разным этапам, которые уже не пересеклись.

Но, надо думать, предназначенное расставанье обещает встречу впереди! Надо думать.

3

Четыре глинобитные, в остриях битого стекла по верху стены колонии почти на целый человеческий рост возвышались над остальной частью города, и поэтому казалось, что за ними ничего нет — сквозная пустота, песок и небо. И только дневной гомон на расположенном вблизи зоны саксаульном складе да похоронные всплески сопредельного с ним кладбища напоминали о незамирающей за оградой жизни провинциальной столицы.

Прежде чем попасть сюда, Влад до глубокой осени еще покружил, поотирался по «банам»¹ и «шанхаям»² сонных городишек, прозябавших в песках между Ашхабадом и Чарджоу, помогая Серёге, а порою пробав-

¹ Бан — вокзал (жарг.). — В. М.

² «Шанхай» — стихийно возникший пригород (жарг.). — В. М.

ляясь самостоятельно. Тот большую часть времени держал его рядом, лишь изредка позволяя ему действовать на свой страх и риск. Незаметно для себя Влад и сам вскоре привязался к чахоточному бродяге из недавних фронтовиков. Было в Серёге что-то такое, что заставляло окружающих проникаться к нему почти безотчетным доверием. Сквозь личину насмешливой угрюмости в нем пробивалась неистребимая жажда взаимопонимания. Он не любил одиночества, даже тяготился им, всем «малинам» и «хатам» предпочитая кирпичный завод, где под крышей, «на потолке» гофманской печи ночлежничала чуть не вся заезжая шантрапа. Здесь Серёга чувствовал себя как рыба в воде. Ему заметно льстило почтение, каким окружала его как законного вора нищая братия, но при этом он не зверел, не заносился, стараясь сделать свое присутствие среди нее по возможности менее обременительным и заметным. Он щедро делил остатки дневной добычи поровну между всеми и, главенствуя за полночь на этой сиротской трапезе, беззлобно посмеивался:

— Налетай. сохачи! Давай-давай, подешевело, расхватали — не берут! Зря только по дворам ходите, нынче у здешних фраеров не то что хлеба, матерного слова не выпросишь. Потроши их, мать их в корень, грабь награбленное! Сидели тут по тылам, отъедались, теперь наша очередь... Рубай, Вадька, завтра еще достанем.

Эта его общительность и подвела их. Кирпичный завод был идеальным объектом для облав. И хотя обычно близкие к горотделу люди предупреждали Серёгу о предстоящем милицейском налете, однажды обратная связь не сработала и им не удалось избежать общей участи. Во дворе горотдела задержанных рассортировали: Серёгу в компании взрослых отвели к дежурному, где его ожидала очередная подписка, а Влада с группой малолеток направили в детприемник, откуда он как злостный правонарушитель попал в колонию.

Жизнь здесь оказалась немногим посылтнее воль-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

ной, но зато, после долгого перерыва, Влад снова до- рвался до книг. Их спасительный дурман облегчал ему его существование среди самодеятельного ада а ля Ма- каренко.

Какой поистине садистской болезненной фантази- ей нужно обладать, чтобы выдумать эдакое подобие ка- зармы с тою лишь разницей, что власть в этой казарме принадлежит подросткам из наиболее отъявленных, не ограниченных к тому же ни опытом возраста, ни за- коном.

Поощряемые сверху, маленькие изуверы с коман- дирскими нашивками на рукавах упоенно соревнова- лись в заплечной изобретательности. Били всех и вся- кого по поводу и без повода, в счет будущего, авансом, для остротки. Побои даже не воспринимались всерьез, до того они были привычными.

Малейшее неповиновение каралось куда более строже и беспощаднее. Этой цели служил целый набор всевозможных экзекуций. Самой легкой из них счита- лась «чайка»: провинившегося по несколько раз под- брасывали на опрокинутые вверх ножками и сдвину- тые вместе табуретки. Затем по разряду следовала «припарочная». От пяти до пятнадцати ударов чулками, туго набитыми песком. Не оставляя следов, они надолго отбивали внутренности. Высшей же мерой считалась «пирамида»: с увесистым поленом в вытянутых над со- бою руках жертву ставили на самом солнцепеке, пред- варительно насыпав ей соли под коленные чашечки, и в этом состоянии выдерживали до полного ее беспамят- ства.

Вкус власти над ближним кружил остриженные под нулевку головы, раздувая хрупкие ноздри пороком и похотью. Юные педерасты с ухватками капризных содержанок косяками бродили по зоне, источая вокруг себя смрад и зависть. Голодные стукачи печально сло- нялись из барака в барак в поисках неосторожного сло- ва и опасного замысла. Игра и торговля своим молодец-

ким размахом достигали временами высот сказочного Багдада эпохи процветания. И неизвестно было, над чем чуть ли не с каждой плоскости внутри зоны посмеивался в прокуренные усы бывший Горийский правонарушитель, которому, родись он полвеком позже, наверное, одним из первых пришлось бы испытать на себе все красоты и прелести этой «педагогической поэмы».

Активисты попробовали обломать Влада в карантине. Препровожденная с ним бродяжья подорожная вызвала у них невольное уважение: пять детприемников в пяти городах по пяти фамилиям разыскивали беглеца, борясь за его первородство. К нему подступились с угрозами, он отмалчивался. Его попытались вытащить из общего изолятора в дежурку для особой обработки, он пригрозил повеситься. Тогда на него махнули рукой (мол, чокнутый) и оставили в покое. Репутация тронутого, смурного, ненормального прочно закрепилась за ним, освобождая его от назойливости воспитателей и опеки стукачей.

В ремонтном отряде, куда Влада в конце концов определили, он продолжал держаться особняком, чураясь случайных знакомств и сближений. Его заметно побаивались: новичок, устоявший против соблазнов и экзекуций карантина, вызывал здесь невольное уважение, смешанное со страхом. Даже мастер — скуластое, туго обтянутое розовой кожей лицо с вытатуированной «мушкой» на впалой щеке — из бывших колонийских же активистов, глядя на него, насмешливо хмыкал:

— Посмотришь, вроде соплей перешибить можно, а, видать, двужильный. Побачим, надолго ли тебя хватит?

Но глаз с него не спускал, при каждом удобном случае стараясь отравить ему существование. Укрощенное самолюбие недавнего «пахана» ревновало к упрямой гордыне залётного шкета. Он преследовал Влада

с упорным злорадством человека, глубоко уязвленного в своем понимании человечества. О, бедное человечество! Заставая Влада врасплох за куревом или бездельем, мастер сжимал ему подбородок цепкими пальцами старого картежника и медленно поводил им из стороны в сторону:

— В законе, значит, ходишь? Где нам в лаптях до вас в калошах, значит? Гусь свинье не товарищ, говоришь? Гляжу, совет командиров по тебе соскучился. Может, сходишь, потолкуешь с пацанами. Или еще бока после карантина не отошли? Иди, в следующий раз накрою — пощады не проси, век мне свободы не видать...

Влад жил, словно скрученная до отказа пружина, готовый в любую минуту расправиться для удара. Вражда окружала его со всех сторон: круговая порука не терпела исключения из правил. Воительное упрямство могло обойтись ему более чем дорого. Он находился в постоянном ожидании подвоха. Словом «тёмная», казалось, был напоен самый воздух вокруг него. Даже ложась спать, Влад не расставался с чугунным прутом, запасенным им на случай вынужденной драки. Но когда напряжение достигло предела и неминуемое должно было вот-вот совершиться, обстоятельства внезапно переменились.

Как-то после развода мастер задержал его и, отводя глаза в сторону, сунул ему в руки записку:

— Держи... От Серёги... Что ж ты не сказал, что с «Серым» бегаешь, темнил на свою голову. — Жёсткие губы его жалобно скривились. — Чуть я греха на душу не взял, до смерти потом не расхлебал бы... Я тебя вечером в клубе ждать буду, прикинем, что к чему.

Влад сразу узнал размашистые каракули напарника: «Рви когти. Этот чмур тебе поможет. Сергей». Он чуть не заплакал от нахлынувшей на него благодарной нежности: «Не забыл пахан, выручил». Снова и снова перечитывал он записку. «Век не забуду!».

Вечером в темном углу клубных сеней мастер из-

ложил Владу свой план побега:

— Пойдешь ночью в воскресенье прямо через ограду, так вернее, лаз в «запретке» я тебе обеспечу. С пацанами я тоже договорюсь, подымут «бузу», дадут отвод. Дувал здесь с битым стеклом поверху, матрасом подстрахуешь себя для верности. Доска тебя в «запретке» ждать будет, лучше всякой лестницы. Годится?

— Попробую...

— Скажи Серому, что я тебя не трогал, лады? — Страх в нем был сильнее самолюбия, он почти заискивал перед Владом. — Скажешь, да? Ты же сам виноватый, признался бы сразу, а то темнил. Будь человеком, за мной не останется... Он же меня со свету сживет, а у меня семья в городе. Скажешь, да?

Предательский соблазн отыграться сразу за всё здесь пережитое на мгновение поманил Влада, но мастер смотрел на него с такой надеждой и такая при этом собачья просительность сквозила в облинявших его глазах, что он не выдержал, переборол искушение:

— Ладно, скажу...

В дни, оставшиеся до условленного срока, Влад, пользуясь попустительством мастера, с утра до вечера пролеживал на крыше аварийного барака над очередной книжкой из небогатой здешней библиотеки. Именно там, у разохшегося шкапа, набитого беспорядочным книжным хламом, судьба сыграла с ним злую шутку, подсунув ему следом за непритязательным Львом Шейниным «Происхождение видов» Дарвина. Путаясь в именах собственных и мудрёной терминологии, Влад торопился уяснить себе смысл и логику авторских рассуждений, а когда уяснил, всё в нем сдвинулось и запротестовало: он не хотел, не имел никакого желания вести свою родословную от обезьяны! Ему стоило только представить этих тварей — неудачную издёвку природы над собой — в спутанной шерсти и струпьях на сидячих местах, чтобы тут же содрогнуться в омерзении и тошноте.

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

В воскресенье мастер, словно бы прогуливаясь, повел его вдоль забора.

— Вот здесь, — показал он глазами на укороченный столб «запретки» между туалетом и столовой. — Проволока тут на соплях держится, ребятня постаралась. Доска за сортиром лежит, поставишь и — коротким разбегом вверх. Возьми лучше одеяло, с матрасом возни много. Сложишь вдвое, лучшей подставки не надо, стекло здесь мелкое, байку вдвое не пробьет...

— А отвод?

— Пацаны начнут сразу после отбоя. Всё будет в лучшем виде. Как только запоют и надзорслужба хай подымет, рви смело, до утра не рюхнутся.

— Гора с горой. — Мастер отвернулся, и глухой голос его надломленно дрогнул. — Не держи на меня зла... не я — первый, не я — последний. Сам знаешь, жизнь такая: кто — кого, дави крайнего.

И прошел вперед мешковато и торопливо, словно постарев сразу на десяток лет.

Вязкие южные сумерки, медленно сгущаясь, обволакивали окрест. Душная ночь стягивала к зениту свой плотный, точно пробитый острыми звездами полог. За высокой глинобитной оградой затихал разомлевший от зноя город. Была бы только ночка, да ночка потемней!

Выскользнув после отбоя в зону, Влад с одеялом под мышкой затаился в углу уборной в ожидании обещанного сигнала. Тревожный азарт перехватывал ему горло, кровь стучала в висках, перед глазами плавали радужные круги, и даже запах, источавшийся вокруг него, казался ему сейчас бесподобным. Поистине, всякая свобода стоит своей вони!

Ребята не подвели. Не прошло и получаса, как над противоположной частью зоны взметнулся дразнящий манок песни: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает...». Хор был не слишком строен,

зато голосист выше всякой меры: братва старалась на совесть. С минуту зона, словно прислушиваясь, не почувдилось ли? — молчаливо таилась. Первой залиvistым свистком откликнулась вахта. И сразу же пошло, поехало! От барака к бараку, будто по растревоженным ульям, прокатился одобрителный гул. Собачий лай густо перемешался с топотом кованых сапог. Заваривалась классическая лагерная «буза». Путь оказался свободен, теперь никому не было до беглеца никакого дела.

Остальное Влад проделывал, словно во сне: зыбко, но целеустремленно. Забросил в «запретку» одеяло и доску. Нащупал лаз. Продрался сквозь него. Перекинул одеяло через торец стены. Приставил к ней под пологим углом доску. Разбежался. Повис на торце. Подтянувшись, лег грудью на спасительную байку и последним усилием всего тела перелетел по ту сторону забора: свободен!

При падении Влад больно ударился локтем о камень и завалился было на бок, но тут же вскочил и, уже не чувствуя боли, бросился в сторону черной вязи саксаульного склада, затем, чуть правее, к туркменскому кладбищу. Лавируя между могильников, он углублялся во тьму, а из зоны, вслед ему, как клич и напутствие, под ругань и топот выплеснуло яростное ребячье торжество: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает...»

И когда уже не оставалось дыхания и земля уходила из-под отяжелевших ног, в чернильной темноте возник и поплыл к нему знакомый до слез голос:

— Владька!

— Серёга!..

И в этом благодарном выдохе выразилась вся мера его преклонения и признательности.

В эту же ночь попутный товарняк унес их вглубь Азии, навстречу ее сумасшедшей весне.

Прощай, Кара-Кумы!

Воспоминание о Средней Азии отложилось в его памяти одним цветовым пятном: нежно-зеленое на голубом с ослепительными вкраплениями белого. И все города рифмуются: Коканд-Самарканд, Андижан-Наманган, Ташкент-Чимкент, а в них — устремленные ввысь минареты и башни над убогой бескрылостью плоских кровель, а за ними — ровная, как стол, земля, сплошь в сухожилиях жаждущих арыков. И всё это залито прозрачным и вязким, словно желе, зноем, от которого до обморочности сладко кружится голова. Поистине, чудеса с Аладином могли происходить только здесь.

Бухара! Глинобитный термитник в редких блёстках дворцовой глазури нестерпимо синего цвета. Гостеприимное вместилище самых непостижимых болезней. Райские кущи для блох и скорпионов. Даже как-то не верилось, что именно в этом городе слагались сладчайшие газели Востока и волшебные пери сводили с ума царственных отроков. Слова «шербет», «кумыс», «мускат», звучавшие когда-то маняще и загадочно, вдруг обнажили свою незамысловатую суть. Шербет оказался тепловатой, на вкус подслащенной водицей, кумыс отдавал затхлой кислятиной, а от муската, с его приторной горечью, сводило скулы. В пыльных лабиринтах запутанных улочек наглухо замурованные от посторонних глаз жилища источались зловонными подтеками, и резкий запах их смешивался с тленом неубранной падали. Крикливая нищета лезла тут изо всех щелей, хвастливо выставлялась своими пестрыми рубищами, утверждала себя открыто, радостно, напоказ. В ней, в этой нищете, сквозило что-то вызывающе обнаженное. Казалось, само Всесветное Нищенство выкинуло здесь свой ветхий, но радужный флаг, заявляя право на признание и суверенность. Поэтому особенно нелепо выглядели на фоне обшарпанной обмазки домов

блистающие стеклом вывески: «ГАПУ», «КРАСНЫЙ КРЕСТ», «ГОРТОРГ», «САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ». Каждый украшает себя как может. Нас, извините, — возвышающий обман.

После утомительного блуждания среди приземистого жилья голод вознаграждал путника гулким гостеприимством базара. О, этот бухарский базар! В голубом чаду кузнечных мехов и поварских жаровен плыла, взмывала, кружилась несметная стая тюрбанов и тубетеек, папах и платков, фуражек и шляп. Запах сена, сыромяти и пота, настоящий на кизячном дыме, шибал в нос, надолго отбивая обоняние. И над всем этим, прорываясь сквозь звуковую какофонию, тек надсадный мужской речитатив под баян: «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут — она зарыдает...»

Серёга, не раздумывая, потянул Влада прямо туда — на этот голос: бродяжий инстинкт сработал лучше всякого компаса, указывая направление к желанному маяку.

Голос принадлежал слепому матросу с тремя желтыми нашивками тяжелых ранений на бушлате, окруженному изрядной толпой явно эвакуированной оснастки. Когда они подошли, тот уже отставил баян в сторону и, разложив на коленях пухлый фолиант системы Брайля, водил по раскрытой странице заскорузлым пальцем:

— ...Придет он к Татьяне в сентябре... Тебя ведь Татьяной зовут? И сам он у тебя блондин, под самым ухом родинка, отроду тридцать лет. Правильно?.. Петром зовут?.. Вот видишь, книга моя никогда не соврет, в ней вся судьба твоя до точки записана. Клади полсотни, не жалей для такого дела!.. Ранетый он легко, без особого себе ущерба, мужинской марки не уронит. Так что жди, молодлица, к осени будет... Книга эта не соврет, она мне от фронтového товарища досталась, перед смертью мне передал, а ему еще дед со старого вре-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

мени оставил, ей цены нет. Полсотни — не деньги, подходи, кто хочет...

Женщина, стоявшая перед ним, покраснела и бледнела, изо всех сил стараясь вникнуть в смысл его прорицаний, и на изможденном, цвета талого снега лице ее надежда сменялась сомнением и вновь вспыхивала надежда.

Толпа вокруг заинтересованно гудела:

— Как в воду глядит!

— Я Петьку с малолетства знаю, рыжий он и родинка под самым ухом, вот те крест...

— Слепец сердцем видит.

— Это у него после контузии дар такой.

— Повезло бабе.

— Чему быть — того не миновать!

— Риск — благородное дело...

Серёга только слегка коснулся плеча матроса, только коснулся, но и одного этого прикосновения оказалось достаточно, чтобы тот принялся деловито складывать орудия производства: захлопнул книгу, поднялся, подхватил баян и, равнодушно пренебрегая возникшим вокруг него недовольством, бесцеремонно растолкал толпу.

— Хиляй за мной, — походя кивнул он Серёге и подался с базара. — Здесь близко.

По дороге слепец небрежно сунул Владу в руки свою волшебную книгу, а сам, доверительно подхватив Серёгу под локоть, бодро зашагал вниз по извилистой улочке. Поспешая вслед за маячившей впереди бескозыркой, Влад искоса рассматривал увесистый том, водил пальцем по шершавой поверхности страниц, пытаясь хоть смутно, хоть приблизительно разгадать ее тайну. Книга молчала, и он было уже захлопнул ее, но в последнюю минуту на внутренней стороне обложки ему бросилось в глаза набранное мелким шрифтом клише выходных данных: «Николай Островский. 'Как закалялась сталь'. Москва. Издательство 'Просвещение'.

1942 год». Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?

Коленообразная улочка, в которую они свернули, вывела их в глухой тупичок с единственным дверным проемом в саманной стене. Матрос трижды тихонько свистнул, и калитка тут же, словно по волшебству, отворилась, впуская их вовнутрь.

— Заваливайся. — Пропуская гостей мимо себя, матрос сдернул очки и, ослабившись, общипанно подмигнул Владу веселым глазом. — От солнца ношу, врачи прописали.

Перед ним открылся довольно просторный двор с высохшим и поросшим сухой плесенью бассейном посредине. Галерейка, сверху донизу затянутая виноградной лозой, опоясывала всю внутреннюю сторону дома. Мощённая кирпичом дорожка вела в глубину двора, к порогу, где в тени навесия зиял, словно отверстие в преисподнюю, дверной провал. Оставь надежду всяк сюда входящий!

Впустившая их женщина в чадре знаком указала им куда-то в сторону боковой части галерейки. Матрос понимающе кивнул и подался вслед ее движению, в темь виноградника, приглашая гостей следовать за ним.

После резкого свечения улицы полумрак под навесом показался Владу почти непроницаемым, и только немного попривыкнув, он разглядел распростертого здесь на горке ватных одеял одутловатого, с лысиной в полголовы человека в одном исподнем, смотревшего на них из-под отечно припухших век.

— Кого привел? — едва шевеля спекшимися губами, спросил тот. — Опять чернушники?

— Серый это, — засуетился, засучил ногами матрос. — Ты что же, Васюта, своих не признал?

Тот слегка оживился и даже попробовал приподняться, но тут же снова откинулся навзничь:

— А-а... Давай, кореш, приземляйся, кирять будем. Я тут один совсем очумел... Вот вторую неделю не

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

просыхаю... От этой жары мозги совсем высохли. — Он повелительно повел тяжелым веком в сторону матроса. — Ну-ка брысь, скажи-ка там Фатиме...

Матрос мгновенно слинял, и вскоре та же в чадре женщина бесшумно и споро обставила их пиалами, принесла и разложила перед ними лепешки, сушёный урюк, крынку с мацони и сразу после этого исчезла, не проронив ни слова.

Пили и закусывали молча. Первым заговорил хозяин:

— Дела здесь вшивые, кирюха, народ копеешный, только по заплаткам первое место держут, всех на свете обставили. — Он словно протрезвел от выпитого, речь его обрела осмысленную жесткость, глаза округлились, испуская на собеседника сухой блеск. — Так скушно, так скушно, Серый, что в пору чернушником заделаться, в три листика заезжих фраеров обирать.

— Дела теперь везде одинаковые. — Серёга по обыкновению не пьянел, только наливался бледностью и злостью. — Голодуха кругом, скоро красть будет нечего.

— Что говорить, дожила Россия, хлеба и того нет.
— Засуха.

— Хреновому танцору ноги завсегда мешают. Я, брат, сам из деревни, хорошему хозяину засуха не помеха. Только теперь у нас заместо хозяина большой ученый сидит, ему не хлеба — ему крови подавай, людскую убоину уважает. Сел и погоняет страну овчарками.

— У него не две головы, помрет когда-нибудь.

— Во-во! На вашей бы холке воду возить, не люди — тягло, только наваливай. Хошь с кашей ешь, хошь раком ставь. Нагляделся я на вашего брата по командировкам, с души воротит...

Тишине, возникшей вслед за этим, казалось, не будет конца. Вечернее солнце струилось сквозь виноградную листву, пятная золотом лица и предметы. В недвижном воздухе гулко роились голоса и звуки очну-

шегося от дневной спячки города. От земли, от досчатого пола, от корней кручёных лоз тянуло слабым подобием прохлады. Хотелось сидеть вот так и не двигаться, бездумно всматриваясь в надвигающиеся изо всех углов сумерки.

— Пей, Кирюха, всё равно нехорошо. — Васюта потянулся к бутылке, луч света скользнул по его лицу, и оно оказалось куда моложе и мягче, чем это увиделось с первого взгляда. — Вдох нам с тобой веселей будет, одна голова хорошо, а две — лучше. — Опрокинув пиалу, он пристально, словно впервые увидев, уставился в сторону Влада. — А это кто у тебя?

— Малолетка... Со мной бегают. Владом зовут.

— Приспособил, что ли, — откровенно хохотнул тот, — балуешься свежатинкой?

Кровь бросилась Владу в голову: так вот, значит, за кого его принимают рядом с Серёгой! Горький комок обиды, свернувшись в горле, удушливо раскалялся. Постыдный смысл сказанного беспощадно обнажил перед ним двусмысленность и непрочность его положения. Ему и раньше приходилось ловить на себе брезгливые и насмешливые взгляды окружающей братии, но он до поры не придавал им значения. Только теперь, застигнутый врасплох откровенностью Васюты, Влад впервые осознал, риску какой славы он постоянно подвергался. И слезы ожесточения подступили к его глазам: нет, нет, никогда, только не это, лучше быть одному, всегда и всюду одному, чем прослыть таким, от этого уже не отскребешься ни в жизнь!

Его состояние, видно, передалось Серёге. Тот в темноте молча и ободряюще толкнул Влада локтем, а вслух сказал:

— Не любитель, баб хватает. — И тут же перевел разговор на другое. — Значит, считаешь, сквозить отсюда надо?

Сумерки вяло отозвались:

— В Ташкент махнем... Там у меня есть кой-чего

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

на примете. Если выгорит, гульнем тогда по буфету... Бери-ка вот одеялку из-под меня и... И пацану тоже... Ишь, сопит! Обиделся, видно, малолетка... Я ведь так, не со зла... Язык без костей, вот и мелю... Ложись, братва, с утра виднее будет...

«Ташкент»! С этой мыслью Влад и уснул, а когда проснулся, во дворе занималось раннее утро, сулившее дальнюю дорогу и новые события.

Бухара, Бухара, Бухара!

5

Ташкент — город хлебный встретил их совсем неласково. По городу густо бродила разноплеменная рвань, и узбекская речь тонула в звучном смешении тарабарского жаргона. Наступал самый разгар долгой голодухи сорок шестого года. Всё, что можно было украсть, было украдено до них. Везде, где они пытались укрыться, держали круговую оборону свои замкнутые кодла. Нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь, спуска не дадим. Стреляем, как говорится, без предупреждения.

После долгих поисков вездесущий Васюта нашёл-таки хату в старом городе, но она оказалась так убога и ненадежна, что затевать отсюда какое-нибудь предприятие было делом абсолютно безнадежным.

— Да, — сокрушенно вздохнул Васюта на первом совете, — попали в непонятную, локшовой не придумаешь.

Но на ночь глядя он всё же подался в разведку.

Лежа в темноте на каких-то бодылях и чувствуя рядом с собою трудное дыхание Сергея, Влад с каждым новым воспоминанием, постепенно заполнявшим душу, проникался к другу благодарным сочувствием и наконец не выдержал, излил себя:

— Знаешь, Серёга, раньше я один любил... Одному лучше, никто права тебе не качает... А с тобой сошелся, теперь не могу... Без тебя мне хана... Нету жизни...

Ты не как все, не глотничаешь и вообще справедливый...

Тот засопел рядом насмешливо, но добро:

— Давай, давай, малолетка, раскалывайся до задницы, чтоб я в полный кайф вошел. — Легонько толкнул плечом. — Лады, пацан, замётано. О любви не говори, о ней всё сказано.

— Ей-Богу, Серёга!

— Ну-ну...

На этом и закончилось в ту ночь их объяснение, но слово было сказано; и оно — это слово — накрепко связало их до самого того знойного дня в подвале Таганской тюрьмы, когда конвой разделил их разом и навсегда...

Вернулся Васюта и, отдавая темь сивушным перегаром, победительно хохотнул:

— Подъем, паханы, работа будет! Особая!

Из-за его спины пьяненько хихикнул почти детский девичий голос:

— Гуляем, мальчики!

Сердце у Влада, казалось, подкатилось к самому горлу и взбухло там жгучим комком. То, о чем его одноклетки, сходясь на ночлег, рассказывали друг другу с томительными придыханиями и захлебывающимся восторгом, вдруг подступило к нему вплотную, вызвав в нем душный, неведомый дотолле жар. Тот давний и стыдный опыт в эвакуации только подогревал его воображение. В предчувствии неизбежного голова Влада легко и безвольно кружилась. Что-то там внутри у него еще чуть слышно сопротивлялось, но бунтующая плоть уже торжествовала в нем, властно заглушая едва пробившийся к свету хрупкий росточек стыда и целомудрия. Всю последующую жизнь эта разрушительная слабость будет подтачивать его, пока однажды, уже на излете, ему не откроется через женщину, которая придет к нему, чтобы остаться с ним навсегда, вся бездна падения, от какой он будет ею спасен. «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле...»

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

Темнота вокруг Влада сделалась как бы ватной, до того стесненно стало ему дышать и двигаться.

— Я во двор пойду лягу, — выдавил он, поднимаясь. — Жарко здесь, как в бане.

— Огонь бы засветить, — уже выходя, услышал он голос Серёги, — не видно ни черта.

— Мимо рта не пронесешь, мимо губ не попадешь. — Васюта скабречно хохотнул, и сразу вслед за этим послышалось бульканье разливаемой жидкости. — Ты, глазастый... Пей!

Тихий пьяненький смех гостя жгучим дуновением провожал Влада в ночь...

У порога он бросил на землю свою телогрейку, лег, и провальное, с россыпью звездных туманностей небо вознеслось над ним, словно сказочный шлейф, и он отрешенно забылся под этой умиротворяющей бесконечностью. Феи воспоминаний закружились у его изголовья. Дух Сокольнической слободки воспарил в нем, уносясь вместе с ним в царство уличных тополей на родимой окраине. Где-то там, в их тесной комнате, в доме посреди неба мать укладывала сейчас его крохотную сеструху — Катьку, а тётка ревниво следила за возней золовки со своего места на диване, и тонкие губы ее при этом беззвучно шевелились: неприязнь изводила тётку с утра до вечера.

Отсюда, с расстояния в тысячи километров, удвоенного тоской и безысходностью, мгновенный и обжигающий кадр этот казался ему почти идиллическим. Господи, как, какими судьбами оказался он здесь, под этим душным и необъятным небом, среди песков и арыков, в краю, где к насыпям великого Турксиба стекаются земли двух континентов? Если бы ему знать в ту ночь, какие горькие шутки еще выкинет с ним его судьба, он бы не сетовал понапрасну на свою тогдашнюю долю, а возблагодарил Бога за эдакую милость! Не взывай, сказано, к справедливости Господа, если бы Он был

справедлив, ты был бы уже наказан! Молись, мой мальчик, молись!..

Скрипнула дверь, тень от сутулой фигуры Серёги изломанным пятном отложилась на ровной, как стол, поверхности двора и тут же, резко подломившись, свернулась около Влада.

Спишь?

— Не.

— Спи, не слушай.

— А я и не слушаю.

— Говори, говори...

— Гад буду, не слушаю!

— Ну-ну...

— Говорю тебе...

— Ты, малолетка, к этому не привыкай. — Его рука, чуть подрагивая, легла Владу на голову. — Это только раз попробовать и — покатишься. После спирта первое дело — бабы, а где баба, там полынь, оскомины одна, еще дурную болячку схватишь. Человек, брат, это звучит гордо, пока у него не провалится нос. Баба у человека должна быть одна, так ему на роду написано. Сколько ни пробуй, сколько ни меняй, только истратишься зря, себя потеряешь. Первая и есть твоя, другой не будет, это, брат, закон.

— А у тебя есть?

— У меня? — Ладонь его безвольно соскользнула к плечу Влада. — У меня-то есть, да не укусишь, далеко отсюда. — Голос Серёги страстно пресекся и завибрировал. — Она у меня не женщина — королева! Мне, доходяге, с нее только пыль сдувать положено, а я туда со своими грабками!¹ Нет, не по моему суконному рылу такой подарок, не хочу я ей жизнь портить. Хоть я и вор залётный, а совесть имею. Эх, Вера, Вера, на какой это узкой дорожке схлестнулся я с тобой!

— Не вернешься к ней, значит?

¹ Руками (жарг.) — В. М.

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

— Нет, малолетка, не вернусь, у меня своя дорога, у ней — своя, гусь свинье — не товарищ.

— А, может, она тебя ждет.

— Подождет, подождет — перестанет, женская душа как вода, у первой запруды остановится.

— Ты же ее любишь?

— Что ты в этом, малолетка, понимаешь! — Он даже зубами скрипнул от досады. — Вот когда тебя колесом по наждаку протащат до второго мяса, тогда у тебя мозги на этот счет малость прочистятся... Спи давай...

— Я понимаю...

— Спи, говорю!

Влада подмывало сказать другу что-то такое, от чего тот почувствовал бы всю меру его во всем этом понимания и, может быть, подобрел бы, но в это время на пороге выявился громоздкий силуэт Васюты:

— Иди, Серёга, твоя очередь. — Он постоял, покачался и, не получая ответа, склонился над ним. — Кимаришь, что ли?

Серёга даже не шелохнулся:

— Не хочу, Васюта. Без надобности.

— Боишься — отвалится? — пахнула тень винным перегаром. — Сдавай ... на резину, двадцать копеек пуд... Может, малолетку побалуем, пускай приучается, дело стоящее.

— Не трожь, Васюта, спит он.

— Как же, растебай ширинку шире, спит! — Он легонько ткнул Влада кулаком под бок. — Знаю я эту мелюзгу... Давай, пацан, действуй, покажи шалаве, почему нынче на базаре пряники.

— Не трожь, говорю, Васюта, по-хорошему говорю.

— Чего! — Тот угрожающе выпрямился. — У тебя что: один глаз лишний или две головы? Это ты меня, Васюту, на понял берешь? У тебя что: мозга за мозгу зашла, авторитетного тянуть вздумал?

Серёга медленно, будто нехотя, поднялся, и Влад увидел, как две тени мгновенно слились в одну и двинулись вглубь двора. Затем она — эта тень — вдруг замерла, и он услышал почти шепотный, но на пределе ожесточения разговор:

— Хвост подымаешь, порчак? — хрипел Васюта.
— Жить надоело?

— Не пугай, Васюта. — В тоне Серёги сквозила снисходительная ленца, — я ведь пуганый, не боюсь.

— Тогда отдержись, падаль.

— На широкий лоб надеешься?

— Я тебя по закону бить буду, за порчу.

— Пытай счастья...

Удар был как шлепок по воде — упругий и хлесткий. Тень на какой-то миг разомкнулась, чтобы тут же снова слиться в плотное, но резко изменчивое пятно. Надсадное сопение перемежалось треском раздираемой одежды, глухими ударами и скрипом подошв по песку. Но вскоре пятно стало слякотно отекать книзу и, помачив еще некоторое время посреди двора, исчезло, выйив в едва уловимом свете далекого восхода два извиляющихся в ожесточенном объятии тела. Васюта наседал, одолевая слабеющего Серёгу. Силы оказались явно неравными: схватка с таким противником была ему не под силу, болезнь дала-таки себя знать. Оседлав его окончательно, Васюта уже в полном исступлении молотил напарника, беспамятно при этом приговаривая:

— Отдержись, курва... Отдержись за порчу... Рога больно длинные выросли, я обломаю... Не таким обламывал... Век помнить будешь, как на Васюту хвост подымать...

До этого момента Влад наблюдал за происходящим как бы в забытьи, страстно веря в победу Серёги, но едва лишь тот очутился под Васютой, он, словно подброшенный вверх сорвавшейся с упора пружины, кинулся в драку. Но стоило ему лишь коснуться Васюты, как отброшенный резким ударом локтя в живот он волч-

ком закружился по двору, корчась от боли и тошнотворного головокружения.

— Эх вы, дерьмо-люди, — словно из-за стеклянной перегородки к нему пробился голос Васюты, и тут же, сквозь кровавые круги в глазах, он разглядел удаляющуюся к воротам всю тяжелую фигуру, — на своих кидаются... Не стало жизни честному вору, порча всё заела. — И откуда-то уже из-за ограды донеслось с надрывным всхлипом: — За что боролись!..

Первым поднялся Серёга.

— Ладно, вставай, двинули. — На его изможденном лице явственно проступали черные кровоподтеки. — Теперь его сила, придет время — посчитаемся... Иди собирай монатки.

Когда Влад с судорожно колотящимся сердцем открыл дверь, девчонка спала на единственной в их жилище койке, неловко подогнув локоть под голову. В первых бликах восхода полустертая краска на ее детском лице выглядела аляповато и невсамделишно. Кажалось, это отдыхала школьница, классная заводила, егоза, после веселого карнавала или представления. Словно замороженный, боясь ее разбудить, стоял Влад над нею, и в его затихающем сердце робким цветком прорастала нежность. Его неодолимо подмывало желание укрыть ее, коснуться ее разметавшихся волос, сесть у ее изголовья; и он поддался бы искушению, если бы в последнее мгновение его не опамятовал голос Серёги из-за двери:

— Не копошись, малолетка, Московский прозевает!

Прощай, пропащая Дюймовочка Ташкента! Его еще помотает по свету, посечет на семи земных ветрах, покружит в беличьем колесе повседневности, прежде чем он сядет за стол, чтобы вспомнить о тебе, но, едва вспомнив, ему уже не избыть тебя из своей памяти, из своей жизни, из своей судьбы. Отныне ты уже навсегда вошла в него, отстоявшись в нем томительным сожалением: а

вдруг эта и была та первая и единственная, которая предназначалась ему в Книге Судеб?..

Этого броска в Москву Владу не забыть до гробовой доски. Скорчившись в три погибели, он лежал на собачьем ящике Московского-скорого, и все сквозняки Азии трубили ему в уши свои разбойные песни. На больших станциях их ссаживали, били, гоняли вдоль составов, не давая садиться, но в последнюю минуту они каким-то чудом всё же цеплялись за поручни подножек и летели дальше, навстречу тихим лесам России. О пище не могло быть и речи. За все шесть суток пути они ели лишь однажды, когда какой-то кореец из спального-мягкого высыпал Владу в шапку целый пакет плесневелого печенья. Правда, потом их долго и зло рвало, но иллюзия голодной передышки помогла им кое-как дотянуть до цели.

В конце концов они, грязные и отощавшие, увидели ее — эту самую столицу, и, выйдя на Казанском вокзале, Влад впервые после такого долгого перерыва вдохнул дымного, но до слез сладостного воздуха — Москва!

6

Днем они еще мыкались по городу, где-то искупались, где-то поели, а уже к вечеру Серёга нашел «хату» у одного стрелочника на Москве-Сортировочной. Стрелочник жил одиноко в едва приспособленном под жилье четырехосном пульмане, врытом в земляной фундамент. Одну половину вагона занимали трехъярусные, наверное, еще с войны нары, в другой размещалось его собственное нехитрое хозяйство: колченогий стол, кое-как застланный топчан и две табуретки. Был он высок, худ, походил на кавказца, хотя говор его не оставлял сомнений в его чисто русском происхождении. Выглядел этот стрелочник лет на шестьдесят, хотя выдавал себя за сорокалетнего. Принимая их, он без обиняков продиктовал свои условия:

— Жить тише воды, ниже травы, приходиться домой затемно, песен не петь, громко не разговаривать. Здесь кругом стрелки крутятся, накроют — с меня голову съмут, а вам подписка... Ясно?

— Да, папаша, — не удержался, съязвил Серёга, — выходит, шаг влево, шаг вправо считается побег, как на лагпункте.

— Не хочешь — не держу, — невозмутимо отозвался тот, — и так себе дороже...

Так началось их существование в жилом пульмане Москвы-Сортировочной. Не Бог весть какое, но впервые в их совместных скитаниях — стабильное. Днём они промышляли у трех вокзалов, на сносную жизнь добывать удавалось, порою им выпадало даже шикануть в какой-нибудь столовой с пивом для Серёги и фруктовой Владу на третье, а к ночи измотанные, но довольные друзья возвращались в свое четырехосное жилище, и там, в ночной тиши, прерываемой только стуком колес и гудками маневровых паровозов, между ними начинались бесконечные разговоры, что называется, за жизнь.

— Эх, Владька, мне бы хоть какую-то ксиву¹ законную заиметь, бросил бы я тогда всю эту собачью жизнь к чёртовой бабушке, так надоела, что в пору вешаться!

— Поехал бы тогда к ней? — ревниво подзадоривал его Влад. — К этой своей крале?

— Вылечился бы — поехал. — Тот сразу становился предельно серьезен, и даже в темноте Влад чувствовал, как твердеют чахоточные скулы друга. — Не может того быть, чтоб не приняла!

Покоренный страстью его убеждения, Влад великодушно сдавался:

— Тебя да не примет!.. Да кто она такая!

¹ Ксива — документ (жарг). — В. М.

Друзья умолкали, сиюминутная страсть отлетала от них, и каждого брала его собственная мысль, уводя в свои, недоступные другому, пределы.

Всегда, в любую минуту, стоило Владу остаться наедине с собой, он думал о доме. До него — этого дома — было две остановки езды от тех самых трех вокзалов, где они с Серёгой крутились с утра до вечера. Всего две остановки на четвертом трамвае. Находилось и время, когда от безделья ему некуда было себя девать, но вопреки страстному, почти до головокружения, желанию, он всё никак не мог решиться, всё откладывал неизбежное на после, на потом.

Но однажды Влад всё же решился. Улучив минуту, когда Сергей встретил знакомого залётку из Ашхабада, оставил его одного, он сел на эту самую злополучную «четверку», и трамвай, скрежеща и позванивая, помчал его к родимому порогу. Красносельская. Гавриков переулок. Пивзавод. Мост. Салициловка. И вот она, вот общарпанная, но знакомая до сердцебиения киношка «Молот». Поворот, за поворотом тополияная стрела Маленковки. Двадцать пятый магазин. Остановка.

Влад нашел в себе мужество, чтобы сойти, но преодолеть расстояние Старослободского переулка, соединявшего эту улицу с родимой Митьковкой, он так и не смог. Он боялся себя, боялся, что не выдержит и предаст Серёгу, и свое прошлое, и свое будущее, каким видел это самое будущее в своих лучших снах. Прощай, Митьковка, прощай еще раз, ты еще дождешься меня с победой! С победой ли?

Только мимо Сокольников Влад пройти не захотел, это стало бы выше его душевных возможностей. Маленковская вывела Влада прямо к первому боковому входу, рядом с которым он и отыскал проделанный им же заветный лаз. Дальше Владу можно было бы завязывать глаза: вся сумасшедшая паутина здешних троп и тропинок отпечаталась в его памяти, наподобие крупномасштабной топографической карты.

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

Найтие ли, предчувствие ли повело Влада в этот ранний час на шахматную станцию, но он вышел именно туда, и здесь, около занятого играющими столика, в одном из болельщиков узнал Юрку-шахматиста из двадцать седьмого дома, и лишь тут выдержка изменила ему.

— Юрка, — одними беззвучными губами позвал он. — Здравствуй... Не узнаешь?

Тот сначала непонимающе уставился на него, сясь угадать в подозрительном бродяжке хоть что-то знакомое, потом в задумчивом лице его появился ответ их общего детства: интеллигентный Юрка всегда преклонялся перед плебеем из соседнего дома, и он на слабых ногах двинулся к неожиданному гостю:

— Ты насовсем?

— Нет, не насовсем, Юрка.

— Домой зайдешь?

— Ты что!

— Ну да... Конечно... Я понимаю... Может, тебе принести что-нибудь? Поесть или что еще?

— Не надо. — Снисходительная благодарность переполнила Влада. — Как там мои?

— Живут... Катя в школу пошла.

— Не говори там, что встретил, мать по милициям побежит, одно для них расстройство.

— Как хочешь, Влад, как хочешь...

Они еще потоптались друг против друга, поерзали загнанно друг по другу глазами, потом Влад, будто хлопнув что-то в себе, повернулся и уже на ходу кивнул:

— Пока.

Откуда-то издалека, из детства, из другой, потусторонней жизни до него донеслось жалобное и как бы извиняющееся:

— До свидания, Влад!.. До свидания...

Впервые на Сортировочную Влад вернулся в одиночку и Серёгу дома не застал. В ответ на вопрос стрелочник только уग्रомо хмыкнул:

— Надо думать, у министра, на заседании. Международное положение обсуждают...

Влад забрался на нары и после долгих и мучительных воспоминаний о недавней встрече и обо всем, связанном с этим, незаметно для себя уснул...

Очнувшись и краем глаза взглянув вниз, он похолодел: за столом стрелочника сидел сам хозяин, Серёга и незнакомый Владу стрелок железнодорожной охраны. «Попались!» Но бутылка, стоявшая посреди стола, несколько успокоила, а разговор внизу вовсе обескуражил. Говорил стрелок, сидевший к Владу спиной:

— Подумаешь, делов куча — вагон вскрыть! Машина у подъездных путей ждать будет...

— Четвертак за это дают, начальник, — насмешливо и хмельно щурился на свет Серёга, — четвертак. А ты хоть год сидел?

— Не ищи дурее себя, парень! — ярился стрелок. — Не пугай вдову... видела. Бздишь — других найдем, охотников много, навалом.

— Ищи, — спокойно отрезал тот. — У тебя время — мешок.

— То-то и оно. — Стрелок сбавил тон. — Стал бы я с тобой торговаться, а здесь горит товар.

Серёге, видно, надоело играть, и он совсем по-деловому перевел разговор на условия:

— Товар на машине — десять кусков на руки, и мы — в разные стороны. Вы — туда, я — сюда. С этим чмуром, — он кивнул в сторону стрелочника, — сами рассчитаетесь. — Но вдруг насторожился. — А если там не товар, а туфта?

Стрелок даже обиделся:

— Что мы накладных не знаем? Или нам мозги за-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

ложило? А парнишка у тебя зачем? Подсадим в люк, посмотрит. Но точно знаю: индиго!

Серёга задумался, сверху было видно, как выпуклый лоб его усиленно морщится, решая почти непосильную для себя задачу. Затем он опустил голову и, будто про себя, сказал:

— Только в люк, и в сторону. — Сергей поднял на стрелка тяжелые глаза. — Вы мне за пацана головой ответите, в случае чего — всех за собой потащу.

— Сказано — сделано, — заторопился стрелок. — Через час сцепщики подадут вагон на шестой путь. Я вас там встречу. — Уже выходя в ночь, он обернулся, и Влад увидел хищное лицо на низко посаженной шее и белые, как у старого гуся, глаза, или они ему такими показались в тусклом свете лампы. — На шестом, не перепутай...

Сергей поднялся к Владу на нары, молча полюблял его и на ухо спросил:

— Слышал?

Вместо ответа Влад сел и стал одеваться. Потом они, один за другим, спустились с нар и вышли в звездно-августовскую темь. Где-то там над ними гудело и взрывалось мироздание, гибли и возникали галактики, вокруг них рождались и умирали города, взбухали и таяли горы, и никому во всей этой вселенной не было никакого дела до двух бродяг, идущих сквозь темь Московской-сортировочной навстречу своей жалкой гибели. Господи, прости нас маленьких и нечестивых за нашу собственную обездоленность!

На шестом пути друзей уже ждали. Изредка посвечивая фонариком, стрелок увлекал их между составами до тех пор, пока где-то в самом конце эшелона путь им не преградила чья-то фигура.

— Здесь.

Сначала всё шло, как было задумано: Влада посадили, и он, с трудом раскрутив проволоку люка, от-

крыл этот люк и скользнул в темноту вагона. Там в крошечной тьме Влад наощупь определил род товара. Всё сходилось с накладной, которую поминал стрелок: рулоны тонкого сукна, в этом не могло быть никакого сомнения.

Но стоило Владу только повернуться обратно в свободный квадрат ночи впереди, как там, внизу, за тонкой стеной пульмана грозно обрушилась тишина:

— Руки вверх! Ни с места!

Не помня себя, ногами вперед Влад ласточкой выбросил свое тело через люк и, наверное, разбился бы, но чьи-то цепкие руки внезапно подхватили его и кто-то злорадно прохрипел над ним:

— Допрыгался, голубчик!

Но Влад всё же вырвался и побежал. По пути он падал и поднимался, и снова падал, раздирая в кровь лицо, руки, ноги, бока и голову. Сзади топали сапоги, хлопали выстрелы, вспыхивали и гасли ракеты, но всё это только подгоняло его: вперед, вперед, вперед! Неизвестно куда, но вперед!

Но судьба, судьба оказалась сильнее его и его ног, и его легких, и его жажды свободы. Он еще долго петлял под составами, перескакивал через десятки тормозных площадок, кружился по стрелкам, но когда ему показалось, что главное позади и вот-вот он канет в ночи, как иголка в стогу сена, перед ним вдруг возникла из ничего неосвещенная стена станции, и дальше пути не было. И тогда он просто сел на землю и заплакал. И сдался в первые же руки без сопротивления. Прощай, свобода!..

Влад заканчивал в эту ночь еще один, далеко не самый главный кусок своей жизни. Впереди его ожидали тюрьмы и пересылки, этапы и лагеря. В судьбе человека это, пожалуй, главное испытание, и дай-то ему Бог выйти из этого испытания не растоптанным.

Была ночь, и предстояло идти сквозь нее.

Цыганка с картами, дорога дальняя,
Дорога дальняя в казенный дом,
Быть может, старая тюрьма центральная
Меня несчастного по новой ждет...

Звонкий мальчишеский голос взвивался и падал откуда-то с высоты четвертого этажа. Влад попытался было поднять голову в сторону голоса, но конвой уже подталкивал его в спину:

— Давай, давай, не задерживайся, еще насмотришься вдоволь, время будет!

Отработанный годами механизм дальнейшего действовал с завидной безотказностью: обыск, регистрация, описание физических изъянов и особых примет, фотография в фас и в профиль, общая стрижка, недолгое путешествие по предварительным боксам и наконец, как награда за все треволнения предыдущего, — камера.

Влада втолкнули в одну из них, четырехместную клетку на третьем этаже с окном без «намордника»¹ — неписанная привилегия малолеток. Трое будущих сожителей Влада лишь оценивающе скосили глазом в его сторону и тут же снова повернулись к чернявой масти худому парню на койке у окна справа, который, вроде бы бездумно глядя в потолок, выводил высоким фальцетом незнакомый Владу романс: «День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова...» Но в искренности его модуляций чувствовалась явная напряженность: намерения новичка заметно беспокоили сейчас хозяина камеры.

Когда же Влад со спокойной деловитостью принялся застилать пустующую у параши койку, тот момен-

¹ Намордник — козырек, полностью закрывающий окно от обзора (жарг). — В. М.

тально прояснился и допел свою песню облегченно и с известным даже блеском. Потом, после короткой паузы, долженствующей позволить окружающим оценить его исполнение по достоинству, спросил новичка врас-тяжку:

— Откуда, пацан?

— Издалека, — уклончиво ответил Влад, как и полагалось по неписаным законам своего теперешнего мира. — Отсюда не видно.

— Кешарист?¹

— Родней не обзавелся.

— Везет мне на вас, залётных, — в сердцах сплюнул тот. — Скоро совсем на пайку перейду. Это мне корпусной нарочно подкидывает, чтобы с голоду пух. Куришь?

— Нет.

— И то слава Богу, хоть маленькая польза от тебя, на затылку больше останется.

Владу страшно хотелось спать, и, чтобы закончить разговор, он миролюбиво согласился:

— Об чем говорить!

В обнаженное окно рвалась душная ночь в крупную клетку, город еще жил своей обычной вечерней жизнью: звенели невдалеке трамваи, где-то совсем рядом, наверное, в соседнем доме, надрывался патефон: «Мой костер в тумане светит...»; покрикивали гудки пароходов на близкой Москве-реке. Существование для него разделилось теперь на «здесь» и «там», и это угнетало его сейчас более всего. Согревало только близкое соседство Серёги, обосновавшегося, как ему уже успели передать еще в боксе, этажом ниже. У него и в мыслях не было в чем-то винить друга. Наоборот, ему казалось, что промашку допустил он, Влад, не затаившись на месте во время тревоги, и тем самым отяготил Сер-

¹ Кешарист — заключенный, получающий передачи (жарг.).
— В. М.

гея еще одной статьей: за вовлечение несовершеннолетних. «Сидеть надо было, — засыпая, казнил себя он, — не трепыхаться!»

В новый для себя быт Влад всегда вращался быстро и безболезненно. С сокамерниками он сошелся, как говорится, без долгой приглядки, а они в свою очередь признали в нем своего и обходились с ним накоротке. Даже единственный блатной среди них — Валера, по кличке «Певец» — снисходил к нему как к равному.

Кроме «Певца», в камере напротив Влада лежал флегматичный башкир, который именно лежал, изредка ворочаясь с боку на бок и поднимаясь только за тем, чтобы поесть и оправиться или проделать всё то же самое, лишь в обратном порядке.

Вторым был «фабзяец» из Москвы со странным для его рязанского происхождения именем Лассаль, чем, видно, он остался обязан своему ушибленному идейностью родителю. Лассаль вечно хотел есть, но, не получая передач, всё же выходил из положения: разбавлял кашу водой из бачка, что создавало ему, при его курином воображении, иллюзию полного изобилия.

Целыми днями «Певец» с Лассалем резались в карты, склеенные из слоеной газеты и клейменные от руки, башкир спал, а Влад читал всё подряд, взятое из библиотеки на четверых, благо остальные никакой печатной продукцией не интересовались.

Серёга уже объявил через окно на всю тюрьму, что Влад-«Интеллигент» — его подельник, со всеми вытекающими отсюда для его — Влодова авторитета — последствиями, после чего «Певец» тут же перевел Лассалья к параше, а новичку предложил место около окна. Отказ Влада он воспринял как угрозу и, не стесняясь сокамерников, просто-напросто взмолился:

— Поимей совесть, «Интеллигент», «Серый» из меня клоуна делать будет, если узнает, что ты у параша спал! Будь человеком, Вовчик, не губи своего!

Владу ничего не оставалось, как перебраться к ок-

ну. Лассаль чуть поломался, но был быстро укрощен. Жизнь в камере потекла заведенным порядком. Так, наверное, бывает всегда при смене любой власти: сначала взрыв страстей-мордастей, потом короткое приспособление к новым обстоятельствам и наконец снова всё тот же, набивший за тысячелетия оскомину, быт. Всё суета сует и всяческая суета. Всё возвращается на круги своя. Урок, так, к сожалению, и не усвоенный политиками.

Главным развлечением в этом монотонном существовании была баня, которая, как говорится, имела место каждые десять дней. В бане камеры смешивались, и начиналась мена и сведение счетов. Надзиратели в синих халатах метались в этом крошечном бедламе, но порядку от их крика становилось еще меньше: голый человек почему-то делается окончательно бесцеремонным. Не участвуя в общем круговороте, Влад любил следить за всей этой яростной суетой. Чего только здесь можно было не увидеть!

Однажды среди пара и гомона он заметил парня лет шестнадцати, стоявшего под душем в трусах и в майке. «Чего это он? — подумалось Владу. — Больной, что ли?» И лишь подойдя поближе, Влад пригляделся и ознобливо вздрогнул: тот сплошь был заколот тушью в два цвета: майка зеленая, а трусы синие, с почти черным отливом. Много с той поры ему приходилось видеть татуировок, он и сам, слава Богу, не без греха, но той, что он встретил тогда в бане Таганской тюрьмы, ему уже открывать не доводилось!

Вскоре от Серёги ему доставили крохотную, с квадрат спичечного коробка, записку: «Владька, прошу, вали всё на меня, мне всё равно четвертак карячиться. Христом Богом прошу, тебе жить надо». Горькая обида захлестнула Влада: «Эх, Серёга, Серёга, друг называется, за кого меня принимает!»

Но через несколько дней Влада вызвал к себе корпусной. Громадного роста капитан (ёжик коротко стри-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

женных седых волос, орденская планка и три нашивки ранения на выпирающей из гимнастерки груди) насмешливо оглядел Влада с головы до ног, хмыкнул:

— А я-то думал, матёрый, железнодорожный грабеж по делу, а ты от горшка два вершка! Ладно, не стой, сядь-ка вон туда подальше, разговор у меня к тебе. Мать есть?

— Нету, — взял Влад грех на душу.

— Отец?

— Убитый.

— Где?

— Где-где — на фронте!

У капитана чуть сморщилось лицо, как бы от какой-то горечи, но тут же задубленная медальность снова вернулась к нему:

— Эх ты! Отец на фронте, а сын! — Он безнадежно махнул рукой. — Я еще с тобой поговорю... А теперь по делу. Вот тут подельник твой в Верховный совет пишет, снисхождения к тебе просит, всё на себя берет. Давно его знаешь?

— Давно.

— Сколько?

— Давно, — утвердил Влад.

— Что за человек?

— Все бы такие — давно бы коммунизм построили.

— Хорош гусь! Много мы с вами, грабителями, понастроим, дай вам волю — всё бы разворовали.

— Он воевал, он больной, ему лечиться надо.

— Воевал, воевал! — снова посмурнел корпусной. — Воевал, так, значит, всё можно? Я тоже воевал, а вот не ворую.

— У него паспорта нет, куда он пойдет?

— Сговорились гуси. — У корпусного, видно, отпала охота к разговору. — Ладно, иди. Бумаге его мы, как положено, дадим ход, только заранее предупреждаю, толку не ждите. Суд решать будет. Иди...

Ежик капитана нагнулся, и непонятно было, то ли капитан задумался, то ли рассматривает что-то перед собой на столе...

Выйдя из кабинета корпусного и сопровождаемый надзирателем, Влад, пожалуй, впервые увидел тюрьму по-настоящему в полном ее объеме: все ее четыре этажа, окруженные галереями, с натянутой между ними сеткой. Словно громадный улей, она мерно гудела сотнями голосов, заключенных в ячейки бесчисленных камер, в каждой из которых напряженно вибрировала беда, отдаваясь своим чуть слышным звуком в самых отдаленных уголках России. Как это ни странно, но Влад впервые почувствовал, что он не одинок, что рядом с ним живет и страдает множество соучастников его маленького и, как ему казалось, никому не интересного несчастья. Каждый утешает себя, как может!

Узнав о причине вызова, «Певец» прямо-таки зашелся:

— Ну Серый, ну даёт! — Его распирало от восхищения и восторга. — С Серым я бы в огонь и в воду и в медные трубы! Теперь таких паханов раз-два и обчелся. Тебе ему ноги мыть и юшку пить, Владька, одно слово — справедляк!

Лассаль добавил и от себя:

— Сила.

Даже башкир оживился, сел, свесил ноги с койки, поморгал раскосыми глазами, с трудом сложил:

— Какой чалавек бывает!

На суд Влада провожали так, словно он отправлялся на собственные именины. «Певец» ему даже кепочку «малокозырку» свою подарил, которой, между прочим, дорожил, и очень.

— Увидишь, условно дадут. Я, брат, третий раз чалюсь, всю эту их еврейскую механику как свои пять знаю. Раз взрослый на себя всё берет, твое дело сопеть в две дырочки и слезу давить. Ты, главное, молчи по-

больше да кайся. Вот увидишь — условное, передача с тебя. Курева побольше...

Процедура выхода походила на игру «кто быстрее», только замочки за ним щёлкали: трак — щёлк, трак — щёлк, трак — щёлк. И надзиратели не выглядели такими угрюмыми, как в день приезда. Один даже — из стариков, эдакий с индюшачьей шеей — лениво обнадёжил:

— Глядишь, пацан, уже не вернешься сюда, бывает.

После серого света тюрьмы август показался еще ослепительнее, чем сквозь окно или на прогулке. Но путь Влада по летней земле был короток, не более трех шагов, которые отделяли его от ступенек воронка. Через минуту жестяная дверца с окошком на уровне лица резко захлопнулась за ним. Влада повезли в суд.

Тюрьма осталась позади.

Когда-нибудь он поймет, что суд этот — маленькая комедия с печальным концом, которую люди разыгрывают, чтобы почувствовать себя справедливыми, — не имеет ничего общего ни с милостью, ни с наказанием. Грянет час, и каждый, а в том числе и он, узнают, если им это будет дано узнать, что есть другой Суд, и у того Суда нет обвинителей или защитников. Человек начинает судить себя сам по Закону, дарованному ему от рождения, закону Совести.

Дай же ему, Господи, вынести тот Суд!

Процедура суда несколько обескуражила Влада. Он ожидал увидеть торжественный зал, битком набитый зрителями, а оказался в заплыванной комнатке с несколькими скамейками и столом под зеленым покрывалом на крохотном возвышении, наподобие школьной сценки. В зальце дремало несколько старух-завсегда-

таек да двое пьяных, забредших сюда переждать жару. Скучно и жарко было всем: редким зрителям, седенькому старичку-судье, не по возрасту брюхатому прокурору, молоденькой защитнице, которая то и дело испуганно оглядывалась на подсудимых.

Главным свидетелем обвинения выступил тот самый стрелочник, у которого они жили и который степенно и обстоятельно топил их в течение битого часа. Затем пошел свидетель помельче, послучайнее: путевой мастер, два милиционера из железнодорожного отдела и наконец станционный весовщик, взявший у вокзальной стены плачущего Влада.

Судья задавал нелепые вопросы, важно при этом наклоняясь к осоловелым от жары заседателям — старушке-учительнице и усачу из кадровых рабочих, и те в ответ понимающе кивали головами.

Прокурор лишь тяжело дышал, наваливаясь животом на стол, и всё пытался изображать заинтересованное глубокомыслие, но получалось это у него весьма ненатурально, потому что жара опять же брала свое, и он лишь часто открывал рот, как рыба, выброшенная на песок.

И лишь молоденькая девушка — секретарь суда, черная чёлочка над узеньким лбом, искренне переживала все перипетии процесса, открыто болея за Влада: он, видно, казался ей совсем мальчиком, случайно совершенным великовозрастным бандитом.

Первым в прениях сторон выступил, естественно, прокурор. Одышка предрасполагала его к краткости. Бегло обрисовав обстоятельства преступления и присовокупив к оным политическую окраску такового, он почел себя вправе (о, эта жара!) потребовать для обоих обвиняемых максимальных сроков наказания по инкриминируемому им Указу от четвертого июня тысяча девятьсот сорок седьмого года, то есть старшему двадцать пять лет с последующим поражением в правах сроком на пять лет, несовершеннолетнему же, учитывая

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

возраст и подверженность влиянию, десять лет без поражения. Он тяжело опустился на стул, довольный удачно закругленным заключительным пассажем.

Речь юной защитницы мало чем отличалась от прокурорской. Она скорее даже не защищала, а доказывала свою прекрасную осведомленность в доскональном знакомстве с последними решениями партии и правительства по вопросам борьбы с расхитителями социалистической собственности. Но, видно, в конце концов чисто девичья стыдливость заставила ее в заключение напомнить суду о боевых заслугах одного и малолетстве другого из ее подзащитных.

В последнем слове Серёга произнес только несколько слов, от которых юный секретарь суда даже зарделась:

— Прошу суд проявить снисхождение к вовлеченному мной в преступную жизнь моему подельнику.

Влад от последнего слова отказался.

В перерыве конвойный милиционер, морщинистый старшина с «Красной звездой» на гимнастерке, протягивая Сергею «Прибой» сквозь окошечко бокса, сочувственно вздохнул:

— Наш брат фронтовик в дело пошел, скоро всех промелют. Кури, пехота, там не дадут.

Сергей хмуро отшутился:

— Отымем.

Старшина не отстал:

— Малолетку только зачем втягивал, сопляк еще совсем, ему бы в школу ходить.

— Мой грех, папаша. — Сергей переговаривался с ним, стоя у самого окошка, и Влад, сидевший по соседству, слышал всё до единого слова. — Я и отвечу.

— Ну-ну, — примирительно согласился тот и отошел, — только за это тоже прибавят.

— Семь бед...

Слышно было, как на лестнице деловито и со зна-

нием предмета переговаривались старухи-завсегда-тайки.

— За милую душу впаяют!

— Шутка ли — грабеж?

— Мальчонку жалко.

— Они, эти мальчонки, и есть самые опасные. Намедни вот...

Она не договорила — призывно задрезжал звонок. Друзья давно смирились со своей участью и потому шли наверх в сопровождении конвоя совершенно спокойно. Только Серёга не утерпел-таки, ободряюще подмигнул Владу по дороге:

— Не робей.

Зал встретил выходящую из совещательной комнаты троицу как и положено: стоя. Седенький судья, протерев вспотевшие очки, нацепил их и, опустив подслеповатые глазки, затащил заученным речитативом:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...

Требование прокурора было полностью удовлетворено. Конвой протрубил поход. Осужденные повернулись к выходу. Последнее, что увидел Влад, выходя в боковую дверь зальца, были наполненные слезами глаза юной секретарши суда.

Но для него наступила новая жизнь, и в ней, в этой жизни, уже не оставалось места для ответной благодарности.

После суда Влада везли отдельно, в боксе воронка, во избежание, как полагалось по инструкции, общения со взрослыми. Сидя в раскаленной клетушке, он что есть силы прижимался лицом к решётке в надежде узнать мелькающие в дверном окошке дома и улицы. И действительно схватывал то угол Суцевского вала и Новослободской, то кинотеатр на Таганской

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

площади, где неподалеку, на Больших Каменщиках, жила его дальняя тетка, у которой он иногда бывал вместе с матерью, то булочную на Краснохолмской набережной. Вот и всё, что ему довелось увидеть, прежде чем ворота тюрьмы снова задвинулись за ним.

Тон процедуры опять-таки отличался от двух предыдущих. Теперь уже с ним и вовсе не церемонились: первый же, к кому попало в руки его дело, презрительно поморщился:

— Червонец. В лагере и сгинет. — И брезгливо отодвинул от себя папку, словно это было по крайней мере сухое дерьмо. — Туда стервецу и дорога. Воздух чище будет.

Дальше — больше. Его пинали, подталкивали почему-то обязательно взащей, если разговаривали, то непременно матом. Он словно миновал какой-то незримый водораздел, за которым вообще перестал быть человеком. «Вот оно, — с горечью заключил он, — где начинается настоящее-то, раньше цветики, видно, были».

Ночью, когда его вели по подвальному коридору, он вдруг заметилдвигающегося ему навстречу в сопровождении надзирателя Сергея. Влад рванулся было окликнуть его, но в это время сзади последовал резкий окрик:

— К стене!

Влад уткнулся в стену, но в последнее мгновение всё же приветливо скосил глазом в сторону проходящего друга, и тут же нос его с размаху вплющился в стену:

— Не оборачиваться, сука!

Кровь залила Владу лицо, переносицу взломила боль, он закричал, и крик его в ту же минуту слился с бешеным ревом Серёги:

— Не трожь малолетку, мразь! Я тебя, падаль Таганскую, на краю света найду! За что бьешь пацана?

Курва, курва, курва драная, мне бы тебя, падлюку, на фронте встретить!

Влад слышал, как они крутили его, как били сапогами, как тащили по цементу, а тот всё кричал, всё кричал:

— Суки, суки, суки! Рот я ваш мотал, на пацанах отыгрываетесь?.. Влад, Владик, Владька, не забывай, ничего не забывай! Слышишь, прошу тебя, всё помни, за всё посчитаемся, будет наше время! Не забывай, Владька, у меня никого, кроме тебя, нету!..

И голос его канул, оборвался, стих, смятый надзирательским кляпом...

Ты слышишь, Серёга, он ничего не забыл и уже никогда не забудет, но за себя он простил им всё.

Ему не забыть, как стоял он на залитой светом сцене с чугунной от недельной пьянки головой, бессмысленно и жалко улыбаясь в заполненный премьерным сбродом зал и беззвучно плакал о своем прошлом, которое только что повторилось здесь, смонтированное памятью в короткое трехчасовое действие о тебе, Серёга, о твоей судьбе, какой он представил ее себе после вашего горького расставания в подвале Таганки.

Он назвал это действие «Жив человек», и чужие ему люди более или менее сносно разыграли его в небольшом театре, что на Малой Бронной. Но сколь бы убогим не было случившееся зрелище в сравнении с твоей подлинной жизнью, оно всё же благодарно свидетельствовало о том, как сквозь тьму и скверну бытия ты нес в своей душе, не извращая и не расплескивая, Божественный Дар Совести.

Он почел бы себя навеки счастливым, если бы однажды, выходя на очередной поклон, среди сотен безымянных лиц увидел твое памятное для него лицо и в безголосом реве услышал твой глуховатый, с болезненной хрипотцой голос:

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

— Лады, малолетка, выходит, мы тоже — не последние...

Но коли всё же, сам того не ведая, он мысленно прозрел твой конец и ты пал по приговору за отягощенный кровью побег, да упокоит Господь твою душу и да будет земля тебе пухом, а все неискупленные грехи твои он берет на себя.

Я сказал.

Владу определили пять суток строгого: четыреста граммов хлеба, раз в день баланда. Целыми днями до полного изнеможения ходил он из угла в угол и думал, думал, думал. Впервые оставшись наедине с собой, он как бы заново переживал всё уже ранее им пережитое. Что там ни говори, а ему было что вспомнить. Вариант каждого события он переигрывал по множеству раз, но всегда выходило, что самый первый и оказывался в конечном счете самым единственным. Четыре шага туда, четыре обратно — сколько же прошел он вот так хотя бы за первые трое суток? Влад испытывал голод и жажду, страх и отчаянье, боль и страдание, но ни разу, насколько он помнит сейчас, ему не пришлось испытать нужду в собеседнике. С тех пор Влад усвоил для себя одну сокровенную истину: человек, которому наедине с собой скучно, не имеет права называться человеком, значит, такой человек пуст и ничтожен и не такому дано вещее имя сосуда Божьего.

На четвертые сутки в камеру к Владу зашел уже знакомый ему корпусной.

— Не надоело?

— Что?

— Сидеть в карцере.

— Терпимо.

— Гордый. — В тоне капитана прослушивалась одобрительность. — Но порядок, брат, есть порядок: провинился — получай.

— Меня же избили и я же виноват.

— Ну уж избили! — Он отвел глаза. — Стукнули разок для порядка, здесь ведь, брат, не санаторий. На этап хочешь?

— Скорей бы уж!

— Слушай сюда, Самсонов. — Корпусной присел на краешек нар. — На этап я тебя отправлю завтра же. На хороший этап, в одну из лучших колоний, только напоследок хочу сказать тебе: бросай эту канитель, берись за ум, начинай учиться. Голова у тебя на плечах есть, я твой формуляр библиотечный смотрел да и так за тобой приглядывал. Из тебя большой человек получиться может, только руки и душу приложить треба. У меня у самого двое таких, задень меня шальная, может, на твоём месте были бы. Вот тебе мое последнее слово. А этому артисту, — он выразительно взглянул в сторону двери, — я мозги вправлю, как над мальцами силу показывать. — Корпусной встал. — Готовься, ночью этап. — И уже с порога: — Будь здоров...

Через минуту Влад уже слышал, как тот распекал «крестившего» Влада надзирателя:

— На мальчишку рука поднялась? У самого, видно, нету. Совесть, сержант, иметь надо!

— Мальчишка, мальчишка, а обзывается хуже взрослого. А я, между прочим, тоже человек!..

Разговор затих в конце коридора, а я вспомнил последние слова сержанта, читая через много лет рукописный рассказец веселого московского забулдыги Валеры Левятова, который я запомнил, а затем, после нескольких пересказов, и выучил наизусть.

ДЕЙСТВИЕ РАВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

— Рядовой Бокарев!

— Я!

— Ко мне!

— Есть!.. Товарищ старший лейтенант, рядовой...

— Отставить... Рядовой Бокарев!

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

— Я!

— Ко мене!

— Есть!.. Товарищ старший лейтенант! Рядовой Бокарев по вашему приказанию прибыл!

— Кругом! На месте шаг-ом марш! Рядовой Бокарев!

— Я!

— Встать!

— Есть!

— Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Живее! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Живее! Сесть! Встать! Рядовой Бокарев!..

А ночью солдат плакал, тихонько, чтобы никто не услышал. «Это жестоко! Я человек!» — шептали губы.

У офицера была жена. «Миша, сходи в магазин», — говорила она. И он шел. «Миша, у меня голова болит», — и он мыл посуду. «Миша, ты глуп, как пробка», — и он съеживался и делался похожим на побитую собачонку.

Жена часто уходила из дому. Офицер оставался один. Ему становилось жалко себя, и он бормотал, всхлипывая: «Это жестоко! Я человек!»

Его жена уходила не в театр. Его жена уходила к солдату Бокареву.

Солдат сосал из его жены деньги. Солдат обзывал его жену шлюхой. С солдатом его гордая жена становилась дворняжкой.

А когда, опустив голову, вся униженная и оплеванная, она плелась домой, ей хотелось плакать, губы ее вздрагивали, и она шептала: «Ах, как это все-таки жестоко! Я ведь тоже человек!»

А сверху смотрел на них Бог. И плакал.

Задал ты человечеству задачку, веселый московский забулдыга Валера Левятов!..

Среди ночи загремели ключи в дверном запоре и гнусавый голос знакомого сержанта коротко выкрикнул:

— Самсонов, на выход, с вещами!

Тюрьма собирала очередной этап.

Малолеток в «стольшине» поместили отдельно и посвободнее: всего лишь по двое на полке. У взрослых же в соседних клетках творилось что-то неопишное: крик, стоны, мат. Всё это сопровождала вялая ругань конвоя. Лишь к вечеру, когда жара спала и вагон на перроне Ярославского вокзала подцепили к какому-то пассажирскому, народ немного утомился. Гибка природа человеческая: ко всему приравливается.

Примостившись на самой верхотуре бок о бок со щуплым и вдобавок абсолютно молчаливым узбечонком, Влад через крошечное и мелко обрешеченное оконце рассмотрел кусок асфальтового перрона с какой-то древней бабкой, восседающей на мешках. Вокруг бабки весело вертелась льняная девчонка лет пяти в линялом ситчике с разноцветным мячиком в загорелых ручонках. Мячик то и дело выскакивал из ее объятий и катился вдоль по асфальту, и тогда старуха принималась жалобно ерзать на мешках, но с места не сходила, явно опасаясь за свою кладь более, чем за льняную баловницу, и только плаксиво повизгивала на нее:

— Утомись, Надёк, ой утомись, вот счас матка придет, так заругает, так заругает...

Влад следил за этой немудрящей игрой, а сам неотступно думал о том, что где-то совсем рядом, в двух остановках на трамвае, существует в этот момент его семья, и мать уже пришла с работы, а тетка хлопчет вокруг своей ненаглядной племянницы, и ни у кого из них не возникает и мысли о его с ними таком близком, но довольно скорбном соседстве. Какая ворожея могла бы наворожить им об этом? Нет такой ворожеи!

Рыжая голова с конопатым, к тому же вроде запятой носом, точь-в-точь крохотное солнышко, возникла перед ним над кромкой полки:

— Как думаешь, корешок, рвануть оттуда можно? Я слышал: уходили и с концами...

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

Не ожидая ответа, голова исчезла, и голос ее уже слышался где-то внизу:

— Слышал, корешок, с Севера целый лагпункт рванул, в Америке теперь по радио выступают...

В ответ ему слышались или смех или ругань, но голос рыжего возникал снова и снова, пока первое постукивание колес не возвестило истомившимся в жаре и ожидании зекам, что они наконец тронулись. И вместе с облегчением наступила апатия, которую не расшевелила даже раздача пайки с обязательным куском селедки и кружкой пахнувшей хлоркой воды.

Лишь в соседней клетке у взрослых кто-то басовито устоявшимся речитативом дотравливал соседям начатую, видно, еще на стоянке байку:

...Жизнь у вора, братишки, сам знаешь, какая: мечи — не мечи, три сбоку, ваших нет. С тридцатого, считай, года по тюрьмам и каталажкам путешествую, остановиться не могу. Мало мне лет тогда было, а всё как сейчас помню, будто вчера случилось. Сам я из деревни Тогбеево, от Тулы недалеко, можно сказать, рядом почти, километров сорок, не больше. Семья у нас была добрая — не считая меня, одних ребят пятеро, да бабка, да родители сами. Девять рыл, как одна копейка. Но батя мой мужик был хозяйственный, на все руки мастер: хоть веники, хоть ложки — всё умел и двух лошадей держал к тому же. Короче, по миру не ходили, с мякины на воду не перебивались, пустых щей не хлébывали. Не то, что у иных — придет тятя домой, выложит ... на стол, а ребятня его ложками, ложками; смеху полны штаны. Только зачесалась у кого-то наверху задница, втемяшилось — из дерьма пироги делать, ну и пошла писать губерния: даешь колхозы! Взяли и тятю моего за грудки: пишишь и всё тут! Но папеньку моего «на бога» не возьмешь, у самого глотка лужёная, послал агитаторов к ядрёне бабушке и пошел себе гоголем по деревне. Только они таких говорков сшибали, как говорится, с бугорков. Подогнали в од-

ночасье несмазанную телегу ко двору. «Собирай, говорят, Гаврюшкин, свою кулацкую поросль в чем есть, бери, разрешают, краюху хлеба да щепоть соли на дорогу и айда с конвоем в северном направлении!» Матуха с бабкой — в голос, пацанки в слезы, а батя только с лица спал, потемнел весь. «За что же это вы меня так, говорит, за какие-такие провинности, али я против власти шел, али налогов не платил?» И вот, как сейчас помню, секи мою мысль, братишка, подступает тут к тятюке корявенький такой хмырь их района с наганом на боку и в очках, носик уточкой, ушки лопушками. «Диктатуру пролетариата знаешь? — говорит. — По закону классового самосознания как кулацкий элемент ты, Гаврюшкин, подлежишь выселению в места отдаленные». И берет папеньку моего за грудки. Только Иван Карпыч, батя мой, здравствие, как говорится, ему небесное, страсть как грубости не терпел, подковы кренделями гнул, любил душевное обхождение, врезал ему ласково и кротко промеж рог, ну и, сам понимаешь — очки отдельно, уши отдельно, еле собрали потом. Опять же сила солому ломит: повязали моего родимого и на особой подводе в район отвезли за покушение на власть при исполнении. Больше мы его и не видели. А нас той же дорогой, только на пять тыщ верст дальше. Бабка и до пути не дотянула — дуба врезала. Да что там бабка, молодые как мухи мёрли. Мне уж потом в лагерях как-то один спец из старорежимных точно сказал, что нашего деревенского брата в ту пору чуть не семь миллионов окачурилось: кто на выселке, а кто от голодухи. Прости, братишка, за что взял, за то и продаю. Я тоже до места не доехал — в Ачинске отстал, своим умишком дошел, что на верную смерть везут. Парень я был отчаянный, в отца пошел, по помойкам не шлялся, сразу делом занялся. Скоро меня по всей магистрали знали, в закон вошел, авторитет имел. Первый срок еще в детской тянул, а потом всю лестницу прошел от Беломорканала до Поть-

мы. Чего я только, братишка, не видал на этих командировках, кого только не встречал! Замнаркомы у меня шестерили, за водой бегали, комдивы глазами ели, не перепадет ли чего, знаменитый тенор Вадим Козин из-под меня не вылезал. Ты не смотри на меня больными глазами, братишка, не царапай мне душу, я и сам Бога знаю. Ты лучше скажи мне, что они, эти твои идейные, делали, когда давили и гнали нашего мужицкого брата и на морозе штабелями складывали? И ведь не одного, не двух, не сотню — миллионы, братишка! И за что, скажи? Что своим горбом и кровью кусок хлеба, потом политый, себе добывали земляным черным трудом. Никого не трогали, ихнюю жизнь не заедали, кормили их с отменной сытостью. Когда бабка моя (она весь век свой на земле горбатила) в телячьем вагоне Богу душу отдавала, они, твои идейные, уря кричали, так их мать перемать, кулацкую, мол, гидру, стишки про счастливую колхозную жизнь сочиняли, скрипели портупелями на парадах, усатому зад вылизывали, а я, значит, не имею права с них свое кровное получить, хоть в малой доле? И нету среди них для меня безвинных. Попадается, конечно, и ученый народ, жалко их, к таким у меня всегда снисхождение. Только иной раз и у такого спросить хочется: какой же ты, брат, ученый, коли молчал и сопел в две дырочки над сладким кофеом, когда народу такие кровя пускали? На кого же нашему брату тогда надеяться, коли и умные-то головы за сладкий кусок кому хошь душу заложить готовы! Я, братишка, в лагерях не всегда дурочку валял, время много — почитал кой-чего. Ученый человек, если у него совесть есть, не промолчит, постоит за правду, любую смерть примет. Ян Гус слышал? То-то! И не он один. А эти, выходит, только для самих себя ученые, чтоб себе хорошо сделать, а мы для них дерьмо, навоз, с нами всё дозволено. Вон недавно на этапе пересекся я с одним малолеткой, рыженький такой, в веснушках весь, будто пометом обрызганный. От гор-

шка два вершка, а сроку пять лет. По Указу за колоски. Чего из него будет, курит уже и чиферится тоже. Для деревни теперь он не работник, освободится — по вербовкам пойдет, или еще хуже. А эти, которые еще на свободе, время придет — свое получают, за усатым не заржавеет, во дворцах совещаются, Указы «об усилении» сочиняют, книжки про славную советскую молодежь пишут, гимны, кантаты разные. И рыжий пацан этот для них уже уголовник, черная кость, социальный, как они говорят, отброс. Рвань канцелярская! Много ихнего брата меня помнить будет! И того, секи мою мысль, братишка, корявого я тоже встретил. Под Архангельском, в карантине. Пригнали нас туда из Бутырок на лесоповал. На осмотре гляжу, чтой-то у фельдшера лагерного фотокарточка вроде знакомая. Когда до меня очередь дошла и он ко мне в пасть полез, вспомнил я его. «Не узнаёшь, говорю, лекпом?» — «Что, говорит, в командировке, может, встречались?» — «Нет, говорю, в Торбеево, на раскулачинье, Гаврюшкина когда брали». Посмотрел он на меня, прищурился, и отвернулся. «Сколько годов, говорит, прошло, всех не упомнишь». — «Да у тебя, говорю, метка от него на лбу до сих пор». — «Меня, говорит, и после того много били». — «Ну и как, говорю, с пользой?» — «Не без того, — говорит, а сам всё отворачивается, отворачивается, — было время подумать». — «В зоне, говорю, встретимся, я еще добавлю». — «Брось, говорит, парень, молодой ты еще, многого не понимаешь». И бочком, бочком к выходу. Только через три недели в зоне встретились. Да не смотри ты, не смотри на меня так! Не бил я его, не бил! Только зажал однажды в темном углу после отбоя и говорю: «Как, говорю, ты теперь насчет диктатуры пролетариата? Здесь, говорю, я — лагерный пролетариат, а ты для меня буржуй, кулак и эксплуататор. И по законам своего классового самосознания я приговариваю тебя к вышке. Трави свое последнее слово». — «Я, говорит, стихами». — «Давай,

говорю, мне всё равно». И пошел он, братишка, всё в рифму да в рифму и всё складно так, всё по совести. И про вину свою, и про кровь народа, и про низость палачей. Меня даже тогда, помню, слеза прошибла, до того душевно сочинил, сукин сын! «Иди, говорю, только на глаза мне больше не попадайся и спирту через кого-нибудь передай». С тех пор, братишка, я к ихнему брату никакой злобы не имею, только презираю — очень склизкий народ. Ведь перевернись планида, он этими стишками и за папашу моего, за все наши семь миллионов заплатит да еще и медаль от благодарного человечества огребет. Но, по правде говоря, совсем я их занеуважал после Кандалакши. Пригнали нас туда в начале войны, среди зимы, до Котласа дорогу строить, уголек стране доставлять. Согнали посередь поля, мороз за тридцать, с ветром, кругом только снег да пеньки. Куда ни поглядишь, плакаты понатыканы: «На трассе пурги нет!», «На трассе мороза нет!», «Дадим уголь Родине!» Сунули нам в зубы палатки, ломы да лопаты и скомандовали: «Давай!» Но «давай», как известно, подавился. Я как авторитетный пахан пуляю свою команду: «Ложись, братва, лучше жить лежа, чем умереть на коленях, пускай они на подсыпку свои кости кладут!» Залегли все: и блатные, и мужики. Только эти стоять остались, сознательность свою проявляют. Конвой озверел, бьют нас чем попало и куда попало, но лежат мои мужики с цветными в обнимку, ни с места, любо-дорого посмотреть! Бились, бились «ваньки», наконец плюнули, отступились. А эти суки стоят, характер показывают, под свое холуйство идейную базу подводят. Чуть стемнело, вынесло из пурги оленьи упряжки, штук пять, на каждой — по двое, все в комсоставских тулупах. Несутся по фронту, гляжу, где-то посреди колонны останавливаются. Ну, думаю, уговаривать или грозить начнут. И вдруг как обухом по голове, веришь, братишка, чуть не обкакался я тогда от обалдения. Поднимается на са-

нях один чмур с рупором и орет, куда тебе знаменитый диктор Левитан! «Звонил отец всех народов, приказал передать, что он в вас верит!» Проорал он так раза три вдоль колонны, только их и видели. И что тут поднялось, братишка, у этих — передать невозможно. Орут, плачут, шапки свои тряпошные подбрасывают. Даже иные мужики дрогнули, поднялись было, но я только посмотрел на них, братишка, только посмотрел, и они по-новой затихли. Так мои и не поднялись, пока им другую командировку не объявили. А на тех надо было тебе поглядеть, братишка, надо было поглядеть тебе, чтобы понять, какое дерьмо на палочке может быть человек! Как они вкальвали! Никогда в своей жизни я не видал: так люди вкальвали, да и не знал, что так можно вкальвать! Каким же холуем, братишка, надо заделаться, чтобы в холуйстве своем всех холуев геройством переплюнуть? А ты говоришь — человек, или, как еще в книжках красивых пишут, — гомот!

Под эту диковинную байку Влад и уснул, а когда проснулся, сияло осеннее утро, вагон стоял, за окном виднелась какая-то, судя по всему, большая станция, конвой метался по коридору, выкрикивая на ходу:

— Приготовиться на выход!.. Приготовиться на выход!.. Живее... Живее, твою мать!

Это была Вологда — конец пути.

11

За окнами лагерного карантина отцветала в золоте и синеве короткая осень Вологодчины. Белесые облака проплывали низко над землей, пятная окрест расплывчатыми тенями. Снаружи тянуло воглым холодком, от которого зябко сводило спину. Дни тянулись медленно, в химерах и воспоминаниях, в невеселых, под стать погоде, думах о предстоящей жизни в лагере. Десять лет! С куцега подъема его неполных восемнад-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

цати срок этот казался ему до жути немислимым, уходящим своим окончанием почти в небытие. Влад вообразить себе не мог, что сумеет выдержать хотя бы половину этой десятки. Жизнь свою он считал теперь конченой и потому не строил планов даже на самое ближайшее будущее. Не все ли равно, что сулит ему следующий час или день? День — ночь, сутки прочь, лишь бы его не трогали, не тревожили сию минуту, не лезли к нему в душу, не бередили его понапрасну пустой болтовней и несбыточными мечтами.

Целыми днями, натянув одеяло до подбородка, Влад бессмысленно вперялся в окно перед собой, через которое был виден верхний ряд колючей проволоки ограждения на фоне пронзительно синего неба. Проволока эта действовала на него особенно угнетающе. В обиходе детских «бессрочек»¹, куда он попадал до сих пор, колючка почти не употреблялась, разве лишь для запретных зон. Поднятая на уровень основной ограды, она выглядела угрожающим знаком отчуждения от внешнего мира, чертой отверженности, светоразделом между жизнью и забвением: рискованная игра прошлых побегов становилась здесь почти смертельной. Оставь надежды всяк сюда входящий!

Внизу, на свободном пяточке между нарами, заваривался повседневный быт, малолетки дрались и мирились, и снова дрались, играли костяшками от домино в очко, торговали и обменивались чем попало, уверенно приспособиваясь к обстоятельствам, и лишь Влад оставался безучастным к их круговороту. Повзрослев намного раньше своих однокашников, он куда трезвее, чем они, воспринимал действительность, все ее связи и последствия. Уцелеть в десятилетнем плаванье по ненасытному морю ГУЛАГа он не надеялся, а поэтому

¹ «Бессрочка» — детская колония для неосужденных правонарушителей, в которой содержат до совершеннолетия (жарг.). — В. М.

предпочел мертвый дрейф бессмысленному сопротивлению. Я б хотел забыться и уснуть!

Но однажды к нему под бок подкатился знакомый карманник из Москвы по кличке «Чапай»:

— Может, рванем, корешок, а? — Быстрый глаз его испытующе косил в сторону Влада из-под огненно рыжих ресниц. — Я тут с одним смурняком договорился, он отвод даст, хипеш¹ подымет, попки его в трюм² поволокуют, а мы — через окно во двор, и наше с кисточкой. — Его прямо-таки трясло от нетерпения. — Видел на оправке: у них галльон прямо впритык к забору стоит, запросто можно с крыши через проволоку... Спрыгнем — и в разные стороны, одному да пофартит... Все равно нехорошо, а?

Стылая высь за окном неожиданно приобрела радужную окраску. Вместе с холодком снаружи внутрь вдруг пробилась острая запахи увядающей земли. Явь расцвела голосами и звуками. Надежды, надежды, надежды! Как мгновенно, как восхитительно быстро возникает ты из пепла отчаянья! Выше клюв, вскормленный неволей орел молодой, и пусть плачут по тебе надзиратели!

Впервые Влад увидел «Чапая» в клетке «столыпина». Всю дорогу от Москвы до Вологды тот пристраивался ко всем соседям по очереди с одним и тем же разговором:

— Как считаешь, корешок, из карантина лучше или до зоны подождать?..

Всерьез его принимать не приходилось, но поскольку бежать им предстояло в разные стороны и в попутчики тот не напрашивался, Влад согласился почти не колеблясь:

— Думаешь, пофартит?

— Ты слушай сюда, корешок. — От возбуждения

¹ Хипеш — шум (жарг.). — В. М.

² Трюм — карцер (жарг.). — В. М.

веснушки на его коротком носу потемнели и покрылись капельками пота. — Нам бы только отъехать подальше, а там в любой детприемник затесаться под маской крокодила, мы с тобой запросто за пацанов еще похляем. Сам знаешь, в приемнике на «рояле»¹ не играют, как назовемся, так и запишут. Месяца два прокантуемся — и на волю. Всё как по нотам...

Сборы были недолгими. По неписаному лагерному закону им безропотно собрали всё лучшее из одежды и по четверть пайки от обеда, выскребли курице из заначек. После того как они снарядились, один из ребят бросился к двери:

— Дежурный, убивают!.. Убивают-убивают, дежурный!

Едва лишь надзиратели выволокли парня и занялись им в коридоре, «Чапай» подушкой навалился на оконное стекло. Оно вывалилось наружу почти беззвучно. Со двора в помещение пахло прелью и сыростью. На мгновение Влад сжался, вообразив себе сладкую жуть предстоящего, но в следующую минуту он уже перекидывал свое легкое тело через зияющее синей пустотой отверстие. Свобода!

В горячечном беспамятстве Влад пересек двор, обдирая руки, вскарабкался на крышу уборной, вытянулся в полный рост с намерением прыгнуть и обомлел: со стороны зоны под конвоем надзирателя тянулись двое ребят с ужином для карантина. К счастью, оцепенение его длилось недолго. Не слыша окрика, он чуть не плашмя упал на перекинутую «Чапай» через проволоку бросовую телогрейку и следующим усилием вытолкнул себя за ограду: упал на бок, вскочил и, почувствовав под ногами мшистую подушку почвы, рванулся сквозь вырубку к темнеющему вдаль лесу. Сперва Влад еще следил за напарником, щуплая фигурка ко-

¹ Играть на «рояле» — снимать дактилоскопические отпечатки (жарг.). — В. М.

того петляющими зигзагами уносилась в сторону от него, но вскоре цель — темнеющий лес впереди — сузила его обзор до размеров единственной прямой, и он потерял «Чапая» из виду. Тревога, тревога, тревога! Погоня спешит за тобой!

Когда над округой прогремел первый выстрел, Влад на последнем дыхании уже продирался сквозь густой подлесок к спасительной темени ельника. Укрой меня, зеленая дубрава! Дотянувшись до ближайшего ствола, он упал, чтобы перевести дух, и только тут в его разгоряченное сознание пробилась ружейная пальба позади. Тогда он снова вскочил и ринулся дальше, в чащу, под защиту хвои и тишины.

Углубившись в лес, Влад принялся петлять вдоль ручьев с тем, чтобы сбить собак погони со следа. Он брел по течению, возвращался и снова спешил вниз, выпрыгивая из воды в самых, как ему казалось, неожиданных местах. В конце концов промокнувшего и ободранного лес вывел его к полотну железной дороги. Предо мной кремнистый путь лежит.

По ту сторону насыпи, наподобие сторожевой башенки на подступах к обители путевого обходчика, возвышалась аккуратная копенка с крестовиной поверх брезентового укрытия. Копенка властно манила к себе Влада, обещая тепло и убежище. И он, не устояв перед соблазном (силы уже оставляли его), двинулся к ней через насыпь: прочь меру и осторожность, будь, что будет!

Зарывшись в сено, Влад сразу дремотно забылся, и грезилась ему родная окраина и станция Митьково, залитая белым светом летнего полдня. Тополиный пух кружился над улицей, забивая ресницы и ноздри, а он шел по ней — этой улице, и кто-то, скорее всего Юркашахматист из двадцать седьмого дома, призывно кричал ему вслед: «Вла-ад, Ва-а-дьяка-а-а!» Золотые сны детства. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Дети в школу собирайтесь, петушок пропел давно.

Сначала он услышал только тихое поскуливание и вкрадчивые скребки лап, но и этого ему хватило, чтобы понять: конец! Так могла вести себя лишь сторожевая, вымуштрованная опытной рукой ищейка. Западня захлопнулась, сопротивление было бесполезным. Она все же взяла его след, но где, в каком месте?

Лишь выбравшись наружу и увидев спускающихся с насыпи надзирателей, Влад догадался: контрольный дозор засек его на том самом месте, где он перевалил полотно. Догадался и проклял свою минутную слабость. Надо было идти дальше, лесом, по ручьям, не останавливаясь. Но у него не оставалось времени даже для сожалений. Охранники — молоденький солдат с девичьим румянцем во всю щеку и грудастый, словно баба, старшина в зеленом бушлате нараспашку — уже подступили к нему вплотную:

— Щенок паршивый! — Удар пришелся Владу в переносицу, он упал, но — странное дело! — не почувствовал боли, а только тошноту и привкус крови на губах. — Страна о тебе, паскуднике, заботу имеет, а ты, шаромыжник, в лес смотришь? Встать!

Молоденький солдат, глядя в землю, переминался с ноги на ногу и бормотно увещевал напарника:

— Будя, Аверьяныч, будя, пацан ведь... У тебя у самого, Аверьяныч, такие-от... Будя...

Старшина был заметно хмельной и поэтому лишь яростно распался от его слов:

— Ты моих к таким не равняй, молод еще учить меня. Мои как люди живут, за чужим не лезут, по стране не шатаются. Я бы этих ублюдков без суда расстреливал! Горбатого могила исправит, только зря на них хлеб изводить. — Он с размаху ткнул Влада в подбородок. — Иди вперед, паршивец!

С полотна охранник толкнул было Влада в сторону леса, но тот отказался наотрез, а когда старшина попробовал сдвинуть его силой, он плашмя лег на шпалы:

- Не пойду.
- Встать!
- Лучше здесь убивайте.

Влад знал, что в лесу с ним можно сделать всё что угодно: затравить собакой, отколотить до полусмерти и наконец, спровоцировав бегство, пристрелить. Открытое со всех сторон случайному взору железнодорожное полотно спасало его от расправы:

— Ведите по шпалам.

После недолгой возни, побоев и ругани старшина сдался. Ткнул Влада кулаком под бок, буркнул:

— Ладно, шагай... Не ночевать же мне здесь с тобой... Я тебя дома научу свободу любить... Ну!

Обратный путь показался Владу куда длиннее. Стараясь держаться ближе к конвою (расстояние более девяти метров считалось по правилам надзорслужбы достаточным для выстрела в спину), он не спеша ступал по шпалам, и согбенную спину его жгло ожиданием удара и выстрела. Тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой. А мать сыночка никогда. Долго рыдал прокурор.

В ночных сумерках выявившаяся впереди зона выглядела среди огней сторожевых вышек почти пасторально: эдакое карнавальное нагромождение освещенных карточных домиков на взгорье. Но чем ближе они подходили к ней, тем явственней обнажалась ее подлинная суть: мрачные бараки за двумя рядами колючей проволоки, скорбная юдоль униженных и оскорбленных.

В помещении надзорслужбы их уже ждали. Едва Влада втокнули туда, как тупой удар сапогом в бедро свалил его на пол.

— У, воровская падаль! — Цыганское лицо начальника надзора капитана Писарева, знакомого Владу по встрече в первый день карантина, нависло над ним. — Где второй?

Владу оставалось только закрыть голову руками и

сжаться в комок. Удары посыпались на него сразу и со всех сторон. В садистском забытьи они перестали даже ругаться. Били, сопя и покряхтывая, с полным сознанием своей безнаказанности. Владу казалось, что его тело постепенно превращается в наполненный болью мешок, который вот-вот расползется по швам. Голубые ласточки порхали перед его смеженными глазами, а в тесном горле запекался тлеющий уголь. Последнее, что он помнил, был короткий и острый удар каблуком в пах. И сразу: собственный вопль, падение, черный провал...

Его куда-то несло — легко и свободно. Где-то совсем рядом плескалась о берег чуть слышная волна. И кто-то около него пел знакомую дразнилку, которая проследовала за ним через всё его детство: «Боксер, боксер, как твои делишки, хлеба нету ни куска, плачут ребятишки...» Потом он услышал доносящийся до него, словно с другого берега, голос сестры Нины: «Влад... Вла-а-д, Влади-и-ик, обедать пора, мамка зове-е-ет!» Но распахнув глаза, он видит не двор на Митьковке, а море и себя, лежащего на батумском галечнике, куда Влада вместе с другими привели на прогулку из городского детприемника. Небо над ним кипит и плавится, а далеко впереди, прямо на уровне его взгляда, скользил белый-пребелый пароход с вороным шлейфом дымка вокруг разноцветной трубы. Влад хочет встать, подняться, чтобы пойти туда, к зеленой воде под берегом, но здесь хлесткая боль пронизывает его с головы до ног, и он, увлекаемый ею, падает, падает, падает в бездонную бездну, без надежды на просвет или спасение.

И снова тьма, тьма, тьма.

— Вла-а-д!

— Вла-а-а-ад!

— Вла-а-а-ади-и-ик!

Молчание.

Прости им, Господи, я не держу на них зла... Если бы они ведали, что творили!

Влад очнулся от чьего-то легкого прикосновения. Над ним склонялось худое, с далеко выдвинутым вперед подбородком лицо:

— Не узнаешь?

Усилием памяти он вызвал из недавней тьмы первый день в карантине: переключку, обыск, медосмотр. И сразу вспомнил тощего фельдшера из эков, мрачно балагурившего с новичками при осмотре:

— Сколько же тебе лет, папаша? Семнадцать? А по ... я бы тебе все тридцать пять дал. Сама отросла или в кружкѣ «Умелые руки» тренировал? Проходи. Следующий! А ты с какой живодерни сбежал? Или после голодовки? Думаешь в лагере подкормиться? Ну-ну, давай. Следующий!

Он им понравился тогда, этот фельдшер. По крайней мере не воспитывал, не угрожал, не строил из себя большого начальника. Было в его манере разговаривать с ними что-то подкупающе доверительное, от чего предстоящая жизнь в зоне уже не казалась им такой долгой и безотрадной.

Теперь тот склонялся над Владом, и сквозь неистребимую насмешливость в длинном его лице проступало явное сочувствие:

— Лежи, лежи, отлеживайся, время есть, спешить тебе некуда. Хорошо, хоть совсем не убили, здесь это запросто.

Белый потолок перед глазами плыл и покачивался. Белым было всё вокруг — стены, простыни, запорошенное первым снегом окно, но у этой белизны был какой-то серый, угнетающий налёт, плоский отпечаток неволи. «Изолятор! — облегченно зажмурился Влад. — Значит, все-таки жив!»

— Отделали они тебя, можно сказать, с чувством, — мирно гудел над ним голос фельдшера. — Какой-то поросенок еще и воды потом в трюм налил, еле тебя

утром с полу отодрали. Дорвались до бесплатного, пьянь краснопогонная! Напарник твой вроде ушел, ищут нынче в Вологде. А ты лежи теперь. Главное — жив остался, а два года добавят — не беда. Всё равно не досидишь, скоро, говорят, амнистия для малолеток карячится. — Он нагнулся к самому уху Влада и задышал горячо и часто. — Я бы тебе помог, да боюсь, у тебя духу не хватит. Смурняка никогда не косил?¹ — Молчание Влада он расценил по-своему. — Я научу. Ты, главное, молчи и рви бумагу. Молчи и рви бумагу. Понял? Вот я тебе книжку на тумбочке оставляю... Не робей, заделаем в чистом виде, не в первый раз...

Первое, о чем Влад подумал: не подвох ли? Но тут же резонно рассудил, что фельдшеру нет никакой видимой выгоды разыгрывать его, и воспрянул духом: «Попытка не пытка, может, выгорит!»

Оставленный фельдшером учебник географии для шестого класса таял под рукой Влада медленно, но верно. Горка останков от карт и текстов цветной мозаикой взбухала у его ног. Не счесть алмазов в каменных пещерах. Понемногу он даже вошел во вкус. Ему нравилось мелко крошить затертую и обмусоленную множеством пальцев бумагу, ощущая в душе упоительную радость школярской мести за все полученные когда-то по этому предмету колы и двойки. Вот так, вот так, вот так!

Фельдшер раз-другой сунулся в дверь, помигал одобрительно и к вечеру привел с собой главврача, майора Варву:

— Вот, Николай Алексеич, с утра орудует. Спрашиваю — молчит, видно, перестаралась надзорслужба.

Хромой хохол постоял около Влада, обеими рука-

¹ Косить смурняка — симулировать сумасшествие (жарг.).
— В. М.

ми обхватив набалдашник своей палки, обнажил в усмешке прокуренные зубы:

— Косишь, Самсонов? — Концом палки он приподнял Владу подбородок. — Не боишься?

Как же Влад ненавидел его в эту минуту! За что? Что он сделал ему, этому уроду с палкой? Слезы обиды душили его, и он старался не поднимать глаз, чтобы не выдать себя.

— Доложу по начальству. — Палка снова опустилась на пол. — Пускай сами решают. Симптоматику записывай, может, и вправду тронулся, такое бывает.

Проводив Варву, фельдшер вернулся, сел на краешке койки, тихо заговорил:

— Молодчик Самсонов, пока всё как по маслу. Главное, молчи. Сейчас он доложит чинам, и дело, считай, в шляпе. Я ведь тебя еще в карантине на заметку взял. Мне воспитатель стишки твои показывал, смеялся, вот, мол, поэта привезли. Я, знаешь, сам балуюсь, но у тебя лучше. Тебе учиться надо, у тебя талант, его беречь требуется. Талант одному, может быть, на сто тысяч, а то и на миллион дается. Большой это грех перед Богом похоронить его втуне. Он тебе вроде как в долг даден, а ты за него всю жизнь должен расплачиваться. Я, брат, давно по лагерям скитаюсь, всякого навидался. Каких людей хоронить приходилось, сказать — страшно станет. Помню, артист один (рак у него оказался запущенный) перед последней операцией мне говорил: талант, говорит, человеку за чьи-то муки дается в награду, значит, говорит, человек этот обязан Богу больше других, спрос с него втрое, а то и впятеро. Жаль, говорит, одного — что не успеваю уже расплатиться, не дали мне... А на майора не обижайся, он мужик сносный, фронтом только стебанутый сильно... Ладно, спи теперь. Тебе и по симптоматике депрессивная реакция положена.

Фельдшер ушел, и Влад облегченно забылся, а когда пришел в себя, вокруг его койки толпилось чуть не

всё лагерное руководство: начальник майор Попутько, его заместитель по воспитательной части капитан Тулупов, уже знакомый Владу Писарев и несколько чинов пониже и поведением поскромнее. Варва при этом заканчивал свои объяснения, всё так же опершись обеими руками о набалдашник своей палки:

— ...Симптоматика довольно распространенная и вполне устойчивая, скорая ремиссия вряд ли возможна... Выздоровление то есть... Думаю, в Кувшиново разберутся, они медэксперты, им и судить. — Смуглое лицо его, с желтыми навывкате глазами в свете единственной лампочки выглядело добрее и мягче, чем днем. — Во всяком случае, здесь трудно установить что-либо определенное...

Затем начальство потопталось еще немного, покивало глубокомысленно голубыми околышками и медленно вытекло из ночного изолятора, строго по субординации, согласно должностям и званиям. Последним выходил главврач. На пороге он обернулся, и Владу показалось, что в подернутых желтизной зрачках майора мелькнула одобрительная усмешка.

Где-то под утро фельдшер принес ему его еще сыроватую амуницию и, широко улыбаясь, ободрил:

— Повезут тебя сейчас в Вологду на экспертизу. Теперь главное — там не подкачать. Делай всё, как я тебе сказал... Давай вот одевайся. Прости, брат, не успела твоя одежёнка высохнуть.

Потом зашел уже знакомый ему старшина, покачался перед ним неуклюже и, отворачиваясь к окну, буркнул:

— Пошли на вахту... Сейчас доктор соберется, и поедем... Не обессудь, парень, пьяный я был... Меня, брат, больше били. За битого, знаешь, двух небитых дают... Да.

Через спящий еще и заснеженный лагерь они дошли до вахты, где их уже ждал Варва. Тот расписался за Влада, и они вышли в метельную ночь. Влад по при-

вычке двинулся первым. Он шел не торопясь и не обращиваясь. Ему было ясно только одно: жизнь его с этого дня круто менялась, правда, неизвестно еще, в лучшую ли сторону. И, наверное, от этого он не чувствовал холода. Ночь расступалась перед ним с ожидающей его неизвестностью в самом своем конце.

На станцию они пришли, когда уже рассвело. В зале ожидания на Влада смотрели с любопытством и настороженностью: человек под конвоем был в здешних местах не в диковинку, но всё равно всякий раз зрелище это вызывало известного рода интерес.

Лишь какая-то старуха в опущенном до бровей платке потихоньку сунула ему кусок рыбника, и старшина отвернулся, сделав вид, что не заметил такого вопиющего нарушения законов караульной службы.

В битком набитом вагоне Влад как бы затерялся и поэтому до самой Вологды проехал почти незамеченным, с внезапно возникшим интересом прислушиваясь к дорожным разговорам.

Один щуплый мужичонка рассказывал такому же тщедушному старичку в полупальто, перешитом из старой шинели, о цели своей поездки:

— Понимаешь, отец, мне эта самая справка в большую копеечку обошлась. Хорошо, у нас председатель сильно пьющий, а то бы ни в жись не получить. А мне она позарез, совсем в колхозе жись худая пошла. А я, отец, надо тебе сказать, плотник первой руки, хошь дом с наличниками, хошь лодку. Таперича, со справкой-то, я куда хошь, сам оденусь, родне подмогу...

Собеседник его только кивал сочувственно:

— Это за милую душу... Это — конечно... Самый раз тебе нынче в городе... Какие твои годы...

На верхних полках, лежа друг против друга, двое командировочных лекторов горячо обсуждали проблемы своей профессии:

— Сейчас в ходу «О международном положении», — говорил один. — «Моральный облик» уже не идет.

Другой веско возражал:

— Э, не скажите! Это смотря как подать. Если с конкретными примерами из местной жизни, то слушают — пальчики оближешь.

В соседнем же купе шла довольно активная пьянка, и дело доходило уже до песен, а ближе к Вологде — и до драки. Мордобой не состоялся только по случаю прибытия.

Вологда! Много лет пройдет, но при воспоминании о ней сердце его будет томительно заходиться, как о знаке, тавре, символе его юных лет и первой молодости!

Город встретил их снежной тишиной, замешанной на зимних запахах: дыма, конских яблок, кожи тулупов. Они прошли пешком через него, а потом еще через белое поле, и перед Владом, на другом берегу замерзшей реки, открылось тёмно-красное от кирпичных строений село, которое вскоре круто и навсегда уже изменит его судьбу.

Замирая от неизвестности предстоящего, поднимался он на крутояр, где возвышалось двухэтажное здание дирекции и приемного покоя, а за спиной его звучал снисходительно шутливый разговор:

- Ишь, спешит!
- Не угонишься.
- Намерзся.
- Да и мы тоже.
- В Вологде погреемся.
- Есть, товарищ майор!

Влад слушал их и никак в толк не мог взять, почему эти обыкновенные и в жизни, наверное, совсем неплохие люди могут временами так жестоко и зло озверяться?

В приемном покое их встретил трясущийся от ветхости старичок в белоснежном халате и, ласково улыбаясь Владу подслеповатыми глазами, чуть слышно прошепелявил:

— Здравствуйте, молодой человек, давайте знако-

миться... — Он передохнул и продолжал: — Меня зовут Абрам Рувимович... Фамилия моя — Жолтовский... Я здешний доктор... Давайте поговорим.

Ах, Абрам Рувимыч, Абрам Рувимыч! Сколько будет он жить, столько станет помнить вас. Вы словно и состояли-то из одной доброты, хотя никогда не употребляли этого слова. Может, он так и не научился любить людей, это ведь мучительная наука, но благодаря вам он научился хотя бы жалеть их...

Разговор продолжался недолго, и вскоре приземистый санитар отвел Влада в палату, и гулкая дверь дома скорби надолго захлопнулась за ним.

13

Передняя часть палаты походила скорее на тюремную камеру, чем на отделение больницы. У кафельной печки четверо открыто резались в карты, в дальнем углу шел азартный делёж передачи, между кроватями какой-то золотозубый малый лихо отплясывал чечётку. Сходство дополнял черноволосый крепыш на лавочке у двери, под белым халатом которого явственно проглядывалась форма надзорслужбы.

На новичка никто не обратил внимания. Лишь высокий, стриженный наголо санитар молча указал ему его койку, на которой уже кто-то лежал. Вопросительный взгляд Влада он пресек одним-единственным словом:

— Валетом.

И лениво двинулся к двери, где он делил место на лавочке с тюремным конвоиром.

Будущий сосед посмотрел на Влада с таким затуманенным равнодушием, что он почел за лучшее пойти по отделению. Оно делилось на две большие палаты и несколько маленьких, в которых, как он сразу догадался, держали тяжелобольных. Во всем помещении царил устоявшийся годами спёртый запах: смесь мочи, не-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

свежего белья и табачного дыма. Какофония из плача, смеха и песен дополняла всеобщий бедлам.

В предбаннике клозета к нему подсел тот самый золотозубый парень, который плясал между кроватями:

— Куришь?

— Нет.

— Плохо, здесь без курева и вправду чокнешься. — Он искоса взглянул на него и осклабился. — Откуда привезли?

— Из Шексны.

— А меня из Белоозерска, та еще командировка, от активистов не соскучишься. Сколько сроку?

— Десять.

— Многовато, — присвистнул он, — указник?

— Два, два¹.

— Я за карман. Пятерка. Кешарист?

— У меня нет никого.

— Совсем хреново. — Посмотрел на него в упор и без прежней развязности объяснил. — Здесь жратухи как будто и нету вовсе. Правда, персонал сознательный, иногда своего подбрасывают. То хлебца, то картохи. У меня, правда, матуха, не забывает. Так что подеюсь. Подложили тебя, правда, хреново, к припадочному, с таким не выспишься особо. Его по ночам раза три колотит. Будет смена получше, мы с тобой скучкуемся, а пока терпи.

— Я что, я как все.

— Будешь «как все», дуба врежешь, соображать надо. Держись за меня.

— Ладно...

— Ну, я пошел. В случае чего — подходи.

— Подойду...

Парень чем-то понравился Владу, у таких что на уме, то и на языке, и он решил держаться пока его, а там видно будет. Так и началось знакомство Влада с

¹ Указ от 1947 года. — В. М.

московским карманником Сашкой Шиловым. И оно — это знакомство — запомнилось ему потом на всю жизнь. Сашка на первых порах спасал его от больных-агрессивников, пока он сам не научился давать им отпор. Сашка делился с ним своими редкими посылками. Сашка даже ухитрялся доставать для него газеты и книги.

Самой трудной оказалась лишь первая ночь. Соседа действительно колотило трижды. И трижды, прежде чем заснуть, Владу пришлось единоборствовать с ним, чтобы его успокоить. Занятие это было, прямо надо сказать, не для слабонервных. Но потом, ночь за ночью, он приноровился к этому и вскоре справлялся с эпилептиком без особых усилий или брезгливости и тут же безмятежно засыпал.

По утрам тот чувствовал себя вяло и виновато. У больного татарина было чувствительное и благодарное сердце.

— Понимаешь, — поводит он на Влада подернутым сухим блеском глазом, — эта у мене с издетства. Падаю, падаю куда-то, и так мне хорошо тогда бывает, и свет кругом какой-то особенный — не сказать даже, а потом плохо, очень плохо... Ты просись — тебя переведут. Вон у окна койка асвабадилась.

Но Влад твердо решил держаться рядом с татаринном до конца. К тому же палата жила по тюремным законам, и места распределялись не медперсоналом, а кодлой у печки, где верховодил привезенный на экспертизу лысоватый пахан дядя Каин. Вокруг него с утра до ночи вертелся гомонок желающих выслужиться и схватить свою долю больничных благ: место получше, халат покрепче, довесок к пайке. Целыми днями дядя Каин лежал на своей койке у печи, подложив ладони под голову, и отдавал почти беззвучные приказы и распоряжения. Он находился здесь на экспертизе за убийство при попытке вооруженного ограбления, и ничего, кроме высшей меры, его, разумеется, не ожидало.

Примерно через неделю Владу было приказано

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

явиться пред его ясные очи. Отказываться в таких случаях (Влад знал это по опыту) было себе дороже.

Тот встретил новичка всё так же, лежа со скрещенными ладонями под затылком. Молча кивнул в сторону койки напротив. Искося оглядел его кроличьими глазами, сказал:

— Гордый, говорят? Люблю таких, сам гордый. Не надоело с припадочным ночи коротать?

— Кому-то нужно.

— А ты не партийный часом? — Он даже оживился, если можно назвать оживлением намёк кривенькой усмешки в губах. — За справедливость, значит? Тогда соси лапу. — И сразу без перехода: — Слыхал, стишки сочиняешь?

— Так, от нечего делать балуюсь.

Здесь дядя Каин впервые повернулся к нему всем лицом. Оно у него было испитое, с отеками явно тюремного происхождения, но какая-то затаенная мысль, вернее, мука делала его почти значительным:

— От нечего делать, пацан, только на мокрое дело ходят. Ты всё запоминай, пацан, всё примечай, ничего не забудь, тогда тебе цены не будет вовек. Если бы мне мою жизнь описать, какая бы книжка получилась — кровь и слезы! Только у меня не голова на плечах, а кочан капусты, а то и хуже того. Эх, — он даже всхлипнул от переполнивших его чувств, — если бы ты когда-нибудь про всё про это! — Но тут же заметно устыдился своего порыва и снова откинулся на спину. — Ладно, иди. Захочешь, к окну ляжешь, или рядом со мной. А там как знаешь...

С этого дня авторитет Влада в отделении стал непререкаем, но от татарина он так и не ушел, за что тот расположился к нему окончательно.

— Знаешь, они все тут как дикие звери. Все под больных косят, а свои шалтай-болтай не забывают. Рвань лагерная!

— Ты ведь тоже из лагеря?

— Ты мне не равняй, я — политический.

— Ты!

— Я председателя убить хотел, жалко — не вышло.

— За что?

— Он брата моего под арест подвел, пять лет дали. Брат сена для коровы взять хотел. Совсем немножко. Голодная была, кричала сильно.

— Не жалко было?

— Кого?

— Председателя, человек ведь.

Татарин только отрицательно прицокнул языком и тут же отвернулся, считая, видно, дальнейший разговор на эту тему законченным.

Много всякого повидал Влад на своем коротком веку, но лишь сейчас, в эту минуту, всё случившееся когда-либо с ним, все события и встречи, словно скрепленные последним звеном, слились в одну единую цепь, цельную и законченную картину. И он задохнулся: что же это за страна, что же это за люди такие? и почему, зачем они могут вот так жить?

Спустя десять дней Жолтовский вызвал его на беседу. Влада переодели в чистое белье, дали халат покрепче и повели сквозь лабиринт коридоров в главный корпус.

В полутемной тишине своего крохотного кабинета тот показался Владу почти бестелесным старым гномом, грозящим вот-вот рассыпаться, изойти в пыль. Но гном, словно перышком, махнул ему ладошкой — садись, мол, и тихо прошелестел:

— Здравствуйте... Рассказывайте.

— Что рассказывать?

— Всё.

Это было сказано уже просто еле слышно, но с таким проникновенным значением, что Влад услышал и понял: надо рассказывать именно «всё». Это был даже не рассказ, а первая в его жизни исповедь со всем ее

откровением и горячностью. Там летали его первые птицы над Сокольниками. Там он предавал отца и горько каялся. Там за ним постоянно гнались, а он убегал, убегал, убегал, но так, в конце концов, и не смог убежать. А за всем этим, худой и сгорбленный, стоял его дед Савелий и бессильно смотрел вслед этой погоне.

Когда Влад кончил, то вдруг решил, что поведал не свою, а чью-то дотоле неизвестную ему жизнь, до того длинной и чужой она ему тогда показалась. Жолтовский при этом словно бы и не слушал его. Старый доктор смотрел в запутанное морозным кружевом окно, лишь пергаментная ладошка его чуть заметно подрагивала, оброненная поверх настольного стекла. Но стоило ему кончить, как та же ладошка медленно и утвердительно поднялась и опустилась перед Владом:

— Идите. — Голос его неожиданно окреп и возвысился. — Вы поедете домой. Позовите сюда старшую.

Выйдя от заведующего, старшая сестра, пучеглазая коротышка с серьгами, вдруг радушно засуетилась перед Владом:

— Велел перевести тебя в легкую, сынок. На первую комиссию приказал приготовить. Счастливый ты, в рубашке родился, освободят ведь, я своего хозяина знаю. Только не в себе он сейчас вроде, даже трясется... Ну иди, иди, я тебя мигом устрою.

По тем же коридорам она провела Влада, свернув по дороге в предназначенное теперь для него отделение. Ключом, висевшим у пояса, открыла дверь и прямо с порога крикнула:

— Агнюша, принимай-ка новенького, заведующий приказал. Совсем молоденький!

И тут Влад увидел ее — Агнюшу Кузнецову, первую в своей жизни женщину, горькая память о которой будет жечь уже его всю последующую жизнь. Не была она ни красивой, ни даже сколько-нибудь заметной. На улице мимо такой пройдешь, даже не обратив внимания. В нее надо было взглядеться, чтобы увидеть

в ее затемненных белыми ресницами глазах что-то такое, от чего на душе у человека начиналась долгая и грустная тишина, от которой уже невозможно было избавиться никогда.

— Ну-ну, — только и сказала она, а у Влада замерла душа, — примем. Отчего не принять.

Заправляя ему койку, она спросила:

— Как звать-то?

— Владом.

— Городской, видно?

— Из Москвы.

— Ишь ты! — И оглядела его с головы до ног уже с некоторым интересом. — Давно оттуда?

— С год.

— Из лагеря, аль из тюрьмы?

— Из лагеря. В Шексне отбывал.

— Там у меня родня мужняя живет. Токма уж давно не знаемся, с самого, считай, евоного отъезду... Ну, ложись теперь, отлеживайся до самой комиссии, а там — что доктора скажут. Может, и домой.

Влад лег и сразу словно провалился. Впервые, пожалуй, за долгие годы хождений своих по городам и весям он спал в чистой постели, застеленной для него легкими женскими руками, в тишине почти бесшумной палаты, с надеждой на скорое свое возвращение в Москву. Теперь он верно верил, окончательно. Тихие ангелы кружили над его головой, вызывая из прошлого родные для него голоса.

Мать:

— Куда тебя всегда несет? Посиди ты на одном месте.

Тетка:

— И в кого только ты такой? В нашем роду таких не бывало. Остепенись, парень.

Дед:

— Владик, Владик, помирать мне скоро, разве не жалко тебе старого, неужто не увидимся?

И он кричал, кричал им из своего сна, из своей памяти, из своего сердца:

— Некуда мне больше ходить, всё прошел, только бы мне выйти отсюда, только бы выйти!..

Мечты, мечты, а где же ваша сладость! Ему еще придется поколесить по России, помыкаться, поплакать в свою собственную жилетку, прежде чем он вернется туда, под эти Митьковские липы, но только слишком поздно, даже очень слишком. «Не клонись-ка ты, головушка, от тревог и от обид, мама, белая голубушка, утро новое горит!»

14

Кувшиново! Кувшинчик, кувшин, кувшинка! Слово одновременно округлое и продолговатое, как груша. И звучное, как ритуальный колокол. Вкус зимней ночи на губах. Медленно, словно нехотя, падающий снег за обрешеченным с обеих сторон окном. И тревожные позывные чужих сновидений вокруг. Что им грезится сейчас там, за пределами человеческого разумения? Какие кущи и какая тьма? Действительно: не дай мне Бог сойти с ума! Господи, спаси их души!

За окном падал снег, струился в тиши долго и безобидно. Вглядываясь в темь и в свое отражение в стекле, Влад незаметно для самого себя словно высвободился изнутри, самоуничтожился, прислушиваясь к происходящему как бы со стороны. Ему грезилось, будто больничная палата, наподобие одинокого ковчега, плывет сейчас сквозь ночную бездну с грузом спящего безумия на борту. Плыви, мой чёлн!

Позади шипела и потрескивала голландка. Едва ощутимый запах дыма першил у Влада в горле, щеко-тал ноздри. Тени от пламени слепо шарили по стенам, изменчиво и мгновенно отражаясь в стеклах. Ковчег плыл среди студёных звезд, под короткие всплески стенаний и вздохов, сопровождаемый монотонным говором у печи:

— Двенадцатого умру, это последний срок. — Из своего безтелесного далека Владу представились глубоко запавшие глаза и тяжелый подбородок дезертира Гены Свирина. — Ровно в три часа дня, как раз после обеда. — При его слабости к съедобному, Гена, разумеется, даже в обмен на царствие небесное, не согласился бы умереть до обеда. — Во мне второй человек сидит, он мне всё предсказывает, что со мной будет.

— Смотри, какой везучий. — Снисходительный смешок дежурной сестры Агнюши растекся над сонной тревогой палаты. — Сразу цельных два. Почто же ты тогда сюда попал? Чего ж тебя дружок твой не упредил, что из армии бегать не положено. Вот и попал, сиди теперь...

Голос Агнюши вернул Влада к действительности. Он вдруг почувствовал, как его остро и властно заполняет плоть, приобщился к жаркому току собственной крови, услышал биение своего сердца. Ему почудилось даже, что он осязает ее запах: слабую смесь лежалого сена и стирки. Крутой запах сорокалетней крестьянки, так и не расставшейся с землей и хозяйством. Влад часто просиживал с нею ночи напролет, слушая ее рассказы о молодости, о недолгом замужестве и долгом вдовстве.

— Я молодая — девка была видная. — Слова у нее складывались округло и плотно, словно вынизывая некую, не требующую завершения, но стройную цепь. — За мной не один кудрявый ухлёстывал, много их было, табуном ходили. Только сохла я по плюгавому, по такому захудалому, что и сказать нельзя, один нос да глаза, да еще гармошка с пуговкой. Зато веселый был — страсть! И душа нараспашку, любому пропащему-проходящему рубаху с себя сымет. Свадьбу сыграли — смех один, жених сапоги у дружка занимал. Зато жили душа в душу, песнями хлебали, припевками закусывали, впроголодь да весело. Только и пожировали мы с им годка два всего, подался милёнок мой за длинным-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

то рублем на стройку пятилетки да и сгинул там безо всякого поминания...

— Да... Бывает. — Когда речь заходила о чем-либо, не касающемся его — Гены Свирина — лично, он тут же терял интерес к собеседнику. — Пойду посплю напоследок, на том свете не придется...

Господи, как он долго и нудно шлепал в свой угол за печью, как шумно ворочался, укладываясь, прежде чем Влад услышал у своего плеча ровное дыхание Агнюши:

— Почто не спишь-то? — Она тесно приникла к нему сзади, легонько прикусив ему кожу между лопаток. — Тошнехонько?

— Зима у вас здесь какая снежная. — Сердце в нем холодело и плавилось. — Снег совсем не кончается. Кажется, будто всё засыпает.

Она прижималась всё сильнее и откровеннее:

— Всё не засыпет... Маненько останется... Чего дрожишь-то, ай с бабой николи не был?

— Был... Давно только... И не так совсем.

Она мягко, но властно взяла его за руку и повлекла за собой к двери и затем дальше, через кафельный коридор, в смутную полутьму ванной комнаты. Он безвольно тянулся за ней, пьяно пошатываясь и почти беззвучно шепча:

— Куда ты, Агнюша?.. Зачем?.. Дежурный врач всё время ходит... Плохо будет...

Та лишь тихонько и самозабвенно посмеивалась в ответ и всё тянула его за собой, всё тянула.

О эта ванная комната буйного отделения Вологодской психушки! Он помнит и теперь еще облезлый зеленый колер ее стен, щербатый кафель ее пола и даже ржавые подтёки на вытертых до чугуна ваннах. Каждую ночь ее дежурства, едва последний бедалага забывался в своем химерном сновидении, они, взявшись за руки, шли туда, в жалкую молельню своей любви, и бредовый стон чужого безумства сопровождал их в

этом пути.

Там на лавке, служившей и раздевалкой и плахой для экзекуций, их сливало воедино до первых петухов, и ничего не было вокруг них, только запах и молчание, только яростное противоборство и шёпот:

— Тише, тише, сумасшедший...

— Я и есть сумасшедший...

— Полюбилась так?

— Еще как!..

— И впрямь сумасшедший...

Утро, день, вечер проходили для Влада как в тумане до следующего ее дежурства, до следующей ночи. Много их, запойных и опустошающих, прогудело сквозь него, отложившись в нем тихой и ясной к ней благодарностью.

Тогда-то он и решил вернуться сюда, вернуться, чего бы ему это ни стоило. Самые радужные картины этого возвращения рисовались ему в его воображении. И не просто пешком, а непременно на белом коне и с крестами от груди до груди. Первым парнем по деревне, вся рубаха в петухах. Расступись, грязь, дерьмо плывет, чтоб гордилась Агнюша и все завидовали ей.

Душу бы я твою мотал, Влад Алексеич, свет Самсонов! Двадцать лет куролесил ты по городам и весям своей родимой, двадцать лет пьянствовал и куражился по разным кабакам от Краснодара до Питера, двадцать лет первогильдейно благодетельствовал блядам чуть не всей одной шестой, чтобы однажды, в горячечном угаре, заявиться в Кувшиново московской пьяню в закупленном на корню такси и вылакать на ее, Агнюшиной, могиле три бутылки портвейна по рупь сорок семь с подвернувшимся под руку психом из obsługi.

Нет этому ни слова, ни прощения, Влад Алексеевич, верный отпрыск Михеевской породы!

Господи, не оставь души рабы твоей верной Агнюши, дочери Кузнецовой!..

Вологда тронулась внезапно и дружно. Льды величаво скользили по матово затуманенной поверхности реки, вода очищалась быстро, и не сегодня-завтра должен был начаться лесосплав. После комиссии, которая освободила Влада вчистую, он отбывал принудление, и его обещали с наступлением сплава вывести на работу. Влад ждал этого дня с нетерпением, и когда, наконец, однажды утром Агнюша с торжествующим видом сложила к его койке кое-какую рабочую одежку, он чуть не заплакал от радости: — Разрешили!

— Давай, давай, собирайся, — она грубовато тормошила его, а сама тоже вся светилась довольством, — работяга!

Влад вышел, зажмурился и задохнулся. Яростная весна, подспудно гудя, сдирала с Кувшинова сонную одурь зимы, и само село словно бы плавилось в ее ослепительном веселом свете. Всё вокруг взрывалось и рушилось, словно где-то под ожившей землей неслышно раскачивались огромные корни. Вся живность будто обезумела: куры, собаки, галки кружились по селу и над ним, пьяным своим хороводом напоминая какой-то немислимый карнавал. Звенят ручьи, поют ручьи. Весна, весна, весна.

Запань у переправы уже была полна до краев лоснящейся от воды древесиной. С крутоярья она походила на огромный невод, в котором, сопя и беснуясь, бился в бессильной борьбе необъятный рыбий косяк. Спускаясь к берегу, Влад предвкушал азарт схватки с ней, этой сплавной громадой, и заранее радовался своей победе в предстоящем единоборстве. Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней!

Какая это была работа! Стоя цепочкой по колено в воде, они баграми вытягивали бревна на берег, а подсобники складывали их там влажными, блистающими на солнце штабелями. Агнюша, как более опытная, сто-

яла впереди Влада, влажное от водяных брызг лицо ее пламенело, и, оборачиваясь к нему время от времени, она вызывающе, но добро усмехалась:

— Ну как, работничек, в коленках не больно?

— Подумаешь!

— Неужто нравится?

— Ага.

— Насиделся в заперти, вот тебе и в охотку!

— Тебе что, завидно?

— Скажешь тоже!.. А ну не отставай!

— За мной дело не станет.

— Посмотрим!..

Так и перешучивались они, передавая друг другу свою добычу, и над ними плыло и плавилось весеннее небо, и даль впереди текла и плавилась всё густеющим маревом. Работа, работа, работа!

Влад никогда не думал, что вестником его свободы станет дядя Вася — звероподобный санитар из приемного покоя. Но он, этот грешный ангел, уже спускался с горы, как и полагается ангелам — весь в белом, и трубил на ходу пропитым басом:

— Самсонова к профессору!.. К профессору Самсонова!

Первым желанием Влада было кинуться туда, ему навстречу, но он внезапно обернулся, и душа в нем замерла в затажном падении: бессильно опустив руки, Агнюша стояла по колено в воде, без кровинки в лице, и в глазах ее уже не проглядывалось ни неба, ни света. Потом она жалко улыбнулась ему: иди, мол, и он пошел, но пошел, сознавая, что позади оставляет сейчас куда больше, чем ждет его там, наверху.

Дядя Вася грузно сопел у него за спиной, порой даже, впрочем, не без дружелюбия, подталкивая его сзади:

— Дуракам счастье, я вон сколько живу, а хучь бы разок повезло, одни пни да колдобины. Жолтовский этот жалеет вашего брата, а за что, в толк не возьму.

Взял бы и пожалел хорошего человека, перевел меня в фершала...

В кабинетике Жолтовского Влада ожидал в прифранченной по-весеннему форме майор Варва.

— Ну вот, привез тебе справку об освобождении, — встретил он его еще с порога. — И паек до Москвы тоже не забыл... Рад?

Не получая ответа, он заметно почувствовал себя не в своей тарелке и, чтобы скрыть обиду, стал поспешно вынимать из небольшого чемодана и складывать Жолтовскому на стол положенный освобожденному на дорогу харч: буханку черного хлеба, пятьдесят граммов сахару, пачку маргарина и семьдесят рублей денег на билет до места в жестком бесплацкартном, муromo приговаривая при этом:

— Дождешься от вас благодарности, держи карман шире, мы для вас звери, вы — люди. Как будто мы вас в лагерь зовем, сами идете... На-ка вот распишись... И за паёк, и за справку об освобождении. — И уже обращаясь к хозяину: — Как будто всё, коллега, что положено по инструкции. Паспорт, согласно справке, можете выправить ему на месте или пускай выправляет сам в Москве. — Замкнув чемодан, Варва поднялся и поспешил откланяться. — Здравия желаю!

Когда его тяжелая палка затихла в коридоре, Влад впервые обрел дар речи:

— Спасибо, Абрам Рувимыч... Я вас никогда не забуду, что вы для меня сделали... Ей-Богу, не вру...

Тот молча поднялся из-за стола, бесполой тенью обошел его, опустился рядом с ним на диван и положил ему свою бесплотную ладошку на плечо:

— Благодарить меня вам не за что, Владик, я, как это говорится, только исполнил свой врачебный долг. К тому же вы оказались достойным лечения пациентом и помогли мне в этом. Но я хотел бы кое в чем предостеречь вас. — Казалось, он разговаривает не с ним, а скорее с самим собой. — Не доверяйте первым

эмоциям, они чаще всего бывают ошибочными... Простите меня, но вы только что обидели этого, поверьте мне, далеко не самого дурного человека. Он ведь искренне радовался за вас. Но ведь и дурных обижать тоже совсем не обязательно. Как это ни прискорбно, они не становятся от этого лучше, скорее наоборот. И начинают вымещать свою обиду еще на ком-то. Получается, простите меня, замкнутый круг. Облегчение злостью, Владик, опасное облегчение. Злость разрушает человека, и тогда он становится моим пациентом. У меня до сих пор лежит человек, который когда-то очень давно убил моего отца во время погрома. Видите, я доверяю вам и делюсь с вами профессиональной тайной. Что бы с ним стало, если бы я вздумал ему мстить? Я лечу его, Владик, и, поверьте мне, старику, постоянно радуюсь каждому его просветлению. — Слабым движением он повернул Влада к себе, и глаза их сошлись близко-близко. — Я говорю вам это, Владик, неспроста. Я верю, что вам дано больше, чем другим. И в любви, и в ненависти. Если вы начнете ненавидеть, она поработит вас целиком. Но любя вы сумеете сделать многое. Вы редкий экземпляр человека, я много жду от вас. Вам неизмеримо много дано, но именно поэтому и неизмеримо больше спросится. Постарайтесь стать достойным самого себя. — Жолтовский отвернулся. — Я, кажется, заговорился, а вам пора собираться. Я распорядился, вам выпишут на дорогу и от нас. И соберут немного со склада... А это вот, — из кармана его халата выпорхнула аккуратная пачка мелких кредиток, — от меня в долг. Здесь ровно сто рублей. Отдадите, когда заработаете.

— Зачем, Абрам Рувимыч?

— Вы начинаете новую жизнь, Владик, а всякая новая жизнь, поверьте мне на слово, стоит денег.

— Если только...

— Берите ж!..

Нет, Абрам Рувимыч, нет, он не отдал вам ни этих

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

денег, ни тепла, которым вы его одарили. Он гонялся по стране за длинным рублем, гулял и пьянствовал, мстил обидчикам и злобился сверх всякой меры на всё, чем обделяла его жизнь: на женщин, на деньги, на славу, а когда наступила расплата, попытался покаяться, вот и вся ему цена на сегодняшний день, если таковая вообще нужна вам для последнего отчета. Суди меня, моя земля!

Она ждала его на выходе из главного корпуса, и они пошли к ней по селу, уже не скрываясь, и гордая стать ее при этом лишь матерела от косых и насмешливых взглядов из окон и калиток.

Дома Агнюша вычистила и отгладила его неказистую лагерную одежку, напекла рыбников на дорогу, сварила обед, поставила бутылку на стол, налила до краев по стакану, а когда они сели, первая подняла свой:

— Не поминай лихом, Владик!

Слезы душили его, когда он пил, когда ел, когда лежал с ней после этого в ее постели. И с этими так и не выплаканными слезами двигался с ней через всё село к переправе, стоял с ней в обнимку на пароме, провожая затуманенным взглядом бурлящую лесом запань, а затем, всё так же в обнимку, шел по дороге на вокзал.

Солнце изливалось над полем, сквозь которое несла их беда расставания. Даль за городом источалась голубым маревом. Река справа от них матово блистала, издавая молодой запах леса и водорослей. Жуки и вороны трудолюбиво и важно копошились в весеннем распаде. Мир всё так же торжествовал свое новое возрождение. Но что-то теперь изменилось в нем, а вернее — в них, и никакая сила уже не могла вернуть ему — этому миру — его прежней устойчивости и великолепия, его безбрежия и света. Да и что он без нас, этот самый мир, какой в нем смысл, какое предназначение?..

Агнюша! Я пишу тебе это первое и последнее свое письмо. Может быть, из моего теперь уже двадцатипятилетнего далека наша встреча видится мне куда идилличнее, чем была она на самом деле. Может быть. Время украшает прошлое. Но тогда почему, почему же сердце мое падает, падает, падает, когда я думаю о тебе, только о тебе? Их было много потом, не тебе же перечислять сейчас их стати и достоинства, но ни одна, ты слышишь, ни одна своей тенью не закрыла от меня ни единой твоей черточки, ни единого движения. Что бы я мог сказать тебе еще на прощанье, с чем приникнуть к твоему слуху? Я благодарен тебе, Агнюша, благодарен за то, о чем ты и не подозреваешь. За доверие к женщине. Сколько бы я ни был обманут, я не перестану ей верить. И это — благодаря тебе. За чистоту твою, которой ты со мной поделилась. И сколько бы я ни падал, она не иссякнет во мне никогда. И это — благодаря тебе, Агнюша. За силу, взятую от тебя же! И какие бы поражения я ни терпел, я поднимаюсь снова. И это — благодаря тебе, Агнюша! А теперь прости и прощай.

Прощай, прощай, прощай!

16

Израиль! Израиль! Ночь за окном была всё так же снежна и кромешна, но что-то неуловимое уже обозначило робкое зарождение утра, где-то там, за пределом тьмы и метели. Теперь каждая минута неумолимо приближала Влада к предстоящему прощанию, которое навсегда разделит его с теми, кого он считал последней своей родней. Чем-то этот отъезд походил на общую их для него смерть. Невозможностью возврата, наверное. Да, да, именно поэтому! Оттого, что они все-таки где-то будут существовать, утрата казалась еще нестерпимей. «Быстрее бы уж, что ли!»

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

Словно снисходя к его горечи, по ту сторону едва прикрытой двери заварилась шелестная возня:

- Сколько уже?
- Почти пять.
- Пора поднимать ребят.
- Пусть поспят, до шести успеем, соберем.
- Ничего не забыла?
- Кажется, нет.
- Он спит?
- Посмотрю...

Резким силуэтом тетка возникла на пороге, с усилием потянувшись к нему, села в ноги, потерянно обронила:

- Пора.
- Сейчас встану.

— Лежи, еще ребят поднимать будем... Ты бы здесь, Владим, поберег себя. Поменьше пить тебе надо, кто ж теперь выносить за тобой будет, кругом чужие. Я ведь только из-за ребят, а то бы куда я отсюда сдвинулась на старости лет. Как-нибудь вдвоем бы и дожили...

Тетка еще чего-то говорила и говорила, глотая слезы и от этого заикаясь, но он-то видел, знал, что говорит она всё это не ему, а себе и чему-то еще внутри себя. Ей словно бы необходимо было утопить в словах жгучую муку, источавшую ей душу. В таких случаях слушателю следовало молчать. И Влад молчал, давая тетке выговориться до конца. Это был единственный способ облегчить ей последние минуты перед неизбежным. Для него ее уже здесь не существовало, с ним оставалась только их минувшая жизнь: разлуки и встречи, ссоры и примирения, долгое молчание и редкие разговоры, а за всем этим такая бездна пронзительных мелочей, достойных памяти, что, казалось, нахлынь они сейчас все разом, сердце не выдержит, разорвется от боли и тягостного томления.

Она, наконец, замолчала, поднялась и слепо про-

вела рукой по лицу Влада, как бы запечатлевая его для себя в этом своем легком и безмолвном движении.

Всё последующее — лихорадочные сборы, путь в такси до Шереметьевского аэродрома, суэта проводов и даже самый их отлет — осталось в его памяти лишь необходимым, но бессмысленным продолжением к этому ее последнему прикосновению.

Израиль, Израиль! Где-то там, за семью горизонтами, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве ходит сейчас по Святому краю мой племянник Лёшка Брейтбарт, он же Самсонов, и чуточку, ну самую малость еще и Михеев. Молю тебя об одном, милый, где бы ты ни был, куда бы ни забросила тебя судьба, не забывай свою землю, она солена от нашей крови и наших слез!..

17

В тот год ему стукнуло восемнадцать. Юность осталась позади, а будущее терялось в тумане, сквозь который ему предстояло еще идти и идти, чтобы увидеть, наконец, хоть какую-то перспективу. Но он верил в свою звезду. Он верил, что, вытаскивая его за волосы, из безвыходных, казалось бы, житейских переплетов, судьба готовила его для какого-то главного и, в конечном счете, решающего испытания. И Влад исподволь, почти бессознательно готовил себя к этому.

Однажды, сброшенный пьяными проводниками с поезда, он отлеживался в кассовом предбаннике крохотного полустанка, где-то между Курганом и Петропавловском, намереваясь после первого облегчения двинуться дальше. Но день шел за днем, а боль не оставляла его, малейшее усилие давалось ему с трудом, перспектива загнуться с каждым часом становилась всё реальнее. Редкие пассажиры входили и выходили, не обращая внимания на скорчившегося под единственной лавкой бродяжку. Когда же подростковый орга-

ПРОЩАНИЕ ИЗ НИОТКУДА

низм взял свое и Владу стало немного легче, его одолел голод. При одном воспоминании о еде голова парня жарко и тошнотворно кружилась. Еда грезилась ему во всех ракурсах и видах. Еда преследовала Владу во сне и наяву, изматывая его своей победной навязчивостью. Хлеба! Хлеба! Хлеба!

И наконец он не выдержал, выполз из своего убежища в поисках хоть какой-то пищи. Выполз, огляделся и затих в немом созерцании чуда. Прямо перед ним, в совершенно безлюдной зальце, около бачка с водой, стоял бумажный, наподобие цементных, пакет, в котором — он в это поверил сразу — была еда, много еды.

Еще не веря своему счастью, Влад заглянул в него и облегченно заплакал: несколько кругов конской колбасы и буханка хлеба были более чем достаточным к тому основанием. Но он мог бы поклясться всем святым в его жизни, что с самого утра в помещение никто не входил, ни одна живая душа, а на ночь кассирша запирала входную дверь на замок. Чем я отплачу Ему за эту великую милость?

У тебя всё впереди, мой друг, всё впереди, только ты не забудь об этом, не забудь!

Не забуду!

Посмотрим.

(Продолжение следует)

Из цикла “Рогожа”

Марине Цветаевой

День Иоанна Богослова.
А на террасе поздний гость
Под диким виноградным кровом
Пил чай с её сестрой суровой
И уходил, оставив трость,
И приходил прощаться снова...
День Иоанна Богослова.
И та стена, тот чёрный гвоздь,
Тот круг скольженья рокового,
И вся земная власть и злость
К преображению готовы.
И полночь, полная, как горсть,
Избыток звёздного улова
На землю высыпала... Кость
Подносит гостю пёс дворовый...
День Иоанна Богослова.
Светлей, чем взгляд,
острей, чем слово —
Горит рябиновая гроздь.

**
*

Метёт, метёт декабрьская тьма...
Таких ветров земля еще не знала.
Гуляет ночь, срывая одеяла
И выдувая спящие дома.

Прервалась лет связующая нить,
И выстужены вздыбленные стены,
И голову мне негде приклонить,
И негде преклонить колена...

А где вчера светились купола —
Там ныне брань, и страх, и смрад барачный,
И двор ничей, заплёванный и мрачный,
И жизнь ничья — была как не была...

И нет неправдам счёта и числа,
И тот же гик, и свист, и пляс у гроба
Всего, что, метя золотою пробой,
Россия в искупленье отдала.

**
*

Не обелить мне этих дней
Ни малодушием покорным,
Ни этим страхом, страхом чёрным —
Изнанкой памяти моей.

А может быть, всё это сон?
Усталых душ воображенье?
Минутной ряби отраженье
В бесстрастном зеркале времен?..

Москва, 1969 — 1973.

РЕКВИЕМ О ВИОЛЕТТЕ

I

Блится луч в ночи
без времени посланник
но тишину нарушит
прозрачный лед лелеет сохранит
погибший стебель
без времени
но тишину нарушит
плач
сиянье звезд чарует равнодушьем
готовя взрыв падение
но плач
полет звезды достоин любованья
и холод сладок
и дыхание
но плач
тоска созрела
порывист ветер словно ты жива
бессилит крови цвет
рассказан смысл над бездною
но плач
забудем то что было и что будет
ни шёпота
ни слова
и ни крика
тоска созрела
цветок вдруг потерявший лепестки
печалит

Поэма получена из России. См. стихи того же автора в «Гранях» № 82. — Ред.

но человек ушедший на рассвете
восхода не увидевший
тоска созрела
огонь подстерегает крылья
его предназначение
тоска
созрела
нет лекаря и нечем защититься
звезды блещут
сверкает луч и космос неживой
приемлет
тебя
как встарь как многих
безутешно
встает рассвет
и ветер шелестит
Земля проснулась
и тоска созрела

но плач

II

померкло око мира больше нет
растаял дым и воцарилось тленье
но чары лжи но призрачный рассвет
обманут предадут заглушат пенье

живой души вместилище теперь
униженно и пусто воском стало
душа притихла распахнулась дверь
и обагрится свет а сталь мерцала

пришедшей гибели темнеет чуждый лик
и смерти нет но тягостны приметы
недоумение неуловимый миг
застыли пальцы умерли предметы

тебе там одиноко?
 пустота
 цветок призвала иль иная сила
 бессильна перед смертью красота
 предполагали мы судьба расположила

несущий крест под ним заснет в земле
 в лучах зари над пропастью повисли
 смотрю до боли — не горит во мгле
 звезда — чернеют кровь и мысли

III

и ветер груб
 для мертвых губ
 несущий крест
 взгляни окрест

он мертв и глух
 безмолвен дух
 и смерть близка
 близка тоска

остылый прах
 посеял страх
 земля взрастит
 и отомстит

всё сплетено
 обагрено
 и всё как дым
 своим чужим

прорвется ложь
 когда умрешь
 уныло мир
 продолжит пир

окончен плен
 явился тлен
 душа молчит
 по небу мчит

IV

там ласково
 душе твоей
 но почему
 ты
 мы мертвые и мертвыми родились
 но почему
 ты

по вымершей стране мы погуляем
недолго
без тебя
но почему
ты
мертвей других?
и грубый слух
не слышит шёпот душ
и души не отбрасывают тени
не будет знака близко ль далеко
остановилась ты
на вечный отдых
не будет знака
там хорошо твоей душе иль нет
мы гости и уходим
в одиночку
твой отдых далеко
и долог путь душе
и ты
поторопилась
в одиночку
не будет
знака.

Александр Петров-Агатов

**
*

Так проходит за годом год.
От выходного до выходного.
День отдышусь, а наутро снова
В ярмо впрягаюсь. Скотина. Скот.
С одной только разницей:

человеком

Считаюсь по переписи людской.
В безумной упряжке двадцатого века
Куда мы несемся вниз головой?..

**
*

На Мордовской земле,
Где березы шумят, —
Кровь и кости сынов Украины.
Здесь Прибалтика спит.
И как звезды горят
Души павших Российской Дружины.
Если б не было их,
Не дожить бы тебе.
Не собрать урожая обильных.
Помолись, помолись
За погибших в борьбе.
За всех мертвых, гонимых и ссыльных.

См. данные об А. Петрове-Агатове и его стихи в «Г р а н я х» № 80, его очерки «Арестантские встречи» — в «Г р а н я х» № № 82, 83 и 84. В настоящее время автор находится во Владимирской тюрьме, куда был переведен из Мордовских лагерей в октябре 1970 г. Последние сведения о нем: участвовал в голодовке заключенных этой тюрьмы в декабре того же года («Посев. Спец. выпуск» 8/1971, стр. 43). — Р е д.

ПАМЯТИ ПЕТЕФИ

Дни опрокинулись. (Роком проклятым,
Вязким узлом в горле ком).
Как когда-то, в сорок девятом,
Так и вчера, в пятьдесят шестом.

Ветер пыль с большаков взвывает.
Громче криков, молитв, хул
И трепещет и нарастает
Белы Бартока клокот и гул.

Безумное небо рдяным пожаром
Над Будапештом взметенным горит.
Руку простерши, буйным мадьярам
Шандор Петефи говорит.

1972.

«Памяти Петефи» — последнее стихотворение, присланное А. Н. Неймироком в нашу редакцию незадолго до его смерти. Он скончался от инфаркта сердца 7 октября 1973 г. в Мюнхене, на шестьдесят третьем году жизни. Александр Николаевич Неймирок — автор двух поэтических сборников «Стихи» (1946) и «День за днем» (1953), книги воспоминаний «Дороги и встречи» (1947) и многих литературных и публицистических статей в «Гранях», «Посеве», «Новом журнале», «Русской мысли» и др. органах печати. Его литературные псевдонимы — А. Немиров и А. Николин. А. Н. Неймирок был одним из самых долголетних наших авторов и членом редакционной коллегии нашего журнала. — Р е д.

Рейс 265

25 июля 1966 г. Тбилиси

Сейчас происходит чемпионат мира по футболу. Грузины — страстные болельщики, и вечером, когда по телевидению транслируют футбольные матчи, город кажется вымершим. Почти не ходят автобусы, на улицах — ни живой души.

...Я шел по старому городу, когда меня догнал высокий, полный мужчина. Он очень спешил, но, поравнявшись со мной, остановился и спросил:

— Ты что, нэ знаишь, что сегодна футбол?

— Знаю, — ответил я.

— Так пачему нэ смотриш тэлэвизор? — продолжал он таким тоном, словно обвинял меня в преступлении.

— Негде, — попытался я выкрутиться.

— Ты прыэзжий?

Я утвердительно кивнул головой.

— Тагда идом ка мнэ.

Так я попал в дом к Илико Г-нидзе. За столом, уставленным винами и всевозможными закусками, сидела семья Илико и, как я позже узнал, его многочисленные родственники. С минуты на минуту должен был начаться матч Португалия — Корея.

— Это мой гост, — представил меня Илико. — Прашу лубит и жаловат.

Отрывки из книги. Продолжение. См. начало в «Гр а н я х» № 87-88. — Р е д.

— Садыс к сталу, дарагой, — сказала жена Илико. — Выпивай грузынский выно.

Мне налили большой стакан красного вина. Я выпил. Вино было чудесное, такого мне еще пить не приходилось.

— Хороший выно? — спросил Илико.

— Очень, — ответил я.

Илико взял бутылку и показал на этикетку.

— «Кинзмараури», лубымое выно Сосо.

— Кого? — не понял я.

— Сосо, — обиженно повторил Илико и добавил: — Иосифа Виссарионовича Сталина.

В это время начался матч. Как описать всё то, что творилось в доме Илико? Говорят, что иеговисты на своих собраниях доходят до фанатизма. Не знаю, я при этом не присутствовал. Но что такое фанатизм иеговистов по сравнению с футбольной страстью грузин? Помоему, это ничто.

Телевизор включен на полную мощность, рёв Уэмбли сливается с криком Илико и его родственников. Выкатываясь за окно, этот крик сливается с истошным воплем, стоящим во всем Тбилиси. Поглощаются литры вина, килограммы жареных кур, а семья Илико требует еще. Нет, не еды. Гола. Они требуют гола у корейской команды. И когда корейцы ведут в счете, возлияние достигает кульминации. Илико принес большой рог, и все поочередно пьют из него. Пью и я, проливая вино на себя. Из такой посуды мне еще пить не приходилось.

— Прывыкай, дарагой, — похлопывает меня Илико по плечу.

В перерыве все выходят на улицу, поют, пьют вино и угощают вином соседей. Вспыхивают ссоры при обсуждении острых моментов. Спорят по-русски, спорят по-грузински.

«Какой мат стоял бы сейчас где-нибудь в Москве или Киеве при таком споре, подумал я. А грузин-

ны только машут руками, брызжут слюной, но не ругаются. Может, в Закавказье, действительно, мат не употребляют?»

Матч окончен. Корейцы проиграли со счетом 5 : 3. Илико очень переживает.

— Панымаиш, я там был, в Карэе, — говорит он. — Завод мы им строыл. Тагда Сосо им очен памагал. У мэне в Карэе многа хороший друза. Вах-вах, так хотэл, чтобы аны выигрывалы. У-у, португалцы праклатый, каланызатор, импэралист! — кричит Илико и грозит кулаком телевизору.

Понемногу страсти улеглись. Стол накрывается заново. Снова вино, мясо, неизменные салаты из огурцов, помидоров и петрушки. Всё очень острое. За столом сидят одни мужчины.

Хотя давно уже прошли времена, когда женщины не смели сидеть за одним столом с мужчинами, но этой традиции в Грузии не нарушают и сейчас. После выпитого все разом заговорили, большей частью по-грузински. Мне уже становилось скучно в этой компании, забывшей о «дорогом» госте, который не понимал их языка, когда Илико спросил вдруг:

— Как атносятся к Сосо в Лытве?

— По-разному, — ответил я. — Некоторым он уже безразличен, а большинство откровенно проклинает его и до сих пор.

— Да-а, загубылы Сосо, — сказал Илико, пьяно замотав головой.

Я не спорил с ним. Сказать грузину, что Сталин, мягко выражаясь, был не очень хорошим человеком, значит навсегда стать его кровным врагом.

Но не все грузины, оказывается, боготворят своего печально известного земляка. В этом я смог убедиться после своей встречи с дядюшкой Георгием. Но прежде следует рассказать о вчерашнем происшествии на турбазе.

...Двое из моих соседей по комнате как всегда ве-

чером сидели под пальмой во дворе турбазы и играли в шахматы. Один из них — Василий Сергеевич, инженер из Ставрополя. В Тбилиси он командирован «толкачом», пробивает заказ на каком-то заводе. Ему лет пятьдесят, пожалуй, столько же и Павлу Борисовичу, его противнику за шахматной доской. Павел Борисович — из Тулы, в Тбилиси он приехал отдыхать. По вечерам, закупив бутылок десять пива, они садятся играть в шахматы. Остальные постояльцы турбазы обступают их плотным кольцом и наблюдают за игрой. Кончают они играть поздно вечером, но вчера шахматный турнир закончился раньше обычного.

... — А я тебе говорю, что Сталин говно, — услышал я голос Василия Сергеевича. — Раз он смог всех лучших деятелей партии уничтожить и невинных людей в Сибирь ссылать, то говно он последнее.

— Не, Василий Сергеевич, ты так не говори, — возразил Павел Борисович. — А как бы мы, к примеру, войну с немцами без Сталина выиграли бы, а?

— Выиграли бы, не стушевались. Не было еще такого, чтобы русский народ войну проигрывал. Обошлись бы и без грузина.

— Грузин грузином, а человек он нужный, и даже я тебе скажу — талантливый он, Сталин, был. Ведь железная рука нужна была, чтобы такой страной, как Россия, управлять. Смотри, колхозы он придумал — раз, крестьянин в этом деле только выиграл. И главное-командующий Сталин был, каких немного сыщешь.

— Говно он, Сталин твой! — закричал Василий Сергеевич. — А что он нашего брата по лагерям держал опосля войны, этого ты знать не хочешь? Ты, Павел Борисович, глубже гляди. Народ войну выиграл, а он, Сталин твой хваленый, народ этот самый и за решётку. Вот мой кум, к примеру. С фронта вернулся, грудь орденами увешана, а через полгода после победы его в Воркуту сослали. За что, а? Не знаешь? А я вот знаю. Кум мой, Виктором его кличут, как-то на заводе,

где он работал, сказал, что американский «виллис» лучше нашего «газика» будет, на фронте он в этом убедился. Его, значит, и в ссылку, по 58-й в два счета оформили. А ты, Павел Борисович, Ста-алин, — протянул Василий Сергеевич. — Сам ведь воевал, знаешь, наверное, что такое «газик», а что — «виллис». На «виллисе» и по болоту проедешь и по камням, а «газик» ни хрена не тянет. Так что? Неправду кум мой сказал?

— Ну, были перегибы, не без этого. Но и ты же, Василий Сергеевич, когда в атаку шел, кричал небось: «За родину, за Сталина!» А теперь и ты туда же, говном его зовешь. Нет, браток, так нельзя, — укоризненно сказал Павел Борисович.

Василий Сергеевич отодвинул шахматную доску и поднялся. Глаза налились кровью, руки его тряслись, всего его била нервная дрожь.

— Нельзя, говоришь?! — закричал он. — Можно! Можно, я тебе говорю! Сталин, елки твою палки мать, на русской крови хлеб растил и черномазым да желтожопым его раздаривал. Сам грузин, что ему до русского человека? Мы кровь проливали, а он нас голодом морил да по ссылкам держал. Всё грузинам своим потакал, а русским потом и кровью хотел себе славу добыть. Мы...

Договорить Василий Сергеевич не успел. Дежурный по турбазе, тот самый парень, которому я дал пятачку, подбежал к нему и, размахнувшись, ударил по лицу.

— Нехристь! — закричала на дежурного женщина, стоящая поодаль, — ты как на старшего руку поднял?

Поднявшись, Василий Сергеевич ударил дежурного в подбородок и тут же снова упал от сильного удара в лицо. Дежурного схватили выбежавшие на шум работники турбазы.

— Сейчас же ехай, а то до завтра жит нэ будыш!..

— кричал он Василию Сергеевичу.

Умываясь над фонтанчиком, Василий Сергеевич отвечал ему:

— Гуляй, образина недоношенная. Кончились ваши времена, про Сталина своего забудь. Вó, — показал он ему кукиш, — всё! Теперича русские Россией правят.

— Зато и с голод дохнут, — отвечал дежурный через окно.

Долго бы ругались они еще, но Павел Борисович увел Василия Сергеевича в город. Отдыхающие только сочувственно глядели ему вслед и шептались между собой, кто из них прав.

Это было вчера вечером. Сегодня утром, когда я встал, ко мне подошла уборщица турбазы. Как и все старые грузинки, она одета в черное платье, голова повязана черным платком и по-русски она ничего не понимает. Показав на мою майку, она дала мне понять, что хочет ее постирать. Я отдал ей майку и, надев рубашку, пошел в город.

Под вечер, когда я вернулся, майка, свежевывстиранная и поглаженная, уже лежала на моей кровати. Найдя старушку, я достал деньги, чтобы рассчитаться с ней. Но она покачала головой и показала, чтобы я шел за ней.

Живет она рядом с турбазой, в соседнем доме. Посреди дворика на мангале жарился шашлык.

— Захады, сынок, гост будыш, — пригласил меня старик, сидящий у мангала.

Старушка ему что-то сказала, и, внимательно выслушав ее, старик насупился.

— Зачэм, сынок, старый женщина абыжаиш? — сказал он. — Зачэм денги ей давал?

— Она мне майку постирала, — объяснил я.

— Нэхорошо, сынок, нэхорошо, — закачал старик головой. — Ана тэбэ как сын родной угодыт хатэл, а какой мат берет у сын денги? У нэе такой молодой, как

ты сейчас, на вайнэ погибал. Нэ убытый, нэ живой, а нэт его. Пропал бэз вэсти — написали ей.

Теперь я понял, почему обиделась старая грузинка.

— Э-э, и шашлык готов, — сказал старик, снимая с огня короткий шампур. — Вазмы, кушай грузынский шашлык.

Налив мне вина в большую кружку и себе в маленький стакан, он сказал:

— За тэбя, молодой дарагой гост.

Допоздна я пробыл у них в гостях. Старика, что угостил меня шашлыком, зовут дядюшка Георгий, он брат старой грузинки. Жена у него умерла, сын живет в Рустави, а он с сестрой — здесь, в Тбилиси.

— Что скажыш, что думаиш, когда молодой старый бьет? — спросил он меня, когда разговор зашел о вчерашней драке на турбазе. — Оба харошый, — не дал он мне ответить. — Адын Сталин, а этот бандыт ругает и заодын всэх грузыны. А другой русский нэнавидыт, думаит, аны все камуныст. Как разбырат, кто прав, кто выноват. Бог только знает, — сказал дядюшка Георгий, подняв руки к небу.

Небо всё усеяно звездами. Так много звезд я вижу впервые. Наверное, это только на юге.

27 июля 1966 г. Кутаиси

В Кутаиси я приехал ранним утром. Солнце только вставало, до полуденного зноя было еще далеко, и, слегка поеживаясь от утренней прохлады, я направился на поиски общежития. Рассказывать об этом не буду, скажу только, что единственное место, куда меня согласились принять, это в общежитие сельскохозяйственного техникума.

Комендант привел меня в комнату на втором этаже.

— Захады, толка тыха, — сказал он. — Спят еще мой студэнт.

На койках, сбросив с себя одеяла, спят двое парней. Время еще раннее, и, помывшись в душе да позавтракав, я вернулся в комнату. Ребята уже встали и, сидя на кроватях, пили крепко заваренный чай.

— Доброе утро, — поздоровался я. — Меня к вам поселили.

Молчание. Ребята недоуменно смотрят друг на друга.

— Вы не понимаете по-русски? — спросил я их.

— Зачѐм? Мы в Грузия живем, — сказал один. — Сколка жит будыш?

— В общежитии или вообще? — спросил я с улыбкой.

— Вабче в абчежытый.

— Вообще в общежитии я дня три, наверное, буду.

— Будыш в техныкум учыца? — заговорил наконец второй.

— Нет, я проездом.

— Аткуда будыш?

— Из Вильнюса.

— Гдэ эта? — спросил первый.

— В Литве, — ответил я.

— Заграныца? — уставились на меня оба.

— Нет, это в СССР.

— Это на сэвэр, да?

— Приблизительно.

— Омари, — назвал себя первый.

— Серго, — представился второй.

Допив чай, Омари и Серго оделись и, пригладив пятерней взъерошенные волосы, собрались в город.

— Пашлы, кацо. Будым показыват тэбэ Кутаиси. Ачараватэлный город.

Очаровательный город — невелик. Улицы круто поднимаются в гору, по мостовой бредут ишаки, навьюченные поклажей, проносятся редкие автомашины и тянутся подводы, гружёные фруктами и овощами.

Среди старых одноэтажных домиков высятся и новые, многоэтажные.

К полудню город становится похож на большой базар: кричат торговцы, суетятся покупатели, толпятся просто зеваки, коим нечего делать. Цеха — такие же, как в Ереване и Тбилиси. Стучат молотками сапожники, скрипят ножами закройщики, визжат маленькие станки, на которых вытачивают корпуса авторучек.

Почти до вечера ходили мы по городу. Вернувшись в общежитие, мои соседи по комнате сбегали за вином, и допоздна мы сидели и пили. Омари и Серго рассказывали о себе. Они из одного колхоза, в этом году кончили школу, и сельсовет направил их в техникум.

— Аграромы будым, — сказал Омари. — Толка учица долга нада, но патом будым уважаемый чэловэк в колхоз.

— Хороший у вас колхоз? — спросил я.

— Ачараватэлный, — сказал Серго. — Самый лучший в Грузии.

— Самый лучший в страна, — добавил Омари. — Грузынский колхоз — самый богатый в Советский Саюз.

— Вынаград, м-м-м, палцы лызат будыш, как сахар, — причмокнул Серго. — Яблок, апэлсын, чай. Чай! — закричал он. — Ты знаиш, кацо, что такой грузынский чай?

— Знаю, — ответил я. — Очень хороший.

— Лучший в мыр, — сказали они в один голос.

Долго они еще перечисляли достоинства грузинского чая, грузинского вина, пока не дошли до восхваления грузинской нации.

— Мы самый смэлый народ, — сказал Серго. — Самый гарачый. Но еслы грузин сказал: ты — друг, так за друг грузын может умират.

Обняв меня и поцеловав в щеку, он поднял стакан с вином. — За друг, за тэбя, кацо.

Допив, мы улеглись спать.

...Сегодня Омари и Серго решили угостить меня обедом.

— Ты гост, а мы хозаин, — сказали они. — Будэм угастыт тэбя хороший грузынски еда.

В темном полуподвале, куда мы пришли, стоит несколько столиков. Полукруглый бар, за которым при-мостился буфетчик, уставлен множеством бутылок и тарелок с холодной закуской. Помещение низкое, с нависшими сводами, кажется скорее мрачным, чем «солнечным», как называется ресторан.

Мы сели за столик по соседству с баром. Серго долго объяснял официанту, что принести. Постепенно наш стол заставляется коньяком, вином, фруктами. Вскоре появилось харчо, шашлык и овощи. Пообедав, мы заказали кофе и, потягивая его из маленьких чашечек, негромко разговаривали.

Вдруг мы услышали всхлипывания, а затем и плач. Обернувшись, я увидел средних лет мужчину, одетого в рваный пиджак, из-под которого вылезала рубашка. В руках он держал стакан вина и, упав на колени, стоял у бара и плакал. В полутьме я поначалу и не разглядел, что у бара стоит бюст Сталина. Припав к нему на коленях, словно к статуе святого, и поглаживая бюст рукой, плачущий что-то говорил. Я ничего не мог понять — обращался он к Сталину по-грузински. Но вдруг, истерично вскрикнув, он заговорил по-русски.

— Ты забывал нас, Сосо! Ты забывал Сакртвело, забывал свой язык, Сосо. Ты хочешь, чтобы я гаварил с тобой по-русски? Харашо, Сосо, я буду. Гавары, зачэм ты ухадыл, зачэм ты нас оставлал, Сосо? Как мог ты забывает Грузия? А, Сосо? Ты нэ хочеш гаварыт со мной? Зачэм, Сосо? Я вед тожа грузын, но я простой грузын. Зачэм ты нэ отвэчаеш, Сосо? Или ты правда умырал? Я нэ вэру, нэ вэру! — Он швырнул стакан на пол.

Зазвенели осколки. Срываясь на фальцет, он продолжал кричать:

— Вэрныс, Сосо, прыхады к матэры Грузия! О, как нам тяжело без тэбя, Сосо!

Никто не смеялся. Посетители даже не переговаривались. Выйдя из-за бара, буфетчик посадил его на место.

Когда мы вышли на улицу, Омари сказал:

— Нэт, нэ нада Сосо возвращатца. Плохой он был чэловэк. Грузын, но нэхароший грузын. Такой грузын тожа ест.

Серго молчал. Мы долго идем по городу, не разговаривая и даже не глядя друг на друга. Что-то вспомнив, Омари вдруг спросил меня:

— У тэбя врэмья ест?

— Да, в принципе, — ответил я.

— Хочэш с нами на свадьба ехат, в колхоз? Мой сэстра женьца будыт.

— Когда? — спросил я.

— Завтра едым, — ответил Омари. — Вот у нас выно будыт, нэ то, что здэс. Пыт будым, гулат будым, э-эх! — закричал он.

Милиционер, сидящий на цепях, ограждающих мостовую, погрозил нам пальцем. Но мы не обратили на него внимания. Стало как-то веселее, даже забыли мы и о плачущем обожателе Сталина, который испортил нам настроение.

Завтра я еду с Омари и Серго в колхоз. Он недалеко от Кутаиси, но надо ехать часа четыре. Колхоз расположен в горах, и добраться к нему трудно.

— Спускаца легко будыт, — смеялись мои новые друзья.

30 июля 1966 г. Колхоз им. Ленина

Приехали мы в колхоз под вечер. Серго пошел домой, а Омари повел меня к себе. Еще издали мы увидели у его дома накрытые столы, женщин, суетившихся

у печи, сложенной во дворе. Оттуда доносился дразнящий запах жареного мяса, словом, приготовления к свадьбе шли полным ходом.

Завидев Омари, его мать всплеснула руками и заплакала. Немного смутившись, Омари обнял ее и поцеловал. Мать погладила его по голове и долго смотрела ему в глаза.

— Эта мой гост, он из Лытва, — сказал Омари ей по-русски. — Хады мыца, — позвал он меня.

Во дворе, позади дома, из большой деревянной бочки был сделан душ. Бочка держится на двух металлических шестах, и за день вода нагревается под лучами солнца.

Помывшись, мы пошли к Серго. Он сидел в саду за столиком и уплетал обед из нескольких блюд. Рядом — мать Серго. Подперев голову руками, она смотрит на сына. Завидев нас, он вскочил и, принеся из дому плетёную бутылку вина, налил нам по стакану. Когда мы выпили, Серго попытался было налить еще, но Омари остановил его:

— Хватыт, ещо вэчэр пыт будым, — сказал он. — Хады наш гост колхоз показат.

Колхоз, где живут Омари и Серго, как я уже говорил, расположен в горах. У каждого колхозника свой дом; у одних лучше, у других похуже. У некоторых крестьян собственные машины, но почему-то многие без номеров.

— Зачэм номэр? — сказал Серго с удивлением. — Нас в район всэ знают, мы нэ в турма́, а в колхоз жы-
вем.

— Эта в Россыя колхоз, как турма́, — сказал Омари и засмеялся. — Кушат нэт, одэват нэт. Нэ лубат русский работат. А грузыны ачараватэлна живут. Смотры, всэ машина имэют, корова, птыца. Ачаравателна живем.

Да, живут грузинские колхозники неплохо. Не

знаю, все ли, но в колхозе имени Ленина жизнь очень налаженная.

— Думаиш, колхоз всо дават? — спросил Серго. — Нэт, кацо, самы всо доставаем. Дэлаим виноград, чай, апелсын, мандарын и ходым к вам зимой. У вас прадаваем, дэлаем денга, всо пакупаем и дамой возым. Еслы за колхоз жит, умыралы с голод, как русский.

— Грузыны — народ умный, — гордо сказал Омари.

Вечером началась свадьба. Молодые приехали на черной «Волге», сопровождаемые криками и пением односельчан. Жених с невестой побывали в районе, где есть церковь. Там они венчались, и священник, скрепивший их брак, приехал вместе с ними. От самой дороги до дома молодоженов закидывают конфетами и бумажными лентами. Позади идет процессия друзей и родственников молодых, одетых в национальные грузинские одежды. Мужчины — в бурках и папахах, опоясанные серебряными поясами, увешанными кинжалами. Оглушая окрестности радостными криками, они непрерывно стреляют в воздух: иные из охотничьих ружей, а другие из пистолетов.

— Откуда у них пистолеты? — спросил я Омари.

— Э-э, кацо, какой грузын нэ имеет аружий, — ответил он смеясь. — Вынтовка в магазин покупаим, а пистолэт на базар.

— На базаре? — переспросил я удивленно.

— Да, а что такой?

— Нѳ милиция?

— Да, а что мыльцыя? — снова засмеялся Омари. — У ных и покупаим писталэт. Двадцать рубел — какой нравица пистолэт можно покупат.

Не знаю, врет Омари или нет. Но на свадьбе гуляют и милиционеры, одетые в парадную униформу. И они, ничуть не смущаясь, разряжают обоймы своих пистолетов. Когда пальба утихла, все уселись за стол. На свадьбе гуляет всё село, человек пятьсот, не меньше.

Рядом с молодыми сидят их родители, священник и председатель колхоза. И я как почетный гость был усажен неподалеку от них, рядом с Омари. Каждый, кто произносит тост, берет большой рог, наполненный вином, и обращается к молодым. Я ничего, естественно, не понимаю, а Омари, внимательно слушая каждого, не успевает переводить. Только когда встал один из родственников жениха, седой высокий мужчина, одетый в белую рубашку, и произнес короткий тост, после которого сидящие разразились громовым хохотом, Омари сказал:

— Маладец дада Вано, такой придумал.

— Что он сказал? — спросил я, чувствуя себя смущенно. Вокруг все продолжали смеяться, я же ничего не понимал.

— Дада Вано поздравлал жених и нэвэста, жэлалим много жит и харашо жит. Потом он гаварил так: «Вы будэтэ жит харашо, патому мы живом в гарах, а камунизм нэ за гарами, боятца нэ нада».

Я взглянул на председателя колхоза и на милиционеров. Утирая слезы и давась от смеха, они похлопывали дядю Вано по плечам. Заметив мое недоумение, Омари сказал:

— Э-э, кацо, нэ баис, у нас все сваи. Прэдсэдател, мыльщый, всэ друзья. Каждый гаварит, что думает.

Что ж, есть хоть одно место в СССР, где каждый говорит, что думает. Но если откровенно, я ничего не понимал, глядя, как председатель колхоза лобызается со священником или милиционеры, каждый по очереди, обнимают дядю Вано.

— В гарах — свабода, — сказал подошедший Серго и хлопнул меня рукой по плечу. — Вныз нэт, там русский живут. Там гдэ русский живут, там свабода нэт.

Опять и опять сталкиваешься с этой фразой: где русские, там плохо.

— Не русские, Серго, а советские, — возразил я.

— Какой разныца, нэ понымаю? — спросил он.

— Большая, — ответил я.

— Какой болшая?

— Как, например, между Сталиным и священником, — сказал я. — Оба ведь грузины, но разные.

— Правылна! — закричал Омари. — Святой атец хароший, Сталын нэхароший. Русский ест хароший, русский ест нэхароший. Ты, кацо, нэ путай, — сказал он Серго.

— Я эта нэ понымаю, — покачал головой Серго.

Он хотел сказать еще что-то, но в это время заиграл оркестр: гармонь, скрипка и барабан. Омари схватил Серго за руку, и они пустились в пляс. И вслед за ними почти все мужчины, сидящие за столом, сняли бурки и стали отплясывать лезгинку. Оркестр играет без перерыва, всё увеличивая темп танца. Когда лезгинка кончилась, танцующие, радостные и потные, стали кидать под ноги музыкантам деньги — три, пять, а кто и десять рублей.

Свадьба продолжается всю ночь. Музыканты, словно лихие наездники, нещадно загоняют танцующих, исходящих, как кони, пеной и потом. Под утро, когда силы для танцев окончательно иссякли, гости запели. И в отличие от прежней веселой музыки, песни полились тягучие и грустные. Поют все разом, поют замечательно.

Когда же стало светать, музыканты собрали деньги, густо валявшиеся на земле у их ног, сложили инструменты и ушли. Разошлись и гости.

Утром хозяйка и пришедшие ей на помощь подружки готовят столы заново. Свадьба продлится еще несколько дней. Уезжать я думаю завтра, а сегодня я долго лежал с Омари и Серго на берегу небольшого пруда. Рассказывали они мне о Николае Дивиани, национальном герое Сванетии. Сванетия, один из самых труднодоступных районов Грузии, еще долгие годы после установления в Закавказье советской власти не призна-

вала новых порядков. Николай Дивиани, собрав многочисленный отряд сванов, преграждал в горах дорогу частям Красной армии. Сколько ни охотились за ними чекисты, но так ничего и не могли поделывать с вольными горцами. Однажды Николай Дивиани присутствовал даже на заседании штаба опергруппы ЧК. И когда один из комиссаров спросил, знает ли кто Дивиани в лицо, вожак сванов встал и сказал:

— Я его знаю. Я — Николай Дивиани.

Ошарашенные чекисты не успели и рта раскрыть. Они-то думали, что Дивиани один из командиров красных отрядов. Дом, где заседали чекисты, был окружен сванами, и, раздев чекистов догола, они спустили их с гор.

Но однажды отряд Дивиани попал в засаду, и почти все бойцы были убиты. Тогда командир отряда, одевшись в лучшие одежды, прискакал к штабу чекистов. Войдя в дом, он сказал:

— Я — Николай Дивиани.

Когда же чекисты бросились на него, он, выхватив гранату, подорвал себя вместе с ними.

Так гласит предание. Не знаю, правда это или нет. Но Омари и Серго утверждают, что всё это было на самом деле.

— Камунысты и тыпер баяца в Сванэтыя ехат, — сказал Омари. — Сваны очен гордый народ, аны нэ лубят, кагда имы рукавадыт чужой.

Вечером веселье продолжается. Пожалуй, не меньше чем вчера. Снова играют музыканты, танцуют мужчины, за столом сидят и молчат женщины.

К полуночи мы идем с Омари и Серго в горы. Освещающая фонариком тропинку, взбираемся на вершину одной из невысоких гор. Оттуда предстает перед нашими глазами изумительное зрелище. Долина, где расположено село, вся освещена огнями, слышна музыка и видны веселящиеся гости. А в небе стоит полная луна.

— Скоро луди на Луна будут ехат, — сказал Ома-

ри, посмотрев вверх. — Интэрэсно, кто будыт первый — русский или амерыканцы?

— Русский, — сказал Серго.

— Нет, кацо, амерыканцы, — возразил Омари.

— Пачему, кацо, так думашь?

— Луна камуныст нэ будэт пускат, — засмеялся Серго.

Кто первым ступит на Луну? По-моему, это неважно. Главное, что человек впервые побывает на другой планете. Может, и есть где-нибудь во вселенной живые существа. Как они живут, интересно? К сожалению, пока этого никто не знает. Я, откровенно говоря, тоже хотел бы, чтобы на Луне первыми побывали американцы. А то еще объявится на светиле, что стоит над нами, табличка с надписью «Лунная Советская Социалистическая Республика», и перестанет оно светить.

Когда мы вернулись в долину, Серго пошел домой. Посидев еще немного с Омари и гостями, я ушел в дом и записал эти строчки.

Завтра утром я возвращаюсь в Кутаиси. Оттуда как-нибудь доберусь до Гагр. Там отдыхает Лёнька. Попробую уговорить его съездить на озеро Рица. Домой думаю вернуться в середине августа.

24 января 1967 г. Вильнюс

— Инженер, по какому классу точности точить? — спросил меня рабочий, донельзя напоминавший лицом Хрущева.

В руках он держал увесистую болванку. «Разыгрывает», сразу понял я. Такое принято на всех заводах. То попросят молодого инженера «выписать ведро фазы», или, ласково глядя ему в глаза, спросят, как просверлить треугольное отверстие.

— Поточи об свой ..., — ответил я. — В самый раз будет.

Грянул дружный смех. Все ждали, как выкрутится «молодой». Мой ответ пришелся им по душе, и с той минуты я стал своим.

Было это в первый же день моего появления на заводе. Станок для вязания сетки печально стоит в углу, а Ильин не знает, с какой стороны к нему подойти. Рабочие откровенно филонят и за обычную зарплату налаживать станок не соглашаются. Остов станка и крепёжные кольца разных диаметров уже изготовлены, но сетка не идет и всё время рвется. Требуется идеальная точность колец.

А о какой точности можно говорить, если рабочий день бригады начинается в гастрономе, напротив завода. С утра закупаются четыре бутылки водки. Это — к завтраку. В обед, для поднятия аппетита, появляется еще столько же. Покупают рабочие водку с расчетом и на нас с Ильиным. Приглашают на сварочный участок, где нас уже ждут 166,6 грамма, то есть треть бутылки. 166,6 — на жаргоне обозначает распить на троих. Но я пить отказываюсь. Тогда рабочие надуваются.

— Эх, интеллигенция, брезгуешь нами.

— Не брезгую, но пить по утрам не могу, — объясняю я им.

— А как же работать тогда? — не понимают они.

Они — это десять слесарей испытательного цеха. Бригадир у них — Левченко, тот самый рабочий с лицом Хрущева. Он невысок, полнолиц и лыс. Впрочем, зачем описывать. Физиономия Никиты Сергеевича всем известна. А Левченко — точная копия его.

Хенька, молодой поляк с обрюзгшим от водки лицом, работает сварщиком. Крейвис, Володька, Пупейкис и Борисов занимаются изготовлением штампов. Стяпас, Ричка, Ольшанский и Харитонович обязаны помогать нам. Описывать я их не буду, скажу лишь, что это люди самого разного возраста, различных национальностей и различных убеждений. Если, например, Левчен-

ко коммунист, то Пупейкис когда-то был «жалюкасом», то есть бандитом, и в послевоенные годы занимался террором. Свое он отсидел и теперь свободен.

Ричка, молодой литовец, всё сражается с Ольшанским на тему, кому принадлежит Вильнюс — полякам или литовцам.

— Вильнюс литовцы основали! — кричит Ричка.

А Ольшанский отвечает:

— А поляки в Вильнюс вшистка будовали, оттого място польске.

Остальные к спору не прислушиваются. Иные работают, другие спят после выпитого. Отношения в цеху дружеские. Все друг друга знают, говорят о чем хотят.

— Среди нас стукачей нет, — объявил мне Левченко в первый же день. И спросил вслед за этим: — А ты кто по национальности?

— Еврей, — ответил я.

— Ну, ничего, — смутился он. — Бывает.

Мы с Ильиным работаем с девяти до четырех.

— Нечего пот гонять, — сказал Ильин. — Ниёльки нет, никто нас не контролирует. Можем хоть выспаться.

Ильин, оказывается, живет не в Вильнюсе, а в Новой Вильне, это — пригород. Каждое утро он встает в шесть часов и едет в переполненном автобусе на работу. Живет он с больной матерью, она получает мизерную пенсию, и сто десять рублей, которые Ильин зарабатывает как конструктор первой категории, кое-как хватает им на месяц.

— Если станок сладим в срок, к первому мая, то получу категорию ведущего конструктора, — похвастался он. — Буду уже иметь сто тридцать рябчиков. Это, брат, деньги. Может, еще и премию за внедрение получим.

Может, и получим, кто его знает. Только мне ее уже так или иначе не видать за отказ от комсомола, а Ильин еще может надеяться.

— Эй, проснитесь, мать вашу! — кричит он каждый день.

Приоткрыв глаза, полупьяные рабочие в свою очередь кроют его матом и, натянув на глаза ушанки, продолжают дремать, разлегшись на ящиках.

— Ну и сволочи, — ругается Ильин. — Так мы станок и через три года не запустим.

— Ты, инженер, потише на поворотах, — откликается Левченко. — Рабочего человека сволочью не называй.

— А кто же вы как не сволочи, — спорит Ильин. — Станок стоит, а вы дрыхнете.

— Платить будут — и работать будем, — смеется Левченко.

— А тебе, хрущева рожа, всё мало! — не выдержав, кричит Ильин. — Квартиру имеешь, машину имеешь, под триста зарплата у тебя есть. Чего ты еще хочешь?

— А не твое дело. «Победу» я двадцать лет назад еще купил, за свои, а не за твои деньги. А ты, инженером работая, и на дырку от бублика не заработаешь, — заканчивает Левченко под смех рабочих.

Но вообще-то Ильин предпочитает их не затрагивать. Рабочие за словом в карман не лезут, и на любую марксистскую формулировку они отвечают примерами из жизни, говорящими обратное. Споры о политике бывают каждый день, но еще ни разу я не слышал лестного слова хотя бы о Ленине, не говоря уже о сегодняшних руководителях советского государства. Левченко, казалось бы, коммунист. Но платформа, на которой он стоит, называется «материальной заинтересованностью».

— Это мои политические убеждения, — смеется он всегда. — Партбилет для меня, что танк. Им всё пробить можно.

Это для меня не новость, помню еще Казлаускаса из Института химической технологии. Остальные рабо-

чие — беспартийные и в партию не вступают принципиально.

— А чё я в ней забыл? — говорит Ольшанский.

— В гробу я партию видел, — ругается Харитонович, низенького роста белорус, лет сорока.

А Пупейкис — тот всё смеется:

— Ох, Левченко, попался бы ты мне после войны. Знаешь, какие я звезды коммунистам на спине вырезал? Вó, с кулак будут.

— Фашист ты, Пупейкис, — замечает Ильин. — Как тебя только не расстреляли такого.

— Не, таких товарищ Сталин не расстреливал, — уже хохочет Пупейкис. — Вся наша партизанская бригада сейчас на свободе.

— Бандиты вы, а не партизаны, — не унимается Ильин.

— Как хочешь называй, только коммунистов мы угробили не меньше, чем Сталин. Он что — выходит, не бандит?

— Будет, раскудахтался. — Ильин не знает, что на это ответить. — Работать лучше идите, станок стоит.

— Не, я работаю, когда мне платят, — ложится Пупейкис на ящик.

И так ежедневно. Мы с Ильиным обтачиваем наждаком кольца, рабочие спят.

— Разве дирекция завода не может их заставить работать? — спросил я Ильина.

— Попробуй, — усмехнулся он. — Они все классные специалисты. И работают только тогда, когда им хорошо платят. Если Шешплаукис добьется для них аккордной надбавки за этот станок, то они его враз наладят. А так... — и он пнул ногой станок.

Вдвоем мы, конечно, и за год не справимся. А станок нужно сдать к Первому мая, так записано в соцобязательствах. Но на каком предприятии выполняются соцобязательства?

— Нет таких, — говорит Ильин.

14 февраля 1967 г. Вильнюс

Кольца мы с Ильиным уже обточили. Отнесли их в отдел технического контроля, проверили и после долгих споров решили, что сойдет. При достигнутой чистоте поверхности станок работать будет. Теперь предстоит отполировать иголки, через которые проходит проволока. Иголок около пятисот штук, и если полировать их вручную, на это уйдет больше месяца.

— Пошли в механический цех, — предложил Ильин. — Найдем слесаря-полировщика и договоримся с ним. Он нам всё и сделает.

В механическом цеху, скорее напоминающем кустарную мастерскую, слесаря-полировщика не оказалось.

— Болеет, — засмеялся бригадир, проведя рукой по горлу.

— Запил скотина, — ругнулся Ильин. — Что за порядки на этом заводе, чорт его знает.

— Такой дисциплины я еще не видел, — сказал я ему. — Работают, словно в частной лавочке.

— Почитай так оно и есть. Когда им платят аккордные ставки, тогда они и работают. А без этого у них и гвоздя вбить не допросишься. Завод экспериментальный, все рабочие высокой квалификации, оттого и выкобениваются, мать их женщину.

— Давай договоримся с Левченко, — предложил я. — Пообещаем, что за полировку иголок им заплатят отдельно.

— Левченко за обещания не работает, он хохол хитрый. Покажешь ему ведомость, где будет написано, сколько ему причитается, он и работать начнет.

— А другие?

— А что другие — лыком шиты? Они, как Левченко, только за деньги работают.

Когда мы пришли в цех, рабочие сидели у верстаков и спорили о хоккее. Завидев нас, они засмеялись.

— Ну, портняжки, как иголки? Полируются?

— Слушай, Левченко, — сказал Ильин и, не выдержав его насмешливого взгляда, уже закричал. — Где твоя рабочая совесть, рази тебя гром! И коммунист ты, наконец, или нет? Станок надо сдать к Первому мая, а он еще не собран. Можешь ты, наконец, начать работать?

— А платить будут?

— Платят же вам зарплату, — ответил Ильин. — И не какую-нибудь, а в три раза больше инженерской.

— Мало, — стукнул Левченко молотком по верстаку. — Иди в бюро, договорись с начальством. Дадут по пятьсот рваных на нос, за месяц наладим станок, как часы будет работать. А не дадут...

— Так в утильсырье его сдашь, — засмеялся Ольшанский. — Без рабочего человека ни одна машина працюваць не будет, сколько бы инженеров в ней ни капувались.

— Ладно, поедешь со мной, — сказал Ильин Левченко. — Будем вместе пробивать.

— Другой разговор. — Левченко стал переодеваться в чистую одежду.

Через час мы уже сидели в кабинете начальника бюро: Шешплаукис, Ильин, Левченко и я.

— Как станок? — спросил начальник.

Ильин безнадежно махнул рукой.

— Чего так?

— Станкостроители поставили нам такой остов, что всё заново переделывать надо, — объяснил Ильин.

— Так переделывайте, для того вас на завод и послали.

— Вдвоем не справиться и за год... — Ильин стал объяснять причины наших неудач.

— Так чего же вы хотите?

— Вот Левченко пусть объяснит, — кивнул на него Ильин.

— А чего объяснять? — засуетился Левченко. —

Инженеры — они народ мудрёный, умный, значит, дюже. А рабочего опыта у них нет. Наша бригада, конечно, могла бы наладить станок, но...

— Что но?

— Платить как будете? — захихикал Левченко.

— Необходимая сумма за помощь по внедрению уже давно переведена на счет вашего завода, — сказал начальник бюро. — И из этих денег вам идет зарплата.

— Не, товарищ начальник, так мы не договоримся, — поднялся Левченко. — Я бы, может, и работал, но бригада отказывается.

— Сколько же вы хотите аккордных?

— По пятьсот на нос они хотят, — вздохнул Ильин.

— О-о! — изумился начальник. — Вы что — с ума сошли, товарищи рабочие?

— Пока нет, — ответил Левченко. — Вам станок к Первому мая нужен. Так? Значит, два месяца остается. За это время, даже работая как конь, станка нам не наладить. Но к середине мая кончим, это уже натебя. Если заплатите, конечно.

— Сколько человек в вашей бригаде?

— Десять.

— Значит, пять тысяч на вас требуется?

— Пять тысяч, — согласился Левченко.

— И как это называется — вы знаете? — нервничая, закурил начальник бюро.

— Аккордная оплата, — ответил Левченко.

— Вы-мо-га-тель-ство! — стукнул начальник кулаком по столу.

— Как знаете, — снова поднялся Левченко.

— Ладно, сядьте. Предположим, что мы вам заплатим. Когда будет готов станок?

— Я уже сказал — в середине мая.

— Нужно к Первому мая.

— Не сможем. Мы уже всё прикинули, раньше этого срока не кончим.

— Работайте ночью.

— Ночью спать надо, — улыбаясь, сказал Левченко.

— Вы коммунист, товарищ Левченко, не так ли? — спросил начальник бюро.

— Так. И что с того?

— Сознание ответственности перед партией, перед народом вас не мучает?

— Меня жена только мучает, — съехидничал Левченко. — То ей холодильник подай, то плащ «болонья» для дочки, а на это деньги нужны.

— Да-а, сознательный вы коммунист, — скривился в усмешке начальник бюро. — Добре, идите работать, я постараюсь изыскать средства для аккордной оплаты.

— Нет, начальник, когда договор подпишем, тогда и работать начнем.

— Это не раньше чем через месяц будет.

— Тогда, значит, и заработаем. Только станок закончим уже в июне, а не в мае.

— Ну и черти, — заскрипел зубами начальник. — Подождите меня здесь, сейчас я с главным инженером переговорю.

Как только он вышел, Левченко засмеялся и показал нам большой палец.

— Порядок, инженерá, так жить надо.

Откуда взялись деньги для бригады Левченко, так и осталось для меня загадкой. Но к концу рабочего дня договор о выплате рабочим пяти тысяч рублей был подписан начальником бюро, главным инженером и главным бухгалтером. Расписываясь на ведомости, Левченко приговаривал:

— Не волнуйся, товарищ начальник. Всё будет в лучшем виде. Может, и к Первому мая справимся. Тогда и вы получите премию за выполнение соцобязательства.

— Нам за это не платят, — уныло отвечал начальник бюро. — Только вы уж постарайтесь, сделайте всё, как надо.

— Конечно, — улыбнулся Левченко во весь рот. — Раз деньги будут, значит, и работа будет.

22 марта 1967 г. Вильнюс

Рабочих не узнать, словно неведомая сила преобразила их. С того дня, как был подписан договор, прекратились пьянки, споры о хоккее, разговоры о политике. Все стоят у верстаков и непрерывно обтачивают кольца, полируют иголки, регулируют скорость двигателя, от которого, оказывается, многое зависит в работе станка. При конструировании этого не учли и поставили двигатель бóльшей мощности, чем требуется для вязания сетки. Сопротивление проволоки непропорционально мощности двигателя, и от этого сетка всё время рвется. Теперь Ольшанский и Харитонович разбирают двигатель и ставят новую передачу. Мы с Ильиным почти не работаем.

— Толку с вас, что с козла молока, — сказал Левченко. — Без вас справимся.

Но мы помогаем им полировать иголки. Полируем вручную, так как полировального станка нет. Слесарь-полировщик из механического цеха затребовал двести рублей, но начальник бюро не захотел об этом и слушать.

— Хватит, пять тысяч им выдали, пусть делают, что хотят.

И мы полируем вручную. Сегодня в цеху появился председатель месткома.

— Левченко! — закричал он, стоя у дверей.

Тот даже не обернулся.

— Левченко, оглох, что ли?

— Чего тебе?

— Кто у вас профорг в цеху?

— А я откуда знаю? — обернулся, наконец, Левченко.

— Ты же бригадир, должен знать. — Председатель месткома подошел к нему. Он был низкого роста, сутулившийся человечек, одетый в черный костюм и зеленую рубашку, повязанную белым галстуком. Несколько раз я видел его в техническом отделе, где он работает инженером.

Левченко положил напильник и уставился на него.

— Ну, бригадир я, так что? А какое я отношение к профсоюзным махинациям имею?

— Не махинациям, а делам, — поправил его председатель месткома.

— Один хрен. Так чего хочешь?

— У вашей бригады взносы не уплачены уже за полгода. Кто из вас профорг цеха? — спросил он у рабочих.

— Ну, я был, — ответил Ольшанский.

— Соберешь со всех взносы и принесешь мне.

— Не выйдет, я до Нового года был профоргом, а в этом году меня не избирали и взносов я сберачь не бендэм.

— Изберите другого профорга, — приказал председатель месткома.

— Не, у нас сейчас времени нет, — попытался отговориться Левченко. — Станок запускать надо.

— Избрать профорга — дело десяти минут. Давайте сейчас и выберем. Кого предлагаете?

— Левченко! — закричали все разом.

— А во! — Левченко показал им кукиш. — Видели? Больше забот у меня нет — профсоюзными махинациями заниматься.

— Делами, — снова поправил его председатель месткома.

— Махинациями, — настоял на своем Левченко. — Я коммунист, а профсоюзами пусть беспартийные ру-

ководят, будет на демократию похоже, ха-ха-ха! — засмеялся он.

— Так кто же будет профоргом цеха?! — закричал председатель месткома, уже вышедший из себя.

— Ольшанский, может, ты будешь? — спросил его Левченко.

— У меня часу нема. — Ольшанский ушел в угол.

— Володька, ты, может?

— Не, Левченко, я еще молодой, — повернулся к нему спиной Володька.

— Харитонович, согласен быть профоргом цеха?

— Не-ка, не буду.

— Что так?

— Не буду и всё, — рубанул он воздух рукой.

— Товарищ Пупейкис, я предлагаю вашу кандидатуру, — вмешался председатель месткома.

Пупейкис засмеялся.

— Уморил, председатель. Пупейкис — советский работник, ха-ха-ха!

— А что в этом смешного?

— Я же жалюкасом был после войны, коммунистов резал. А теперь, — Пупейкис вытирает выступившие от смеха слезы, — меня советским руководителем хотят назначить, ха-ха-ха!

— Но вас же, наверное, амнистировали?

— Ага, амнистировали, — выдавил сквозь смех Пупейкис.

— Вот и оправдайте доверие народа на ответственном посту.

— Не оправдаю, — всё хохочет он. — Не буду я профоргом, мне жена за это глаза выцарапает.

Перестав смеяться, Пупейкис замолк. Наступила тишина.

— В общем, так, — сказал председатель месткома. — Смотрю, толку от вас не добьешься. Назначаю цеховым профоргом... — он обвел глазами стоящих перед

ним рабочих. — Хеньку, — он ткнул пальцем в молоденького поляка, сварщика из бригады.

— Не жцем, пану, не жцем, — замахал Хенька руками. — И не прощ, не бендэм.

— Чего ты мне лопочешь там на своем дурацком языке? Сказал — будешь, значит, будешь. Приказываю! — отрубил председатель месткома и направился к выходу. У самых дверей он повернулся и сказал:

— Чтобы сегодня же собрал взносы и принес мне в техотдел.

Хенька стоял посреди цеха и бил себя в грудь.

— О, пся крев, о холера ясна, цо тен зараза придумал, а? Хеньку профоргом наказал!

Рабочие столпились вокруг него и, смеясь, похлопывали по плечам.

— Не плачь, Хенька, — шутя успокаивал его Левченко. — Глядишь, через год карьеру сделаешь, станешь в техотделе инженером работать.

— Я — инженером? — выкатил Хенька глаза. — А за яки ласки, за соцку рублей, а? Вó, — он протянул вперед одну руку, стукнув другой по локтю.

— Слышь, Хенька, — подошел к нему Володька. — Ты похлопочи в месткоме, может, мне квартиру дадут. А то я с женой уже второй год на чердаке живу, объясни им.

— Добже, зробим, — улыбнулся Хенька.

— И мне путевочку достань в санаторий или в дом отдыха, у меня печень больная, — попросил Ольшанский.

— Добже, зробим, — еще шире улыбнулся Хенька.

— Попробуй моего сына в детский сад устроить, — попросил его Харитонович.

— Добже, зробим, — уже засмеялся Хенька.

— Хенька, меня не забудь! — крикнул Пупейкис с другого конца цеха. — Походатайствуй, чтобы мне персональную пенсию на старости лет дали, как заслуженному партизану.

Вдоволь насмеявшись, бригада снова приступила к работе. С этого дня Хенька стал профоргом. Он собрал членские взносы и отнес их председателю месткома. На этом его обязанности цехового профорга кончаются. Что касается путевок, квартир, устройства в детский сад, то это ему не под силу. С такими порядками, которые царят в нашей стране, он скорее добьется персональной пенсии бывшему фашисту Пупейкису, чем устроит сына Харитоновича в детский сад.

28 апреля 1967 г. Вильнюс

Станок почти готов. Сетки большого диаметра получаются прочными и хорошо свитыми. Но кольца малых диаметров еще не доведены до нужной чистоты поверхности, поэтому сетка получается рваной. Ольшанский, Левченко и Харитонович в поте лица доводят малые кольца. Иголки уже отполированы и разложены по коробкам, для каждого диаметра — отдельный комплект.

К Первому мая, как и предполагал Левченко, станок не сдать. Но через две недели, я думаю, работа будет закончена. Нам с Ильиным предстоит поездка в Алитус, на машиностроительный завод, где будет установлен станок. Вся задача теперь заключается в том, чтобы договориться с дирекцией завода о сроке сдачи станка, ведь по договору он должен быть сдан до Первого мая. Документация уже отпечатана, и на папках проставлены надписи: «Срок сдачи — 28 апреля 1967 г.». Если директор Алитусского завода это подпишет, то можно даже надеяться на премию. По крайней мере Ильин может получить рублей тридцать, на что он очень рассчитывает. Я же не получу ни копейки за «политическую незрелость». Но это — проблема ближайших месяцев, а сейчас нам предстоит закончить все работы по сдаче станка. Когда пойдет сетка и малых

диаметров, то останется только покраска. Красить придется самим, заводской маляр затребовал пятьдесят рублей. Работы ему всего на полдня, но так как каждый рабочий экспериментального завода считает себя уникалом, то и оплату за труд требует уникальную.

— Сами покрасим, — сказал Левченко. — В зеленый цвет, можем еще и колер навести. Э-эх, скоро по полтысячи получим, — потирает он руки.

Видя, что работа идет к концу и станок работает нормально, рабочие снова запили. За эти месяцы, что они работали над пуском станка, пьянки совершались только по пятницам, в конце рабочей недели. Да, совсем забыл: с этого года мы перешли на пятидневную рабочую неделю. По этому поводу в стране было немало волнений, а также и в Вильнюсе: на заводе «Комунарас» произошла забастовка. Зачинщики были уволены и привлечены к уголовной ответственности, остальные рабочие отделались административными взысканиями.

На экспериментальном заводе переход на новый график прошел более или менее спокойно. Причин для волнений у рабочих не было, работа у них сдельная. Как сказал Левченко, неважно, сколько работать, важно, за сколько работать. Надо сказать, что работала бригада отлично. Каждый из слесарей — действительно мастер-золотые руки, и, вдохновленные предстоящей получкой, они, как говорится, вкалывали на всю железку.

..Как появились в цеху парторг и его спутник — розовощекий блондин в итальянском плаще «болонья», никто не заметил.

— Товарищи, тише! — закричал парторг.

Перестали стучать молотки, выключили станок, повизжав, остановился электронаждак.

— Это — товарищ из райкома партии, — представил парторг своего спутника. — Как вы знаете, через

два дня наступает великий праздник, день Первого мая. По этому поводу...

— Выпить бы не мешало, — прервал его Ричка.

Парторг и секретарь райкома засмеялись вместе со всеми.

— Это потом, конечно, — сказал парторг. — А сейчас вам прочтут лекцию о международном дне солидарности трудящихся.

— Нехай в другой раз, нам працоваць треба, — сказал Хенька.

— Ничего, товарищи, часик можете и отдохнуть. Ну, вы начинайте, а я по делам пошел, — сказал парторг представителю райкома партии.

Оставшись один, райкомовский посланник почувствовал себя неловко. Вокруг него столпились рабочие в грязных спецовках, а он стоял посреди них, чистенький и брезгливый, и не знал, с чего начать. Немного подумав, он решил играть в «своего».

— Вы садитесь, товарищи, — улыбнулся он через силу. — Поговорим, долго я вас не задержу.

Рабочие уселись на столы у верстаков, а лектор — посреди цеха на маленьком круглом стульчике. Достав из папки бумаги, он постелил один лист под себя, а остальные разложил на коленях.

— Товарищи! — стал он читать. — Первое мая, международный день солидарности трудящихся, отмечается в нашей стране торжественно как праздник рабочего класса. В то время как мировой пролетариат, ведя решительную борьбу против эксплуататоров, отмечает этот день в тяжелых условиях, преследуемый буржуазией и их верными псами полицейскими...

Передавать слова лектора нет надобности. Он долго говорил о классовой борьбе, о единстве мирового рабочего движения, затем перешел к международному положению, под конец же отметил славные победы рабочего класса страны советов и стран народной демократии.

Опершись о стенку, рабочие тихо посапывали. Дело было после обеда, и заздравная проповедь секретаря райкома убаюкала слушателей. Но когда он дошел до роста материального благосостояния советского народа, все разом очнулись.

— Слышь, товарищ секретарь, — вдруг прервал его Хенька. — Ты где плащик нейлоновый купил?

Лектор опешил. Великий праздник на носу и нате — плащик.

— В магазине, — ответил он, оглядев рабочих непонимающим взглядом.

— Бреешь, холера ясна! — соскочил Хенька со стола. — Не было их в магазине!

Лектор молчал. Отряхнувшись от сна, рабочие обступили его и ждали ответа.

— Товарищи, успокойтесь, — взмолился секретарь райкома. — Какое значение имеет плащ? Я же вам лекцию о дне солидарности трудящихся читаю.

— Ты по делу отвечай: где купил плащ? — требовали все ответа.

— Я же сказал — в магазине... — Лектор покрылся каплями пота.

— В каком? — вскричали все разом.

И снова молчание.

— Я знам, в якем магазине он тэн плащик куповал! — закричал Хенька. — На Альгирдо, на улице, где я мешкам, тэн магазин. У двери, пся крев, милиция стоит, ни едного человека не пуцает. Сколько раз видзялем, як те боровы оттуда и коньяк, и черну икру, и «болоньи», и свэтеры носят. Магазин тэн цака партии принадлежит, пото и есть там вшистка. Я хцялем зайшчь едэн раз, так меня милициант в грудь пихает да мувит: «Вон отсюда, тутай специальный магазин, не для вашего брата». Ну, зараз ответь, секретарь, в якем магазине плащик тэн куповал?

Не дав секретарю ответить, Левченко выступил вперед.

— Скажи, секретарь, почему ответственным работникам партии все товары продают в отдельных магазинах, без очереди и самое лучшее, импортное. А мы, рабочие, должны в тряпье ходить. У нас вот если и есть деньги, то купить ничего не можем. Почему так, а?

— Понимаете, товарищи, — секретарь райкома тяжело задыхался. — Ответственные работники партии очень заняты, у них нет времени бегать по магазинам. Поэтому и создана специализированная продажа.

Я думал, все начнут смеяться. Но нет, рабочие молчали. Вдруг Левченко подошел к лектору и, взяв его за галстук, сказал:

— Вот что, дорогой товарищ секретарь. Уходи. Уходи отсюда по добру по здорову и скажи в райкоме, чтобы больше таких дураков, как ты, не присылали. Пусть присылают похитрее, да похуже одетыми пусть приходят. Только передай еще, что рабочего человека вокруг пальца не обведешь, нет таких, кто сможет это. Я тебе как рабочий говорю и как коммунист. Всё, окончен с тобой разговор. Айда, ребята, — обратился он к бригаде.

Снова застучали молотки, завизжал электронаждак. Злые стояли рабочие и работали. Казалось, в ту минуту всю свою злобу на секретаря райкома они вкладывают в напильники, до того с остервенением стачивали они металл. А секретарь, собрав бумаги и отряхнув злополучный плащик, быстро засеменил к выходу.

Когда он вышел, все побросали молотки и напильники и, пытаясь перекричать друг друга, высказывались.

— В магазинах колбасы приличной не купишь, а они на черной икре пухнут!

— Квартиры себе и своей родне выписывают не глядя, а наш Володька с женой на чердаке живет! —

кричал Левченко. — Я сам коммунист, а ничего достать не могу.

— Партийные руководители страну в частную лавочку превратили, — сплюнул Харитонович. — Где равенство, спрашиваю?

— Не было его и нет, — усмехнулся Володька. — Нечего было революцию делать, чтобы вместо помещиков на партийных секретарей надрываться.

— Но-но, ты потише там! — прикрикнул на Володьку Ильин.

— А чего, не так, что ли?

— Ты мне поговори еще, в другом месте договорим, — предупредил Ильин сквозь зубы.

— Ну и падла же ты, инженер, — услышал я голос Левченко. — Хочешь рабочим рот заткнуть?

— Ты, Левченко, коммунист, а за таких, как Володька, заступаешься! — закричал Ильин. — Ты осадить его должен или... или... даже сообщить куда следует. А ты туда же, на партию прешь.

Левченко подошел к Ильину и в наступившей тишине тихо сказал:

— Ты вот что, инженер, сам с голоду пухнешь, копейки на автобус считаешь, а партии поклоны бьешь, как последняя сука. Слеп, что ли? Не видишь, что та партия делает? А мы еще с ней немца били. И те, кто не был в партии, тоже ей верили. А если сейчас коммунисты лавочниками стали, то не мы в том виноваты, а такие, как этот секретарь райкома.

— А ты не виноват? Ты — рядовой коммунист? — спросил Ильин.

Левченко молчал. Что он мог ответить? Ведь кто как не сами коммунисты довели страну до того, что «слуги народа» купаются в роскоши, а народ ходит в рвань? Кто в этом виноват как не сами коммунисты?..

19 мая 1967 г. Алитус

Как Левченко и обещал, станок был готов к середине мая. Несмотря на требования начальника бюро, справиться с заданием к началу этого месяца бригада не смогла. После праздников был окончательно налажен выпуск сетки малых диаметров. Добыв со склада зеленую краску, рабочие быстро покрасили станок и, неизвестно откуда достав спирт, устроили банкет по случаю окончания работы.

Но на следующий день, когда мы пришли на завод, то увидели, что вся краска облезла. Ильин матерился, а рабочие только посмеивались. Оказалось, что спирт они выкачали из краски и выпили. Пришлось красить заново.

Выписав командировочные удостоверения, мы поехали вчера в Алитус. Станок привезли на завод за день до нашего приезда. Директора на месте не оказалось, он уехал по делам в Москву. Приняли нас главный инженер и главный конструктор завода.

— Пойдемте, посмотрим на ваше чудо.

Мы все направились в цех. Включив станок, мы стали демонстрировать им получение металлической сетки. Побаивались, однако, что сетка будет рваться при работе на малых кольцах. Хотя рабочие и довели их до нужного класса чистоты, но без брака дело не обходилось. К счастью, показательные испытания закончились благополучно. Сетка выходила целой.

— Добре, будем принимать, — решило заводское начальство. — Давайте документацию.

В кабинете главного инженера Ильин разложил папки с чертежами. Быстро просмотрев их, главный инженер спросил:

— Договор о сдаче станка у вас уже отпечатан?

— Да, вот он. — Ильин протянул ему папку с документами.

Взглянув на договор, главный инженер засмеялся.

— Нет, товарищи, так дело не пойдет.

Он ткнул пальцем в договор, где был указан срок сдачи «28 апреля 1967 года» и показал затем на календарь, где стояло 18 мая.

— Товарищ главный инженер, войдите в наше положение, — со слезой в голосе заговорил Ильин. — У нас в содбязательствах указано, что станок сдадим до первого мая. Но если бы вы знали, сколько мы с ним намучились.

— А какое наше дело? — вмешался главный конструктор. — Раз написали сдать до первого мая, значит, и надо было сдавать.

— Не успели, — вздохнул Ильин.

— Нет, если хотите, чтобы мы приняли станок, перепишите срок сдачи на 18 мая.

— Нельзя, начальник бюро приказал нам привезти договор, подписанный за 28 апреля.

— Хотите получить премию за станок? — улыбнулся главный инженер.

— Естественно, — расплылся и Ильин в улыбке.

— Не выйдет, — засмеялся главный инженер. — Нам это невыгодно. Одним словом, думайте. Или пишите сегодняшнее число, или договор мы не подпишем.

— Подумаем, — согласился Ильин и спросил: — Позвонить в Вильнюс можно?

— Пожалуйста, — тот пододвинул телефон.

Разговор с Вильнюсом дали через час. Заводское начальство ушло на обед, и мы сидели в кабинете одни.

— Товарищ начальник! — закричал Ильин в трубку, даже забыв поздороваться. — Алитусцы не принимают станок. Да! Не соглашаются на апрель. Сами позвоните? Через час? Хорошо, будем ждать.

— Не подписывают? — В кабинет вошла секретарша главного инженера.

— Не подписывают, — уныло ответил Ильин.

— Главный инженер — человек принципиальный,

— сказала секретарша. — Вам бы к директору, но его нет сейчас.

— Что же делать? — спросил Ильин.

— Не знаю, что вам и посоветовать, — ответила секретарша. — Попробуйте пообещать, что в случае поломки станка вы беретесь оплатить ремонт или прислать ремонтника. Иногда это помогает, как я знаю.

Когда вернулся главный инженер, Ильин снова пошел в атаку. Обещал, что бюро оплатит ремонт, пришлет ремонтника, что всю вину в случае поломки станка бюро берет на себя.

Но главный инженер был непоколебим.

— Вы сюда торговаться приехали? — не выдержав, вскричал он. — Я же вам сказал, что подпишу договор только тогда, когда будет стоять сегодняшнее число.

В это время зазвонил телефон. Звонил начальник нашего бюро. О чем они говорили, я не знаю. Главный инженер больше молчал и слушал, что ему говорят на другом конце провода. Положив трубку, он зло сказал нам:

— Ваше счастье, что вы нам еще можете пригодиться. Давайте договор.

И расписавшись на каждой папке, главный инженер добавил:

— Поставьте печати у секретарши. И передайте своему начальству, что больше они меня на удочку не возьмут. В первый и в последний раз это было.

— Что было? — спросил Ильин.

— А это уже не ваше дело. — И он показал нам рукой на дверь.

— Что сказал наш начальник главному инженеру, не знаете? — спросил Ильин секретаршу.

— Не знаю, я разговоры не подслушиваю. — Секретарша улыбнулась. Но по ее улыбке нетрудно было догадаться, что она обо всем знает. Нас же это мало волновало. Главное, что мы заполучили подпись начальства

Алитусского машиностроительного завода.

— Гора с плеч, — сказал Ильин, когда мы вышли на улицу. — Пойдем выпьем где-нибудь. Автобус в Вильнюс только вечером будет.

Мы зашли в пивнушку неподалёку от завода. Пивнушка маленькая, стоит в ней несколько высоких столиков, за которыми полупьяные рабочие пьют пиво, добавляя в него принесенную водку. Взяв по кружке пива, мы устроились у одного столика и стали спорить, из-за чего главный инженер согласился подписать договор.

— Попрошу по-русски не говорить! — крикнул с соседнего столика парень моих лет. — Езжайте в Москву и там по-русски говорите. А здесь — Литва.

— Заткнись, дурень пьяный, — сказал ему Ильин.

— Что-о?! — рассвирепел парень. — Я — литовец, а мне говорят «заткнись», когда я говорю по-литовски? Бей его! — ринулся он к нам, держа в руках пивную кружку.

Драки было бы не избежать, если между нами не встал бы пожилой мужчина, пожалуй, единственный трезвый в этом прокуренном насквозь зале. С трудом успокоив молодого патриота, он сказал нам:

— В Алитусе по-русски лучше не говорить. Даукия как-никак, здесь живут самые гордые литовцы. Вам бы лучше сейчас уехать, не то и правда побить могут.

— Автобус только вечером, — сказал Ильин.

— Выйдите на дорогу и попробуйте уехать попутной машиной, — посоветовал он.

Простояв больше часа на дороге, мы, наконец, уселись в «колхиду», гружёную бочками, и поехали домой.

(Продолжение следует)

Дневники. Воспоминания. Документы

Ю. Т. ГАЛАНСКОВ

ПОЭТ И ЧЕЛОВЕК

САМИЗДАТ



Ю. Т. ГАЛАНСКОВ
(19. 6. 1939 — 4. 11. 1972)

Стихотворения 1955—1961 гг.

ШИПОВНИК

1

Пылая яркими цветами
между корявыми ветвями,
листвой задумчивой обвит,
он тайну острую хранит.
Глядит горящими глазами,
раскрыв ресницы-лепестки.
А на ветвях, вертя усами,
блестят жуки-бронзовики.
Нектар сосущая пчела
кольшет розовое ложе,
и два сверкающих крыла
на две больших слезы похожи.

2

У шиповника розовый цвет
и густы у шиповника ветки,
но цветов его в вазочках нет
и в руках у людей они редки.
Ты попробуй его оборви —
будут руки твои в крови...
У кого-то по телу мурашки,
Эх, нарвет он ромашки для Машки.

Сборник «Ю. Т. Галансков — поэт и человек» получен из России и воспроизводится нами без каких бы то ни было сокращений и добавлений. — Р е д.

ИНТЕЛЛИГЕНТ

Когда бросают в решето
по буквам нашу строчку,
снимаем мы свое пальто
и рвем свою сорочку.
Перо — как ножик — в кулаке,
к прыжку готовишься уже ты...
Но, словно цепи, на руке
висят тяжелые манжеты.



Мне больно.
Руки уберите,
от вас я помощи не жду.
Я не в бреду.
Я знаю сам, куда иду.
Там рабьей дрожью не дрожат,
там страсти в рамках не лежат,
там человек за шагом шаг
идет, танцуя на ножах.
Небо мечет огненное лассо.
Резкий треск — и корчатся святоши.
Это я,
ободранный, как мясо,
хлопаю в железные ладоши.



События спешили устареть.
Родился силуэт тревоги.
Никто не властен был стереть
следы разбоя на дороге.
Вчера спокойная, толпа
сегодня тайною владела,
играла фетишем столпа,
и не было страстям предела...
Еще вчера рукоплескали,
вручая здания ключи,
а утром лозунги искали
в газетах:
«Это палачи»...
События спешили устареть.
Родился силуэт тревоги.
Никто не властен был стереть
Следы разбоя на дороге.

УБИЙСТВО

Суд.
Закрытые двери.
Судьи-звери
рычали,
сжимая лапы;
подсудимые молчали —
во рту торчали
кляпы.

Из глаз вылетал гнева залп.
Он зал разрезал,
сердца пронзал
и петли вязал
тиранам,
от власти пьяным.

Чиновник четко читал приговор —
и весь разговор.

Утром тишина шептала:
«Тише, тише».
Солнце поднималось выше, выше.
И на землю вяло
луч роняло.
С ветки птичка щебетала:
«Они были,
их не стало;
их убили,
я видала»...

Часы кремлевские били,
людей будили.
Люди вставали,
пили, ели,
в блюде глядели,
судили о деле...

И уходили работать.



Разбиты цепи, сковавшие руки,
разорваны путы, рождавшие муки.
Разбиты...

Но, вместе с этим, зарыты
сердца боевые во тьмы гробовые.
А вы-то живы,
живы и лживы ради наживы.
Прочь, руки гадкие,
прочь, речи сладкие!
Души притворные,
рожи придворные!

Новые звуки куем мы себе,
крепкие руки растим в борьбе.
Не будь близоруким: вперед гляди —
битва и счастье
еще впереди.



Слышу ушами,
вижу глазами
ее,
чье движение приводит в брожение
в извилинах сжатую мысль.
Своей всесильной рукою
она схватила дула револьверов,
направленные в бледные виски;
она срывает хрупкие ростки,
расцветшие цветами умиранья,
цветами боли, скуки и тоски.
Она бросает золотые зерна

на пашни мозга.
И будет огненная нива,
и будет грома разрыванье,
и стены бросятся в объятья мостовых,
изранив их кирпичными кусками.
Кровавый солнечный восход
своими иглами проткнет
тельца испуганного зала
и, оторвавшись от металла,
мозолистые жилистые руки
постигнут собственную силу и весомость...
И сапогом на белое наступят.
У вас отнимут ананас,
прилипший к ананасу класс... падет.
Он к нам придет,
надев свою кольчугу,
раскрасив улицу плакатом-мечом;
лучом встревожит
каждую лачугу
и разорвется красным кумачом.
Он наши раны рваные залечит,
он наши шрамы верою скует,
он распрямит
прогнувшиеся плечи
и черные оковы разобьет.
Он красной птицей
явится в темницы,
он нерешенное решит
гораздо проще.
Уже сверкает лезвие зарницы,
и блеск меча
зовет меня
на площадь.

5. IV. 57 г.

КОРОЛЬ СВОБОД

Свобода. Свобода. —
Проклятье.
И дрожь пробежала по коже.
Не спрятать в лохмотьях кожи
изуродованное
цветоложе.

Робость и страх пересилив,
люди рванулись потрогать
пальцы худые и синие,
с которых сорвали ноготь.
Ах, упала...
Разорванный вздох...
Дрожащего тела усилия...
В крови на асфальте орал между ног
естественный Плод насилия.

Тревожный шепот летел по ушам,
чернел и кружил, как ворона...
Что это, Боже?!
В руках малыша
сверкает и жезл, и корона.
Он встал и отбросил пеленки из пыли,
он взглядом выискивал рядом врага. —
Знамена в крови, обгаренные, плыли
по стенам, по стонам к его ногам.
Три раза вождю прокричали «ура»
его неподкупные лучники.

А кто-то сегодня, как будто вчера,
в карманах искал наручники.

КОНСТРУКЦИЯ

«Папа, снимите хомутики», —
маленький мальчик изрек.

«Видишь, сыночек, прутьики;
а если еще поперек?..

Дай-ка тетрадку в клетку.

Здесь нарисуй

глаза,

птичку,

солнце

и ветку,

и на щеке — слеза...»

И на тетрадке в клетку

тихо рисует зверек

птичку,

солнце

и ветку

в прутьиках поперек...

*

Оттого ль мне Сибирь дорога,
что там дикая воеет пурга
и загадочно манит тайга,
и слепят белизною снега.
Я поехал совсем не туда,
где в земле залегают руда
и рычит у плотины вода,
загоняемая в провода.
Я ищу, где покоишься ты,
где в сугробах распяты кресты,
и перо, что горело в руке,
и горячий призыв на листке.
И мы будем прекрасны вдвоем,
ибо я — продолженье твое.

*

1

Золотая песня одиноко льется...
Не все продается,
не все продается —
в песне поется...
Канарейка требует уют,
ее продают
и вьют из песни веревки.
Люди ловки на уловки.

2

На ивах голуби сидят,
глазами красными глядят,
и искры мертвые горят

во взглядах их тоскливых.
А ручейки, журча, блестят
в игривых переливах.

3

На стриженем рыжем поле
одинокó шуршит ветелка,
и как-то тоскливо до боли
высвистывает перепелка:
«Фюить-Фюра...»
«Фюить-Фюра».
Ее словесная игра
«Фюить-фюить-фюра» —
почти дыра...
А мы: «Ура!»
Быть может, точно — спать пора?

4

Нет, нет,
придет
в лучах пылающий восход
и подожжет
теченье вод,
и куст зеленый обольет
серебророзовым лучом,
и в нем
свободно запоет
поэт.



Родник.
Хрустальная водица.
Нагнулся я, хотел напиться.
Но чья-то черная рука
взмутила воду родника.
Заколыхались облака,
и я увидел паука.

УТРО

Горячим лезвием зарницы
восток поджжет крыло вороны.
И весело запели птицы
в сетях немой и черной кроны.
Запутал ноги пешеходу
туман, нависший над травой...
И кто-то лез беззвучно в воду
огромной рыжей головой.



С последней трибуны
торжествующему палачу,
отделившему туловище от меня,
я,
разрубленный,
прокричу:
«Пролетарии всех стран соединя...»
Но ваше фальшивое счастье,
ваши лозунги,
ваши плакаты —
я разрываю на части
и бросаю в камин заката.

ДЕПРЕССИЯ

Ограбила,
выкрала,
выкровив.
Выщипан, будто цыпленок кухаркою.
Этак
спокойно зарезанный бровью —
чувствуешь?
Сердце рыдает и харкает
кровью.
Сделаюсь
птицей,
разбойником,
зверем; а может, издохну от скуки и лени,
и некому рваное сердце доверить,
и негде уснуть головой на коленях.
И сколько ни бегай по городу,
бешеный, —
сам от себя не уйдешь никуда.
Видишь: вдоль улиц цепочкой развешаны
череп за черепом
на проводах...

Я ею был обворожен.
Поймал черемуху в объятья
и грудь ей вырезал ножом,
и разорвал кору, как платье.
Какими красными губами
я жег по сочному стволу!
И еле-еле улыбаясь,
роняла каплями смолу.
Я обхватил ее в кольцо
и не смотрел уже глазами,
как ветви бросились в лицо,
вспорхнув душистыми слезами...
В траву зеленую — и на́долго,

все позабыв, я рухнул ниц;
а луч на миг цветную радугу
мне перекинул меж ресниц.

От дел и безделушек,
которых позарез,
я, наплевав на все и всех,
бегу в зеленый лес.
Там — стоит только дотронуться,
синь-синь
колокольчик звенит.
Там клочьями рваного солнца
плавают зайцы в тени.
Там хорошо.
От счастья пьяный,
без скуки, лени и тоски
висишь на ветке обезьяной,
забыв о гадостях людских.

*

Почти неврастеник.
В течение ночи —
на проводе нерва сжигаю я мозг.
Услышу,
щебечут на тополе почки
под серыми струйками тоненьких розг.
Выбегу,
выберу
струйку витую;
по каплям веревки залезу повыше
и с громом сломаю стрелу золотую,
роняя мгновенную вспышку на крышу...
Когда ж
на востоке расплавится олово
и люди отбросят накидку и зонтик,
мою оторванную голову
ищите все
на горизонте.

ПРО ЭТО

Вы! послушные, как игрушки,
ушки развесили.
Взвесим безвесье,
вокруг смеялось бессловесье,
бесчестие клялось,
шаталось равновесье...
Светило небес остыло.
Все застыло и стало постыло.

Больно!
Сильные сжали зубы —
крошки отпавшей эмали.
Дергались рваные губы,
вдовы руки ломали...

Душно!
Люди потели.
К горлу тянулась рука.
На пол летели
пуговицы воротника.

А если же
чей-то и где-то
слышался боли крик,
где-то узнав про это,
в горло вбивали язык.

Но время рвануло маску,
и слабость слезой потекла.
Мартынов поверил в сказку
и вымолвил:
«Градус тепла».
Поймал тигренка в буреломе,
сверкнули грустные глаза.
«Двадцатый век на переломе», —
Он горлом бархатным сказал.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

(поэма)

1

Все чаще и чаще в ночной тиши
вдруг начинают рыдать.
Ведь даже крупицу богатств души
уже невозможно отдать.
Никому не нужно:
в поисках Идиота
так измотаешься за день!
А люди идут, отработав,
туда, где деньги и бляди.
И пусть
сквозь людскую лавину
я пройду непохожий, один,
как будто кусок рубина,
сверкающий между льдин.
Не-бо!
Хочу сиять я;
ночью мне разреши
на бархате черного платья
рассыпать алмазы души.

2

Министрам, вождям и газетам — не верьте!
Вставайте, лежащие ниц!
Видите, шарики атомной смерти
у Мира в могилах глазниц.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
О, алая кровь бунтарства!
Идите и доломайте
гнилую тюрьму государства!

Идите по трупам пугливых
тащить для голодных людей
черные бомбы, как сливы,
на блюдаща площадей.

3

Где они —
те, кто нужны,
чтобы горло пушек зажать,
чтобы вырезать язвы войны
священным ножом мятежа?
Где они?
Где они?
Где они?
Или их вовсе нет? —
Вон у станков их тени
прикованы горстью монет.

4

Человек исчез,
ничтожный, как муха,
он еле шевелится в строчках книг.
Выйду на площадь
и городу в ухо
втисну отчаянья крик!
А потом, пистолет достав,
прижму его крепко к виску...
Не дам никому растоптать
души белоснежный лоскут.
Люди,
уйдите, не надо...
Бросьте меня утешать.
Все равно среди вашего ада
мне уже нечем дышать!
Приветствуйте подлость и голод!
А я, поваленный наземь,
плюю в ваш железный город,
набитый деньгами и грязью.

5

Небо!
 Не знаю, что делаю...
 Мне бы карающий нож!
 Видишь, как кто-то на белое
 выплеснул черную ложь.
 Видишь, как вечера тьма
 жует окровавленный стяг...
 И жизнь страшна, как тюрьма,
 воздвигнутая на костях!
 Падаю!
 Падаю!
 Падаю!
 Вам оставляю лысеть.
 Не стану питаться падалью —
 как все.
 Не стану кишкам на потребу
 плоды на могилах срезать.
 Не нужно мне вашего хлеба,
 замешанного на слезах.
 И падаю, и взлетаю
 в полубреду,
 в полусне.
 И чувствую, как расцветает
 человеческое
 во мне.

6

Привыкли видеть,
 расхаживая
 вдоль улиц в свободный час,
 лица, жизнью изгаженные,
 такие же, как и у вас.
 И вдруг —
 словно грома раскаты
 и словно явление Миру Христа,
 восстала

растоптанная и распятая
Человеческая Красота!
Это — я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
сотканые из лжи!
Это — я,
законом закованный,
кричу Человеческий Манифест, —
и пусть мне ворон выклеывает
на мраморе тела
крест.

Москва, 1960 г.

ПРОЛОГ ИЗ ПОЭМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Как-то вечером Наташа
заточила карандашик,
села на свою кровать,
стала что-то рисовать.
Рисовала книжку,
рисовала Мишку,
а потом нарисовала
дивного мальчишку.
Ушки.
Щечки.
Брови.
Нос.
Пряди шелковых волос.
Ну, а глазки вышли,
как две спелых вишни.
Подравняла зубки,
вывела красные губки,
четко ротик обвела,
да и ножницы взяла.

Только вырезать успела,
только курточку надела —
смотрит:
а у мальчика
кровь течет из пальчика.
Ах, беда!
Ну, разве можно
быть такой неосторожной?
Разыщу я бинтик, ватку,
уложу тебя в кровать,
забинтую тонкий пальчик.
Спи, мой мальчик,
милый мальчик.
А я рядом посижу,
тебе сказку расскажу.

*

Скажите, —
когда и в какой стране
самому честному сыну
сердце не жарили на огне
и не пыряли в спину?
Ах, зачем вы очи отводили,
пряча под рубашкой тельца дрожь?
Это просто в горло засадили
в преступленьях вызубренный нож.
Хлынуло горлом, как пиво из бочки,
поплыли газетные комики,
шляпы, перчатки, веночки
и чьи-то крикливые томики.
Вспыхнуло небо,
и хором планет
брызнула солнечная оратория —
это дрожащие руки ко мне
тянула седая история.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1. НЕ ДАЙ УБИТЬ

Москва,
Нью-Йорк,
Каир.
Войну отвергают все.
Но, будто бы белка,
измученный мир
вертится в пушечном колесе.
Птицы петиций — и что же? —
наплевано в лики анкет.
Хотят человеческой кожей
обтягивать тело ракет.
А люди —
всесильные люди,
шатаясь на паре костей,
несут материнские груди
вскармливать медных детей...
Стойте, скоты,
в деревянный острог
загонят,
привяжут веревкой,
ударит уверенно между рог
палач, умудренный сноровкой.
Потом, в руке железо сжав,
уверенный и властный,
повяжет лезвием ножа
на шею бантик красный.
Не дай убить,
взреви, чтоб глохли.
Узлами мускулы связав,
срывай ремни, ломай оглобли...
С кровавой сеткой на глазах,
сжигая в ноздрях гнева пламя,

роняя пену изо рта,
вздымай же голову, как знамя,
кишки на шею намотав.

2. ЗА РЕВОЛЮЦИЕЙ — РЕВОЛЮЦИЯ

Казалось, все те же уставшие лица,
все те же мысли
и чувства все те ж.
А я утверждаю, что где-то таится
огромный Всемирный мятеж.
Над бомбами вырос вопрос,
и мир в ожиданье затих.
Поэты себе под нос
бубнили старинный стих,
кричали ура,
бились в истерике,
делали венчиком алые губки...
И вдруг —
в ослабевших руках Америки
кровью окрасился сахар Кубы.
В глуби пирамид заиграла труба:
сфинкс пробудился и вышел из мрака.
И, будто бы факел в руках раба,
вспыхнула нефть Ирака.
Европа казалась распятой,
но прорастали росточки;
диктаторы и дипломаты
дрожали на атомной бочке.
Болезни.
Голод.
Усталость,
и кто-то бредил войной...
Я чувствовал, что осталось
последнее слово за мной.

3. ДОЛОЙ ПЕССИМИСТОВ

Может быть,
в прокаженные города
я приду ненужным врачом
и пойму, что мир навсегда
страдать и стрелять обречен.
Но, по-моему, нет и нет.
Посмотрите, какая заря,
и какой, посмотрите, рассвет
ожидает Меня-Бунтаря.
Приду,
принесу генералам блюдо
из грубого Марсова мяса.
И переделывать бомбы буду
в сочные ананасы.
Пройду сквозь запутанность лабиринтов
сорвать и отбросить решетки тюрьмы.
И крысы рванутся из рук лаборантов
к горлу творцов чумы.
И не зло, а музейную ношу —
супербомбы, язвы и туберкулез —
принесу и небрежно брошу
пессимистам, мокрым от слез.

ПОДСНЕЖНИК

Искренне,
чисто,
наивно
и грубо
грудь отдаю для душевно нищих.
Вижу —
ваши иссохшие губы
ищут.

1

Гимны петь и славить не могу.
Я не лгу.
Я к совести пришит.
Все, что в сердце режет
и в мозгу,
выплесну, рыдая, из души.
Видите, как я нервозно и гордо
(в каждой извилине — сила взрывчатки)
вышел — всему человечеству
в морду
бросить боль и перчатку.
За то, что больной, оскорбленный и нищий,
терпевший, терпевший
и даже уж через...
ни камень, ни палку, ни бомбу не ищет
разбить государственный череп.
Что ж, осуждайте:
«Анархия...
Боли...»
Чувствую: кровью мозги багровеют...
Плюньте на атом
и сделайте, что ли,
что-нибудь там поновее.
Чтоб все уничтожить,

сжечь,
растерзать.
Пушкой седовласые боги
спустятся с неба и станут лизать
Земли почерневшей ожоги.
Идите,
идите,
те, кто разут, раздет и тощ.
Идите, костями крепите
свою предвоенную мощь.

2

Стыдно смотреть.
Отслужив,
отработав,
сучные лица вдоль улиц наляпав,
ходит спокойно толпа идиотов
в черных и сереньких шляпах.
Ибо смотрите,
смотрите же,
вот —
потное мясо поперло в ворота...
Будто бы вдруг обожрался завод
и начинается рвота.
А завтра —
кирпичные мрачные стены
снова раскроют железные пасти,
и жадное горло голодной сирены
город порвет на части.
Больше не вынесу.
Слышите,
вы?!
Хватит!
Сегодня же ночью
вспыхнут безумства моей головы
и... ваше спокойствие — в ключья.

День утомленный лег и размяк
в душных кирпичных гнездах.
А вечер поспешно напяливал фрак,
черный,
в серебряных звездах.
Ишь, разошелся,
темнеет
и ну...
зовет черноокою ночку.
Тоже пижон,
а такую луну
забыл разорвать на сорочку...
Дневными делами измучен,
город в постелях раскис...
А я
спокойствия складывал в кучу
и каждое рвал на куски.
Самое жирное плакало потом,
потом запищало,
как баба:
«Пусти,
утром хозяин пойдет на работу,
уж он-то тебя не простит.
Закон не позволит.
Безумцу — проклятье.
Преступные руки в железный браслет...»
А ночь отдавалась...
расстегивал медленно
бледный рассвет.
Когда же, нежно обласкав,
он обнажил ее жестоко,
она лежала в облаках
губами алыми к востоку.

4

Сегодня день взбунтовавшейся мысли.
Зрячие — просто,
слепые — наощупь
лезут,
а цензоры в петлях повисли,
собою украсив площадь.
Бьют барабаны,
фанфары трубят;
и первая фраза гласила:
Сегодня я сам объявляю себя
новейшей общественной силой.
Сегодня я новой отмычкой владею,
чтобы открыть черепные крышки,
где в серых извилинах будут идеи
взрываться,
как магния серые вспышки.
Ножками кресел казенный день
больше не выдержит тяжести балласта,
где вечный чиновник,
как черный тюлень,
лениво ворочает жирные ласты.
Сюда —
огрубевшие толпища люда,
под взлет моего кумача!
Я ваши сердца оперировать буду
серебряной вспышкой луча.

5

Да здравствует первый подснежник,
презревший опасность и холод!
Да здравствует
Мир-Мятежник,
вместивший и мысль и молот!

1959 г.

Документы

ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ГАЛАНСКОВ

Умер Юрий Галансков. Умер в неволе, в лагере для политзаключенных, в пос. Барашево Мордовской АССР. Это случилось 4 ноября 1972 года в тюремной больнице. Ему было 33 года.

Галансков попал в лагерь потому, что он был честным поэтом и честным человеком. Его стихи и статьи никогда не находили себе места на страницах официальной печати. В них слишком много правды и подлинной любви к людям, к справедливости и свободе.

Галансков был непримиримым и бесстрашным врагом всякого насилия, всякой фальши, всякого надругательства над человеческим достоинством.

Издание свободных бесцензурных журналов «Синтаксис», «Бумеранг», «Феникс», активное участие в молодежном движении конца пятидесятых — начала шестидесятых годов (пл. Маяковского), издание «Белой книги» с материалами судебного процесса Синявского и Даниэля, выступления с демонстрациями протеста против произвола властей в защиту прав человека — таковы этапы его деятельности до ареста 19 января 1967 года.

И в лагере Галансков не прекратил своей деятельности, постоянно выступал в защиту политзаключенных. Он и не мог смириться.

Зная о тяжелой болезни желудка, обострившейся в результате голодовок протеста против нарушения законов, чинимого лагерной администрацией, начальство бросило Галанскова в помещение камерного типа на хлеб и воду. В результате — операционный стол и заражение крови.

Была его смерть случайной или неслучайной — так вопрос стоять не может. Вся история короткой и яркой жизни Юрия была историей добровольного бесстрашного восхождения на крест.

Вечная память тебе, Юрий! Свет, бывший в тебе, не угаснет, ибо это свет добра, истины, жизни.

Арутюнян Р. Р.

Балтрукевич А. В.

Бочеваров В. И.

Викторов А. В.

Вишняков В. И.

Гаенко В. Н.

Галанскова-Шматович Е. Т.

Гинзбург А. И.

Горячев П. М.

Горбаневская Н. Е.

Зайцев В. В.

Иванов А. И.

Иванов А. М.

Иоффе В. В.

Калугин В. И.

Камышова М. А.

Каплан М. М.

Лашкова В. И.

Максимов В. Е.

Машкова В. Е.

Найденович А. П.

Осипов В. Н.

Радыгин А. В.

Репняков В. А.

Сахаров А. Д.

Синявский А. Д.

Тапешкина А. М.

Темин А. М.

Хаустов В. А.

Хмелев Е. И.

Шухт А. Б.

Щукин А. И.

Москва, 11 ноября 1972 года

ПИСЬМО И. А. ЯХИМОВИЧА

Центральный Комитет КПСС, Суслову

Я не могу судить о степени виновности лиц, так или иначе подвергшихся или подвергающихся репрессиям, ибо не располагаю достаточной информацией. Но в чем я твердо убежден и знаю — огромный вред причиняют партии и делу коммунизма в нашей стране, и не только в нашей, подобного рода «судебные» процес-

сы, какой состоялся в Московском городском суде с 8 по 12 января с. г.

Мы отпраздновали славный юбилей, гордимся своими достижениями в экономической, научной практике, и сами же, когда ООН 1968 год объявила Годом Защиты Прав Человека, даем врагам коммунизма сильнейшие козыри против нас. Абсурд!

Мы были голыми, голодными, полунищими, но мы побеждали, потому что на первый план ставили освобождение человека от бесправия, надругательства, беззакония и т. д. И мы можем все потерять, имея ракеты и водородные бомбы, если забудем, откуда *есть пошла Великая Октябрьская социалистическая революция.*

Со времен Радищева суд над писателями в глазах передовых мыслящих людей всегда был мерзостью. Что думали наши доморощенные деятели, затыкая рот Солженицыну, придуриваясь над поэтом Вознесенским, «наказывая» каторгой Синявского и Даниэля, впуская КГБ в спектакли с «внутренними врагами»?

Нельзя подрывать доверие масс к партии, нельзя спекулировать честью государства, даже если какому-либо деятелю и хочется в течение шести месяцев покончить с «самиздатом». Уничтожить Самиздат можно лишь одним путем: развертыванием демократических прав, а не свертыванием их, соблюдением Конституции, а не нарушением ее, введением в практику Декларации Прав Человека, если от имени нашего государства под нею расписался Вышинский, а не замалчиванием ее.

Кстати, кажется, статья 20 этой Декларации гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. И каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию любыми средствами, независимо от государственных границ».

Статью 125 нашей Конституции вы отлично знаете — цитировать не стоит. Я только хотел бы напомнить мысль В. И. Ленина о том, что «нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить». (Соч. изд. 5-е, том 54, стр. 446).

Я считаю, что преследование молодежи (инакомыслящих) в стране, где свыше 50% населения моложе тридцати лет, — крайне опасная линия, авантюризм.

НЕ шаркуны, НЕ поддакивающая публика (о, Господи, сколько ее развелось!), НЕ маменькины сынки будут определять судьбу нашего будущего, а именно бунтари, как самый энергичный, мужественный и принципиальный материал молодого поколения. Глупо в них видеть противников Советской власти, архиглупо гноить их в тюрьмах и издеваться над ними. Для партии такая линия равносильна самоудушению. ГОРЕ НАМ, если мы не сумеем договориться с этой молодежью. Она создаст, неизбежно создаст новую партию. Загляните немного в историю и вы убедитесь в этом. Нельзя идеи убить ни пулями, ни тюрьмами, ни ссылками. Кто не понимает этого, тот не политик, тот не марксист.

Вы, конечно, помните «Памятную записку Пальмиро Тольятти». Я имею в виду это место: «Создается общее впечатление медлительности и противодействия в деле возвращения к ленинским нормам, которые обеспечивали, как внутри партии, так и вне ее, большую свободу высказываний и дискуссий по вопросам культуры, искусства, а также и политики. Нам трудно объяснить себе эту медлительность и это противодействие, в особенности учитывая современные условия, когда больше не существует капиталистического окружения, а экономическое строительство достигло грандиозных

успехов. Мы всегда исходили из мысли, что социализм — это такой строй, где существует самая широкая свобода для рабочих, которые участвуют на деле, организованным путем в руководстве всей общественной жизнью». («Правда», 10 сентября 1964 г.).

Кому выгодна политика медлительности и противодействия? Только явным или скрытым сталинистам — политическим банкротам. Помните: *Ленинизм — да! Сталинизм — нет!* XX съезд партии сделал свое дело. Джин на свободе, его не загнать обратно. Никакими силами и никому!

Мы накануне 50-летия Советской Армии, мы накануне Консультативной встречи братских коммунистических партий — не осложняйте себе работу, не омрачайте атмосферу в стране. Наоборот, тов. Подгорный мог бы амнистировать Синявского, Даниэля, Буковского, заставить пересмотреть дело А. Гинзбурга и других. (Московский городской суд в последнем деле допустил грубейшие нарушения процессуальной законности. Прокурора Терехова, судью Миронова, коменданта суда Циркуненко следует должным образом наказать — в основном, за болванизм и злоупотребление властью. Нельзя добиться законности, нарушая законы. Мы никому не позволим протитуировать наш советский суд, нарушая законы и наши права. Гнать таких «судей» в три шеи надо, ибо они причиняют советской власти больше вреда, чем разные НТС, Би-Би-Си, «Свободы» и пр., и пр., вместе взятые.)

Пусть «Новый мир» снова напечатает произведения Солженицына. Пусть Г. Серебрякова издаст в СССР свой «Смерч», а Е. Гинзбург «Крутой маршрут» — все равно их знают и читают, что греха таить.

Я живу в провинции, где на один электрифицированный дом — 10 неэлектрифицированных, куда зи-

мой-то и автобусы не могут добраться, где почта опаздывает на целые недели, и если информация докатилась самым широким образом до нас, можете представить, что вы наделали, какие семена посеяли по стране. Имейте мужество исправить допущенные ошибки, пока не впутались в это дело рабочие и крестьяне.

Я не хотел бы, чтобы это письмо обошли молчанием, ибо дело партии не может быть частным делом, личным делом и тем более второстепенным делом.

Я считаю своим долгом коммуниста предупредить Центральный комитет своей партии и настаиваю, чтобы с содержанием этого письма были ознакомлены все члены ЦК КПСС.

Письмо адресовано тов. Суслову именно с этой целью.

С коммунистическим приветом!

И. А. Яхимович,
председатель колхоза «Яуна Гварде»,
Латвийская ССР, Краславский район.

29 января 1968 г.

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА М. САДО

Голубушка Елена!

Поздравляю Вас, а также Ваших маму и папу с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю вам всем доброго здоровья и счастья в наступающем году. Пусть этот год вернет вам Юру, внесет радость в вашу семью.

С уважением к вам всем

М. Садо

28. 12. 1969 г., Барашево, Мордовия.

ОБРАЩЕНИЕ Ю. ГАЛАНСКОВА В МКК

Международный Красный Крест
Комиссия по правам человека

Обращение

19 января 1967 года я был арестован. Нахожусь в заключении шестой год.

Я болен язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. Из пищи, которую я получаю в заключении, могу есть только незначительную часть, поэтому изо дня в день я недоедаю. И в то же время условиями строгого режима я фактически лишен какой-либо реальной возможности получить необходимые мне продукты питания от родных и близких. У меня мучительные вечные боли, поэтому ежедневно я недосыпаю.

Я недоедаю и недосыпаю уже пять лет. При этом я работаю по 8 часов в сутки.

Каждый мой день — мученье, ежедневная борьба с болями и болезнью. Вот уже пять лет я веду эту борьбу за здоровье и жизнь.

Я молчал пять лет. Все эти пять лет меня не покидала уверенность, что компетентные судебные и государственные органы наконец-то более реалистично осмыслят сложившееся положение. Но пошел уже шестой год мучений. Мое здоровье непрерывно ухудшается. В результате систематического многолетнего недоедания, недосыпания и нервного перенапряжения процесс язвенной болезни осложнился заболеванием печени, кишечника, сердца и т. д.

Пять лет меня мучили в заключении — я терпел и молчал.

Оставшиеся два года меня будут убивать. И я не могу об этом молчать, ибо под угрозой не только мое здоровье, но и жизнь.

Обращаясь с этим заявлением в Международный Красный Крест и в Комиссию по правам человека, я

хотел бы через эти международные организации обратиться к международной общественности с просьбой — обратить внимание соответствующих государственных и судебных органов СССР на невыносимость моего положения.

Ю. Галансков

Мордовская АССР, Зубово-Полянский район,
пос. Озерный, учреждение ЖХ-385-17-а.

Февраль 1972 года

ПИСЬМО В. АБАЛЬКИНА ЕЛЕНЕ ГАЛАНСКОВОЙ

Здравствуйте,

Елена Тимофеевна!

Вы не знаете меня и никогда обо мне не слышали, но это и не важно, я пишу Вам потому, что знал Вашего брата Юрия, провел с ним много времени вместе, спал в одной секции, ел за одним столом. Теперь Вы поймете, почему я пишу, ибо это письмо не соболезнование, т. к. он живой для нас и в смерть его я не хочу верить. Мне очень запомнился один день: 18 июня этого года. Тогда мы праздновали, в кругу друзей, его и мой день рождения, решили объединить и перенести на воскресенье, у меня 15 июня, исполнилось мне 26 лет. Мы желали друг другу счастья и долгих лет жизни, и никто из нас, из тех, кто близко знал Юрия, не мог предвидеть, что все кончится так печально. Он был весел, пел под гитару, декламировал стихи, но нет-нет, а появлялась на его лице гримаса боли, но он тотчас гасил ее и снова был весел, только тот, кто знал его долго и близко, мог заметить это. Часто мы с ним собирали травы, настои от которых помогают от желудочных заболеваний. И тогда он был весел, жизнерадостен. Трудно найти такого безотказного человека, как он,

доброе, миролюбивое и прямого, он любил людей всех, и хороших и плохих. Все к нему шли за советами и знали, что он не откажет, знали и те, которые пользовались всеобщим неуважением, он был со всеми добр. Когда узнал о том, что он умер, я не поверил, да и сейчас считаю, что это просто ошибка. Не мог умереть Юрка, Юрка, который мог заставить забыть любого невзгоды и боль так же, как заставлял себя. Я часто думал, откуда в таком худом, физически слабом парне столько внутренней силы, но так и не нашел ответа на этот вопрос. Мы все помним его, мы все не верим в его смерть, для нас он живой, и всегда, когда мы собираемся вместе, мы говорим о нем, он с нами, он частица нашего общества, которое без него уже имеет не ту цену. У меня мало было друзей в жизни, да и те не прошли испытания временем, и если б я искал друга, то хотел бы, чтобы он был таким, как Юрка.

До свиданья. Привет Вам от всех, кто знал его.

Витольд Абалькин

29. 11. 1972

Г. Кагановский
ПАМЯТИ ЮРИЯ ГАЛАНСКОВА

*«Не я корчусь от боли —
нация больна.
А я лишь — мгновенное ее
выражение».*

(Из письма Ю. Т. Галанскова, 1971 г.)

В глухой Мордовии
есть малый бугорок.
Его еще травой украсить не успели.
Нет имени на нем
и нет к нему дорог.
В нем спрятано
измученное тело.

Березовый топорный светлый крест,
луной облитый,
мягко стелет тени.
На комья глины сеется с небес
слепое безысходное смятенье.
Был человек —
и сын, и муж, и брат.
Он в колокол Любви
сзывал весь мир на Вече...
Вдруг смолкло все,
руинами скорбят
родные переулки Москворечья.
Он из дому ушел
не волею своей,
не волею своей в чужой земле остался.
Уже в ночи не щелкнет соловей —
в стальные рифмы,
как в силки попался.
Был человек —
и сын, и муж, и брат.
А ныне крест,
как изваянье птицы.
Вчера на том кресте
он был распят,
а завтра —
будут на него молиться.

19-20 ноября 1972 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЖЕНЫ И МАТЕРИ Ю. ГАЛАНСКОВА

От Тимофеевой О. В., прож.
Москва, ул. Кирова, д. 26-а, кв. 14
Галансковой Е. А. прож.
Москва, 3-й Голутвинский пер.,
д. 7/9, кв. 4

З а я в л е н и е

Нам стало известно, что ГАЛАНСКОВ ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, отбывающий наказание в учреждении ЖХ/365, в феврале отправлен в тяжелом состоянии в больницу в связи с резким обострением язвенной болезни. Мы обращаемся к Вам со следующим заявлением.

Язва двенадцатиперстной кишки была у Галанскова диагностирована еще задолго до ареста (он был арестован в январе 1967 г.), однако в связи со специфическими условиями, в которых он оказался после ареста, его болезнь начала все более и более обостряться. В дальнейшем наличие этой болезни было подтверждено и лагерными врачами. (Галансков получает в лагере больничное питание, но не ежемесячно, а через месяц; также его неоднократно отправляли в больницу данного учреждения из-за его постоянно тяжелого состояния и частых обострений болезни). Во время одного из пребываний в больнице врачи даже предлагали ему операцию.

В предпоследний раз Галансков был в больнице с ноября 1969 по январь 1970 г. Тогда врач сказал ему, что состояние его здоровья настолько тяжело, что если его отправят назад в лагерь, то возможно прободение кишечника, после чего его уже не успеют довести до больницы. Однако, несмотря на все это, 16-го января Галанскова привезли обратно в лагерь, хотя у него не прекратились острые боли и он почти не мог есть. Неудивительно, что его состояние после госпитализации

не улучшилось, так как, насколько нам известно, его в больнице совершенно не лечили (там нет даже такого необходимого для язвенников лекарства, как викалин).

Естественно, что в лагере ему стало еще хуже, и через двадцать дней, 4-го февраля, его вынуждены были снова увезти в больницу. К этому времени он уже совсем не мог есть и пить, резко похудел, почернел и мог лишь с трудом передвигаться, согнувшись от тяжелых и мучительных болей (все симптомы свидетельствуют о том, что, может быть, это уже не язвенная болезнь, а, например, опухоль).

Все это приводит нас в отчаяние, и мы просим Вас как можно внимательнее отнестись к этому заявлению, так как от Вашего решения зависит жизнь человека.

МЫ ПРОСИМ:

1. Незамедлительно разрешить нам послать ГАЛАНСКОВУ необходимые ему лекарства (викалин, витамины В₁ и В₁₂ для внутривенных вливаний), которых, как известно, нет ни в больнице, ни в лагере.

2. Как можно скорее сделать ему необходимые анализы и рентген для точного определения его нынешнего состояния, чтобы избежать внезапной катастрофы. Если для этого понадобится помощь более квалифицированных специалистов, просим, чтобы лагерные врачи показали его консультантам из Москвы или, в крайнем случае, Саранска.

3. Предоставить ГАЛАНСКОВУ возможность получать диетическое больничное питание не через месяц, а ежемесячно, так как именно эта резкая смена режима питания особенно мучительно сказывается на состоянии его здоровья. (Если понадобится, мы можем присылать на это деньги).

4. Разрешить нам послать ему дополнительную продуктовую передачу, которая крайне необходима ему в его тяжелом состоянии.

ПОЭТ И ЧЕЛОВЕК

Мы надеемся, что Вы понимаете, что речь идет не о предоставлении каких-то мелких льгот, а о жизни и смерти человека. Убедительно просим Вас помочь нам и предотвратить возможную трагедию.

Галанскова Е. А.

Тимофеева О. В.

13/III-1970 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАТЕРИ И ОТЦА Ю. ГАЛАНСКОВА

В Президиум Верховного Совета
РСФСР гр-ну Яснову.

От Галансковых Екатерины Алексеевны
и Тимофея Сергеевича,
проживающих:

Москва, 3-й Голутвинский пер., 7/9, кв. 4.

З а я в л е н и е

Наш сын, ГАЛАНСКОВ ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 1939 г. рождения, осужден в 1968 году по ст. 70 ч. I УК РСФСР (срок — 7 лет) и сейчас находится в лагере строгого режима в Мордовии (учреждение ЖХ/17-а).

У нашего сына еще до ареста была язвенная болезнь. А в тюрьме и в лагере стало ему очень плохо, все время сильные боли, рвота, есть ничего не может, ночью не спит. Сидит он уже 5 лет, из них больше половины не мог работать из-за болезни, находился в санчасти лагеря и в больнице.

Его отец Галансков Тимофей Сергеевич работает токарем на Люблинском ремонтно-механическом заводе с 1932 года. Мать отработала 28 лет уборщицей, сейчас на пенсии.

Юра — наш единственный сын, а на старости лет наша последняя надежда. В лагере он не поправится, несмотря на лечение, ему становится все хуже и хуже.

Ему необходим домашний уход, диетическое питание. Все это мы пока в состоянии ему обеспечить. Если его сейчас не освободят, то мы боимся, что Юра эти два года до конца срока не доживет и умрет в лагере.

Когда мы к нему приезжаем на свидание, мы видим, как он мучается, ничего не может даже есть, не может с нами разговаривать, все пьет лекарства, от которых ему уже не становится легче.

Мы умоляем Вас *помиловать* нашего сына, спасти его жизнь и нашу.

12. 06. 1971

ОТВЕТ ПРЕЗИДИУМА ВС РСФСР

Президиум Верховного Совета РСФСР

Отдел по подготовке к рассмотрению ходатайств
о помиловании

Москва, Делегатская ул., 3

№ 8 — 3/15187 — 70

21/1-1972 г.

гг. Галанскову Т. С.

Москва, 3-й Голутвинский пер.,
д. 7/9, кв. 4

В связи с Вашей просьбой о помиловании ГАЛАНСКОВА Ю. Т. сообщаем, что вопрос о помиловании осужденного может быть рассмотрен по получении его личного ходатайства.

Личное ходатайство осужденный должен передать администрации места заключения, которая приложит к ходатайству характеристику и другие необходимые документы и направит весь этот материал в Президиум Верховного Совета РСФСР.

Зам. заведующ. отделом (подпись)

Письма Ю. Т. Галанскова из лагеря

Здравствуйте все!

Всех целую, обнимаю, жму руки — кого как. Милая мама и драгоценный папа мой Тимофей Сергеевич, две мои Аленки, одна из которых Лена, я постоянно думаю о всех вас и всех своих друзьях и знакомых.

Когда я ложусь спать, я говорю: «Спокойной ночи, мама, спокойной ночи, папа, спокойной ночи, Оленька, спокойной ночи, Леночка, и далее я говорю спокойной ночи всем, кого уважаю и люблю. Так что многие даже не подозревают, что ежедневно несу их в сердце своем. Ну, ладно...

Мама и папа, живите дружно. (...)

Да, Оленька, не понимаю я, о какой работе ты все время мне пишешь. Да вы что там, все очумели от жары, что ли? Какая работа, какой Красноярск? Да в своем ли ты уме! Послушай-ка ты, женщина, жена и личностная персональность. Да ты что? Да не давала ли ты каких-нибудь там подписок всяким административным дуракам? Напиши-ка мне, кто и что тебе сказал, откуда вообще идет весь этот бред собачий. Да ты что, не знаешь разве, как в таких случаях нужно поступать? Во-первых, нужно просто посылать к е. м., а если это не поможет, посылать со всей силой, на которую способен человеческий голос в горах. (...)

Между пр., Аленка, я писал тебе в письме из изолятора, что в изоляторе мне снился сон: я нарвал много-много цветов, всяких ромашек, васильков, колокольчиков, и в эти цветы бросил тебя, и ты великолепно в них барахталась. Потом я сплел из ромашек и васильков (и еще из листьев) красивый и гордый веночек тебе

на голову (белые ромашки на темных волосах). Еще я сделал тебе юбочку из листьев, травы и цветов. А еще из листьев и травы кусок широкий ленты на грудь, которую мы завязали у тебя на спине, и получился большой красивый узел между лопаток, который как-то украсился (сам собой) алым цветком. И еще в этих цветах мы ели землянику с молоком и грызли орехи (обыкновенные, наши лесные). (...)

Кстати, Оленька, «Науку логики» Гегеля мне нужно прислать в лагерь. (...) Аленка, когда у тебя будут деньги (их можно взять у моего отца в день полочки, когда он часть денег прячет от матери куда-нибудь в дырку), купи всего Канта (кажется, выходит 10-томник, точно не знаю) и всего Гегеля... (...)

Аленка, скажи Минне, чтобы она по возможности присылала мне новинки скандинавской литературы, библиографию выходящей на русском и не русском языке скандинавской литературы, можно кое-что (дешевое) присылать на шведском языке. (...)

Мой день рождения прошел здесь хорошо. Мы сделали салат из крапивы, одуванчика, петрушки, укропа, ромашки. В эту залянь мы положили рыбные консервы в томате и залили всю эту прелесть подсолнечным маслом. Было очень вкусно. (...) Мне сделали подарки. Леша подарил мне банку сгущенного молока еще из лефортовских запасов и кiset табаку тоже из тех же запасов. (...)

Оленька, чувствую себя так же. Лечусь. (...) Пришли, пожалуйста, конверты хорошие для писем тебе и обыкновенные для писем разным бюрократам. (...)

Чудаки вы, что вы там скромничаете и мало пишете. Пишите о жизни. Можно подумать, что люди живут где-то в воздухе, вне семьи, вне города, вне друзей, без осязаемых форм и связей личного бытия. Пишите о здоровье, о работе, об отдыхе, о радостях и бедах, о любви, о винах, о кино, о погоде, о природе, о детях, о науке, о литературе, о религиозной философии,

о театре. Можно подумать, что у нас здесь сидят не цензоры, а тигры, которые того и гляди вцепятся вам в руку, если вы будете писать мне о любви, о кино, о своих детях, о своих выпивках. Да вы что, живете в лохматом веке!? Цензуру не интересуют человеческие вещи. Цензура, она для того, чтобы люди не писали ничего противозаконного. А ничего противозаконного я и слышать не хочу! Меня интересует жизнь во всем своем многообразии. Я хочу знать, кто кому морду набил и кто когда какое стекло разбил. Кто женился, кто развелся, кто пишет стихи, а кто пьет водку, кто сволочь, а кто хороший человек, кто живет в этой жизни и мимо кого эта жизнь проходит.

Я люблю созидание. Когда люди создают свое утро, свой день, свою семью, свою радость, свои трудности, свое человеческое Я и движутся в процессе созидания своего человеческого достоинства. Вся наша жизнь — суть движение в дебрях социальных форм и социальных связей. Наши чувства и наши реакции всегда преломлены сквозь удивительную социальную призму бытия. Наша жизнь многообразна. Многообразны специализации человеческого чувства и разума. В жизни есть логика и жизнь удивительно алогична. Опыт мало чему учит людей, и в то же время опыт обогащает наше подсознание и сознание, жизнь развивает или разворачивает наши чувства и наоборот — воспитывает культуру наших чувств, подавляет наши природные инстинкты и замещает их комплексом социальных связей инстинктов. Теряются наши связи с природой, и в то же время мы рвемся вперед к природе. Мы много говорим о разуме и знаниях и на 99,9% живем инстинктами, поэтому наша жизнь сумбурна, и если кажется, что кто-то живет четкой размеренной жизнью, то это иллюзия, это только кажется. Жизнь всегда продолжается (если взять личностный аспект), меняются только ее формы: жизнь на севере или на юге, дома или не дома, рядом с любимой или вдали от нее. Жизнь — это вдрут

переходы из одной плоскости в другую и движение дальше. Упал, нужно встать. Остановился, отдохни и иди дальше. Движение в движении, движение в покое, движение в себе и движение вокруг, удар, падение, полет, полет кувырком, ударился — лечись, больно — кричи, весело — смейся.

Иногда обыкновенную головную боль или обыкновенный кувырок в полете принимают за трагедию жизни. Глупцы. Жизнь сама по себе трагична и комична. Жизнь — то, что она с нами делает, и то, что мы делаем из нее. Поэтому я люблю человеческое созидание, созидание строительства и разрушения. Да, да, есть созидание разрушения. Есть созидание счастья через радость и одинаково — через трудности. Только не нужно опускаться до пошлости, а пошлость многообразна. То там, то здесь она ловит человека в свои сети, разлагает его чувства и его разум, превращает в живой труп, неспособный восхищаться зеленью и солнцем, противостоять подлости и глупости. В каждом из нас есть компас совести, он почти всегда говорит нам правду, и нужно руководствоваться этой совестью, и будет счастье, даже если будет трудно, и будет легко, даже если будет тяжело. Каждый, очевидно, замечал, как легко можно носить тяжести и как трудно порой нести самую легкую ношу. Нужно думать; думая, человек вырастает в жизнь, как дерево корнями в почву, и только крепость ствола и сочность кроны обнаруживает эффект чувства и мысли. Разговорился я. Кончаю.

Теперь просьба, Оленька, пусть-ка эти Батшев, Губанов, Делонэ напишут мне. Я хочу прочитать их письма. Я хочу видеть то, что они мне напишут, и тогда я прочту то все, что они скрывают от меня. (. . .)

Аленка, меня интересуют вопросы социальной психологии, медицинской психологии (правда, такой науки еще нет, а психиатрию как таковую я не имею в виду), психология труда, инженерная психология, психология искусства, социальные неврозы. Пусть кто-

нибудь напишет мне о состоянии в этих областях. Собственно, в отечественной психологии у нас, очевидно, ничего нового нет. Если будут какие-либо переводы по психологии, покупай и пиши мне, я напишу: прислать или не прислать. Покупай книги по биологии, генетике, особенно по демографии. У нас эта литература должна вот-вот быть, и ее нужно покупать. Но тот, кто интересуется всеми этими вещами, мог бы написать и писать об основных тенденциях в деле развития этих научных специальностей. Вот еще важное дело — логика. У нас она совершенно не развивалась, но сейчас в этом деле наблюдается прогресс. Известно, что в мировой логике существует несколько тенденций, т. е. диалектическая логика, чистая логика, психологическая логика и т. д. Если кто-нибудь сможет достать книги современных западных логиков (сейчас их должны начать переводить), то это было бы большое дело. Очень интересны западные логики, начиная с двадцатых годов. Иначе говоря, и в науке логике было несколько школ, и все они развиваются по сей день. Разумеется, никакие учебники логики и психологии мне не нужны, меня не интересуют. Не представляют для меня никакого интереса все работы наших логиков за период с 29 по 64 год. В отечественном процессе развития этих наук интересно иметь представление о *тенденции* их предполагаемого развития. Но, Оленька, конечно, это не сразу. Постепенно, при случае, не напрягайся. У тебя и так забот полон рот. Будь умницей, думай серьезно. Суэта и интрига, конечно, противны, но умей находить в каждом человеке его человеческое достоинство. Умей выделить в человеке положительное и на уровне этого положительного разговаривать с человеком. Конечно, иногда, наоборот, бывает нужно выделить в человеке отрицательное и показать это отрицательное или исключительно этому человеку или всем. Это все сложно и все же это очень просто, если не быть

злым, глупым, усталым, если самому при этом быть человеком хорошим и умным.

Оленька, не сердись на меня за нравоучения, но жить с людьми — это дело очень трудное. В то же время и жить без людей человек не может. Обычно ведь люди очень примитивно смотрят, живут среди людей и поэтому бывают *сами несчастны и делают несчастными других*. Примитивно в смысле глупости, астероидности, наглости, хамства, крайней слабости или крайнего цинизма. Уважай людей и требуй от них уважения к тебе, принуждай людей к самоуважению своим человеческим отношением к ним. Аленка, все это сложные, *очень не простые истины* (как это может показаться). Ввиду их сложности в мире и творится столько глупости и зла, начиная от семейных драм и кончая войнами. (...)

16 июня 1968 года.

С Новым Годом!

Папа, мама, Лена и Юрочка.

Я только что пришел с работы. Когда сосчитают всех, мы вернемся в барак, возьмем хлеб и пойдем ужинать в столовую. Сегодня после ужина будет кино (кино нам показывают ... (вымарано цензурой)).

После ужина у нас свободное время, и мы можем читать. Но у нас так не получается. После ужина мы, т. е. Юлик, Виктор, Сережка, Валерка, Ян, Алька и я, пьем чай с хлебом и маргарином и еще кофе — из одной большой кружки (кружка ходит по кругу). После кофе мы разговариваем, шутим, курим, а потом уже начинаем читать книжки, газеты, журналы, писать письма или спим.

Мамочка, для маленького Юры нужно обязательно сделать маленькую елочку. Он, конечно, ничего не понимает, но все равно ему будет хорошо. Он будет улыбаться и шевелить ручками...

Мамочка, напеки пирогов (хорошо бы с яблоками) и отнеси Кате с Митей. Только побольше, целую кастрюлю. Мамочка, купи им *хороших* конфет на елку. Только обязательно хороших конфет. И еще маленьких мандаринов.

Мамочка, когда Катя с Митей будут заходить к тебе, ты обязательно корми их. Ладно? (...)

Леночка, спасибо за фотографию. Напиши мне письмо. Не ленись. (...) Не будь бабой, а будь женщиной. Но учти, что женщиной быть не так просто. Баб много, а женщин мало. Мужикам от бабы нужен только «шерсти клок». Женщин же они уважают, и любят они только их. Не бывает просто красивых баб. *Всякая женщина становится красивой, если ее изнутри озаряет ее собственная человеческая красота.* Запомни это хорошенько. Большинство девчонок украшает себя тряпками и красками, но от этого они не становятся красивыми. Это самое большое заблуждение всех баб. У Заболоцкого есть стихотворение:

Что значит красота? Сосуд?

Или огонь, мерцающий в сосуде? (...)

Мамочка, одет я тепло, не мерзну. Желудок болит не очень. Чуть-чуть. Ты не волнуйся. Береги свое здоровье. Пиши мне чаще. Я люблю твои письма. Все твои письма я получаю. Я получаю все твои бандероли. Приезжайте.

12/12-1969 г.

Здравствуй, мама.

Все мы болели гриппом, но сейчас уже больше не боеем. Переболели. С 10 марта мне будут делать уколы В-12. Для желудка это полезно. (...)

Вчера была суббота. Вечером пили кофе, думали и говорили о китайцах. Мамочка, их так много, жрать им нечего, вот они и не знают, что им делать. Устраивают скандалы на границе, мало им этого будет, устроят войну. А по радио все чаще поют песни про родину, про Россию, про русский народ — это для бодрости... А потом, попивши кофе, мы играли музыку и пели. К нам из другого лагеря привезли двух ребят — ленинградцев. Они называют себя социал-христианами, утверждают, что православие — это мышление русского народа и что Россия спасет мир от всякого разврата. Так они думают, и они очень верят в это. Только говорят обо всем этом они сложнее и умнее. Ребята хорошие. Один из них учитель, он работал в школе, а другой окончил Восточное отделение Ленинградского университета, аспирантуру и был преподавателем на этом восточном отделении. Его зовут Слава Платонов, а его приятеля — Леня Бородин. На меня они сразу же напали: почему это я не пою русских песен. Леня Бородин играет на гитаре. И вот в две гитары и мандолину мы весь вечер играли и пели песни. А потом пошли спать. Пою я плохо, но когда все вместе, все нормально получается. (...)

Мама, вот только скажи Аиде, чтобы она спросила у Минны, — нет ли у нее стихов Волошина. Если есть, то пусть пришлет. Если нет книжки, то можно напечатанные на машинке или рукой написанные. (...) Спроси у Аиды, нет ли у нее книг русских философов. Я у нее уже об этом спрашивал, но она могла не обратить на это внимания. (...) Я прочитал ее книжку «Интуиция и наука». Боже мой, какая это скука — почтенный профессор долго и нудно излагает свои мне-

ния о том, что интуиция — это не интуиция, а если она и интуиция, то она не то, что о ней думали и думают. И на каждой странице все одно и то же. А Аида писала мне, что она прочла эту книжку с интересом. Пусть уж лучше она пришлет мне Соловьева. (...)

Лена, забрал ли Женька словарь Даля. Кажется, забрал. Но нельзя ли у него этот словарь попросить или купить. Тебе, конечно, нельзя, но ведь можно же послать к нему кого-нибудь. (...)

Сходи с мамой в аптеку, покажи ей, какие бывают витамины. Или как можно чаще покупай их мне сама. Они дешевые. (...)

29/III-69 г.

Здравствуй, милая мама.

Сейчас мне сделали укол атропина, и мне стало легче. Можно нормально писать. Я лежу в центральной больнице, как это было летом прошлого года. Вечером 17-го ноября меня привезли сюда, а до этого я несколько дней лежал в лагере (в стационаре). Мама, дорогая, ты, пожалуйста, не волнуйся. У меня осеннее обострение язвы 12-типерстной кишки. В прошлый раз меня подлечили, будем надеяться, что и сейчас подлечат. Погода сырая, на улице не очень холодно. Но все равно скоро зима возьмет свое, начнутся морозы, как и должно быть в декабре. Пусть Арина не волнуется, жизнь идет своим чередом при всяких обстоятельствах и во все времена года, как, собственно, она и должна идти. (...)

Мама, хорошо, если бы вы сходили с Людмилой Ильиничной, или с Ариной, или с Геннадием, или еще с кем-нибудь за посылкой в МВД в санитарный отдел (или как он у них там называется?) и обратились за разрешением прислать мне посылку или привезти прямо на общее свидание передачу ввиду моей болезни

для целей лечения (т. е. масло, перетопленное с медом, со столетником и т. д.). Нужно подать об этом письменное заявление. Они вполне могут разрешить, если захотят. Ну, а если не захотят, то пусть этим вопросом займется Оля. Она мне обещала. Обязательно пусть Аида поговорит с ней по этому вопросу. (...)

Только плохо очень, что наши знакомые почему-то друг на друга сердятся, не доверяют друг другу, не уважают и не любят друг друга. Я говорю им всем, что это очень досадно и в конце концов вредно. Я хотел бы сказать им всем без исключения: самые трудные ситуации, которые кажутся неразрешимыми, с точки зрения индивидуального сознания, чаще всего разрешаются совокупностью быстрых и энергичных действий каждого. Чаще всего человек думает, что он не может сделать всего, поэтому не делает ничего, в то время как именно необходимо, чтобы каждый делал что-то посильное и доступное для него, не обременяющее его лично и не осложняющее его жизненного положения. Плохо, что люди не понимают, что это нужно. И еще хуже, что люди не понимают, что это можно. И даже только это минимальное необходимо и достаточно. Я писал как-то о цитатах Ф. М. Достоевского. (...)

Мама, что-то в последнее время ты мне реже пишешь. Пиши, пожалуйста, чаще. И папу заставляй. А Ленку я прямо прошу писать мне чаще. Две ее поздравительные открытки я и Алька получили. Получил я оба письма от Володи О. Очень хорошо, что во втором письме он пишет не о прошедших пустяках, а по существу настоящей жизни. Пусть он пишет мне чаще. Только пусть он не думает, что я обсуждаю здесь всякую прошлую шелуху со своими друзьями. Вовсе нет. Я передаю ему всякие приветы. Редкие письма от Геннадия я получаю. Получил и последнее его письмо, которое написано по возвращении с юга. Только удивляюсь я, почему он не заходит к Аиде, в свое время я

набью ему за это морду, и при этом ему будет очевидно, что я окажусь тысячу раз прав. (...)

А сказала ли ты моим знакомым, чтобы они тоже завели у себя столетники для меня? Говорят, что Л. И. предпочитает возиться с кошками. Скажи ей, что против ее кошек я не возражаю, но отказываться при этом выращивать столетники для моей язвы не совсем правильно. (...)

Мама, скажи Тане, чтобы она мне писала. Я буду ждать ее писем. Я извиняюсь перед всеми, что никому не пишу.*) И пусть Таня не думает, что я на нее обижаюсь или не хочу ей писать. Нет, дело совсем не в этом. (...) Сейчас ночь. Темно. Почти не видно слов. Пишу при свете уличного фонаря (из окна), подложив книжку: Леопольд Стоковский «Музыка для всех нас». Приятная книжка. Еще у меня с собой книжечка стихов Бодлера. Книг я с собой не взял. Сначала мне сказали, чтобы я собрал все свои вещи. Я все сложил и книги уложил в ящик. Но когда приехала машина, выяснилось, что всех вещей брать не нужно. Поэтому пришлось книги оставить. Успел прихватить только эти две книжки. А без книг скучно. Да и вообще скучновато одному без ребят. Вот только Мишка Садо меня навещает вечером. Заварил бы я ему кофейку, да нет у меня кофе. Я свою долю отдал Юрке Иванову, а то ему в Саранске без кофе трудновато будет. Он без этого не может. Привык. Был бы здесь Николай Тарнавский или Славка Айдов, уж они-то нашли бы заварку раз в день. Но и Николай и Славка рядом в рабочей зоне, из которой к нам в больницу ходить нельзя. А славные они ребята! (...)

26-го ноября 1969 года.

*) Политзаключенным разрешено писать 2 письма в месяц на строгом режиме и 1 письмо в месяц — на особо строгом.
— Р е д.

Здравствуйте, мама, папа и Леночка.

Более 3-х месяцев я чувствовал себя нормально, но в конце августа опять разболелся желудок. Дня три или четыре лежал в стационаре в лагере, а в первых числах сентября меня срочно увезли в больницу (...). Со здоровьем у меня здесь в больнице несколько лучше. Если так же будет и в лагере, то жить вроде бы можно. Но ведь сейчас осень, и можно ожидать всякого обострения. (...)

Вот только что узнал: меня выписывают завтра — 25-го сентября. Я не думал, что выпишут в эту пятницу. Для язвенного обострения 3 недели лечения — это не очень-то нормально. И даже смехотворно. Однако пусть так. Если в лагере не очень будет болеть, то можно будет жить и там. Если же в лагере опять будет очень плохо, то я возьмусь за это дело серьезно. Я их как следует спрошу, можно ли лечить язву за три недели без специальной диеты. И всякое другое. (...)

Вечер, 24-го сентября 70 г.

Не знаю, к сожалению, Вашего отчества, поэтому просто — Женя. И хочу на ты...

Спасибо за письмо. Я его все время ношу при себе и иногда перечитываю, ибо оно от вас. И это для меня драгоценно.

К сожалению, я вряд ли могу писать о Боге и христианстве, ибо я если и не атеист, то в своем роде язычник, что ли... Но я, конечно, и христианин, ибо наша культура сложилась в лоне христианства. Только в этом смысле. Сразу же хочу сказать, что еврейские проблемы меня интересуют только в силу того, что они самым странным для меня образом возникают все вновь и вновь, возникнув однажды в недрах теологической мистики. Как-нибудь я могу написать об этом

более пространно. Да и есть такая необходимость, кажется... (...)

Уже глубокая ночь, и голова моя гудит. Обнимаю.

Юра

24-го сентября 1970 г.

Здравствуйте, мама, папа и Леночка с Юрой.

Всем привет. 12-го марта я приехал из больницы. Последние две недели (в больнице) чувствовал себя хорошо, через три дня опять начались боли, но терпимые. На стенку не лезу. Ох, как надоело болеть... Ехать ли в Ленинград? Я и сам не знаю. Резать себя я не очень-то жажду и верю, что дома можно было бы вылечиться без операции. Например, в одном журнале («Урал») пишут, что методом магнитотерапии такие болезни, как язва и пр., излечиваются бесследно... (...). С Ленинградом... Если пошлют, то поеду. Нуждаюсь в диагностике и т. д. (...)

Читаю журналы, Люсину книгу «Парапсихология» (которую я взял) и только что полученную книгу «История и психология» (книга-почтой). Занимаюсь Достоевским, выбрал очень сложный ракурс проблематики. Замучился. (...)

Озерный, 29-го марта 1971 г.

(...) Христианско-иудейский миф сделал гонимыми евреев на многие века. Чем может кончиться очередной теологический эксперимент? Конечно, приятно осознавать себя Богом избранным народом в государстве Великом Израильском. Но ведь это может вдруг оказаться забавным, как старинный сюртук на

столетнем монстре. А соседство арабов? Не очень-то удачное соседство.

Интересно впечатление «съесть друг друга» — не случайное ли? Может быть, это просто показалось? Или это действительно так? Мрачные всходы, весьма. Если вредное семя прорастает только вглубь, его легко срезать. Когда же оно разрослось вширь, приходится косить. Невеселая жатва!

Все это я пишу тебе и только тебе. Все это не для идиотов. А то не поймут ничего и переврут десять раз. Ясно? Хотя, пожалуй, А (.) можно показать. Я хотел бы знать, что она об этом думает. Ибо она способна думать. Ее человеческое качество таково, что для меня важно ее мнение.

Можно было бы дать и Влад. Ник., но он в этом вопросе любит только радикальные ракурсы. Выясняющий ракурс этой темы его может только рассердить. А я не хочу подрывать его здоровье. (...)

Сашу Харитонова я, может быть, и видел у Минны на Арбате. Что-то вспоминаю, по-моему, это был он. Кто же еще мог быть? Плавинский? Нет. Олег Целков? Нет. И не Зверев. Разве что Кулаков... Славное время было! Минна молодая, пухленькая, розовощекая. Предупредительная, внимательная ко всем. Ходила в деревенском полушубке, оставаясь при этом элегантной. (...)

Меня она прихватила и опекала. Давно это было. Я еще в школе учился, случайно пошел в литобъединение при «Московском комсомольце». Руководил объединением М. Максимов. А тон задавали там всякие Фирсовы и Шефераны, Хромовы, Гриценки, Красавицкие. И даже Леня Ч. однажды явился. Отругал Марка Максимова, набросился на Курганцева (сейчас он переводчик, иногда встречаю его переводы стихов с арабского (.) (...)) И вот Минна Стефановна поволокла меня по кочкам... Заезжала домой или оставляла запис-

ки. Например, позвони туда-то, будет день рождения у такого-то. Или: поедем посмотреть картины такого-то (...)

Погодка у нас еще сырая. И морозно ночами. Правда, в стационаре тепло. Печи хорошие. В ящиках набирает силы цветочная рассада. Только что половина неба была темная, а половина — солнечная. Красиво. Думал, что пойдет дождь, но он не пошел. Радуга была во все небо. Генка Гаврилов стал объяснять мне, что такое радуга. Говорит, воздух насыщен, пары, конденсация, линза. Я ему говорю: «Да не может быть, какие пары, какая конденсация, какая линза, когда на небе радуга...»

Вот только что зашел человек, и Геннадий Владимирович вопрошает: «Дядя Миша, видели, была радуга?» Я перебиваю и возражаю: «Какая радуга? Никакой радуги не было. Был воздух насыщен, пары, конденсация, линза. В чем дело, Гаврилов?!» Он улыбается. Лежит на животе, читает всякие ученые книжки. А сейчас читает «Логику» Гегеля, выписывает, систематизирует, превращает в формулы. За день он пишет по несколько кг. цифр и значков всяких. Создает свою «Глобальную логику». Любимое мое занятие — издеваться над ним. Любя, конечно. Вот и сейчас, на ужин принесли селедку. Гаврилов ковыряется у тумбочки, а потом спрашивает: «А где соль?» Я сразу же вопить: «Дайте Гаврилову соли, он хочет селедку посолить». И вот так во всем. Генка — крепкий парень, бывший морской офицер. В Эстонии, где он служил, осталась его жена и девочка Любаша (...). На следствии у него началась аритмия. И вот сейчас сердце побаливает, кислотность нулевая, в брюхе что-то болит, голова. От волнений и переживаний всяких это. Читает и пишет много.

(...) Один латышский священник говорит, что радуга — это Божий пояс. (...)

(...) Обнимаю вас всех. Ваш Юра.

...Ах, МИННА, Минна! Что говоришь ты? Как могу я забыть юность свою, и было бы в ней столько всего красивого и хорошего, — если бы не ты? Должно быть, Господь Бог послал мне вас с Валентином. И вы с ним — добрые Ангелы моей жизни. Моя юность... Она, как серебряная рыбка, задыхалась бы в каком-нибудь помойном ведре, если бы не ты. Твои птицы-записки прилетали ко мне и уносили меня на своих крыльях в поэзию, в живопись, в жизнь. Твой зовущий голос вдруг слышался в телефонной трубке и приглашал на чей-нибудь день рождения, на какой-нибудь вечер, на выставку, к кому-нибудь, куда-нибудь. Разве не ты каждый раз протягивала мне руку, звала, увлекала... И в конце концов вытащила из трясины, которая засасывает и губит людей миллионами. Разве не ты — спасла? Спасла для жизни, для видения ее многоцветья, ее острых граней, раздирающего драматизма. (...)

Сижу на работе, шью рукавицы. Часов в десять, случайно, посмотрел в окно. Бог мой! Надел шапку, укутался в шарф, выбежал на улицу. Под золотым солнечным небом покрытые снегом розовые крыши. Вот оно! — обрадовался я. Присмотрелся и вижу — из труб валит фиолетовый дым, а северо-западная часть неба — сиреневая. А какие были закаты в первых числах января! Даже малиновые. (...) В Сочельник вспоминали о родных и близких, о дорогих нам людях. И мы вспомнили. Помнишь, у Гельдерлина:

Там повстречают меня
голос Родины,
матери голос.
Звук, пронзивший меня,
и стародавнее вновь мне воротивший!
Вы живы, родные.

Да, все цветет, что цвело,
но любящих всех и живущих
верности вечный закон
свято хранит от беды.
И единственный дар, под священной
радугой мира
явленный,
всех наградит — юношей и стариков.
Речь бессвязна моя.
Но это от радости.
Завтра. Выйдем мы снова бродить
в наши живые поля.
Там, под цветами дерев,
в дыханье праздников вешних,
заговорю . . .

Да, завтра... Заговорю ли? Иногда это меня беспокоит, даже невероятным кажется. И в то же время есть вера и уверенность. И как мне знать, что значит беспокойство и вера, какая в этом связь? Что беспокоит веру?

Сегодня 20 января. Завтра еду в больницу. 19 января — осталось два года. Сегодня уже меньше, а с весной на лето останется еще меньше. (. . .)

20 января 72 г., пос. Озерный. Ю.

«Честь и достоинство! И не во имя чести и достоинства, не самоцель, не самолюбие и тщеславие, а просто — должен же быть кто-то выстоявший, кто бы имел право говорить».

27 февраля 71 г.

Отрывки из письма к А. Тапешкиной

(Юрий комментирует газетную заметку, приклеенную им к письму, о рождении в Польше пятерых близнецов одновременно). Ничего себе! За один раз — сразу пятерых. И трое из них — будущие солдаты. (...). А девочки, должно быть, пойдут в маму и будут столь же плодовиты. Славянам это невредно. А то плодятся сплошь желтолицы. Нарушено всякое равновесие и смещены все демографические пропорции. Нет, это невозможно. Так дело не пойдет... (...). Нет, могучий человек был Федор Михайлович. Ну, ладно. А впрочем, если настроение будет, черкни несколько слов из своего кукуевского озера. Не забывай, что такие эстеты, как Ф. Тютчев, иногда позволяли себе пускаться в имперские рассуждения:

«Славянские страны дроби, а Россия — знаменатель, и только подведением под этот знаменатель может осуществиться сложение этих дробей». (Цит. по книге К. Цигарева «Жизнь и творчество Тютчева», стр. 157).

А это подведение под общий знаменатель Тютчев понимал весьма решительно:

«Расширение России Тютчев понимал как «громадное воссоединение», в результате которого погибли и исчезли ОТ ЕЕ РУКИ все встреченные Россией на своем пути противоестественные стремления, правительства и учреждения, изменившие великому началу, которого она была представительницей». (Полное собр. соч., стр. 451, 1844 год).

А кое-кто поговаривает, что в «государстве нет места поэту». Как видишь, оно есть. Ведь только имея это место, можно мыслить подобно Ф. И.:

«Все что можно было сделать и могло дать нам мирное подражание Европе, все это мы уже получили».

И попробуйте только ему сказать, что у него нет места в государстве, что он занимается апологией России; он вам сразу же влепит:

«Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России — это история, ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу». (Статья «Россия и Германия»).

Конечно, это все мысли Тютчева-дипломата, а Тютчев-поэт, может быть, сказал бы что-нибудь иное. Не берусь судить, но все же думаю, что среди поэтов, как и среди людей, многие не знают своего места, или точнее — не осознают его. Так оно и должно быть, ведь это не так-то просто...

Надеюсь, я тебя в своем имперском качестве привожу в восторг! А как же иначе!? Разве может не восхищаться дама блеском военизированного ума? Да ведь один только мундир... А, что там и говорить... Все это давно известно. (...)

Вячеслав Иванов

У всех нас, по крайней мере, у тех, для кого поэзия и мысль, искусство и любомудрие — не только развлечение, не только эстетские побрякушки, каждый автор входит в нашу жизнь крепко связанным с теми моментами нашего земного пути, когда произошли наши наиболее яркие с ним встречи. Не личные — они ведь даны очень немногим! — но встречи читательские. И обстановка, и время этих встреч во многом определяет и наше не надуманное, а непосредственное отношение к автору, и преимущественную любовь к тем его произведениям, которые пришли к нам в наиболее важные для нас моменты нашей жизни.

Сонный степной городок, весь насквозь пропыленный жгучим южным солнцем, весь во фруктовых садах. Сады несколько умеряют голод лета 1921 года. Гражданская война, разруха, холод и голод разрешили столицы, и в глухomanных до того городах, городках и городишках закипела жизнь, невиданная дотеле — и совершенно невозможная после, когда режим окреп окончательно и пропитал все поры советского прозябания. У нас в городке появились философы и поэты, социологи и артисты из столиц. Возник кружок молодежи — студентов и старшеклассников, собиравшийся в громадном, едва-едва освещенном двумя коп-

К выходу первого тома Собрания сочинений под редакцией Д. В. Иванова и О. Дешарт, с введением и примечаниями О. Дешарт. Брюссель, 1971. — В. Ф.

тящими ночниками зале — бывшем магазине готового платья и мануфактуры. Голод даже обостряет наш интерес к запретной немарксистской философии, к полупрепятиной — во всяком случае, не рекомендуемой никак, — литературе: Достоевскому, символистам. И вот тогда-то попадаетеся нам тот номер «Художественного Слова», в котором были опубликованы — в 1920 году — «Зимние Сонеты» Вячеслава Иванова:

Не сиротеет вера без вестей;
Немолчным дух обетованьем светел,
И в час ночной, чу, возглашает петел
Весну, всех весен краше и светлей¹.

Стихи о зимней стуже, едва одолеваемой печуркой-временкой, и о холоде тех роковых, судьбоносных дней — стихи не только большого художественного накала, не только меднозвучные, с тяжко-звонкой поступью, но и стихи любомудра. Стихи неким старославянским оттенком своего вещания так соответствовали и соответствуют нашему времени, — эти стихи потрясли нас:

Обманчива явлений череда:
Где морок, где существенность, о Боже?
И явь и грёза — не одно ль и тоже?
Ты — бытие; но нет к Тебе следа².

Дотолле я только фыркал, когда шла речь о стихах. Меня влекла карьера философа, и я, через силу преодолевая охоту читать (и даже самому — писать) стихи, аскетически ограничил свое чтение, отгородившись от поэзии толстенными — и скучноватыми порою — увражами немецких мудрецов. И вдруг — стихи воистину

¹ Вяч. И в а н о в. Свет Вечерний. Под ред. Димитрия Иванова. Оксфорд, 1962, стр. 98.

² Там же, стр. 101.

м у д р е ц а. Парящие, невзирая на меднообутую поступь сонета.

А вскоре наш любимец, философ С. А. Ц., не только глубокий мыслитель, но и блестящий лектор, прочитал нам лекцию о Вячеславе Иванове, и мы погрузились в с немалым трудом достанные «Переписку из двух Углов» и «Кормчие Звезды».

Прошли годы, затолканные до отказа ученьем и мученьем, работой и арестами, страхами и стихами, и вот я — зэк Ухто-Печорского лагеря НКВД. Мне повезло: во-первых, у меня — «детский срок» — всего-навсего пять лет; во-вторых, сразу попал в лагерные «придурки» — не на общие физические работы (выжить на них дело маловероятное), а в планово-производственную часть одного из отделений лагеря, обширного, как Франция вместе с Голландией и Бельгией... На одной из командировок лагеря томился тогда бывший археолог, он же и геолог, осужденный по делу Академии Наук — Платонова, Тарле и прочих. Работал там низенький коренастый, с вечной трубкой в зубах и иронически наморщенным обветренным лицом, — бывший помощник Литвинова, бывший старый большевик, бывший редактор «Правды», Адольф Григорьевич Гай (Меньшой) — человек большой культуры и стихолоб с угнетающе обширной памятью. Из лагерей он не выходил с конца двадцатых годов: кончался первый срок — и лагерная коллегия *привешивала* ему срок новый... Работал он статистиком, как и типичнейший скандинавский медведь, добродушнейший и чуть неуклюжий, — бывший офицер царского флота, затем — оперный и опереточный певец, В. Я. А-д. И вот в самый разгар ежовщины, свирепствовавшей и в лагере, среди уже осужденных, сидя на плохо оструганных досках двухъярусных нар в проклопленном бараке, после чуть ли не двенадцатичасового рабочего дня, мы дружно воскрешали в памяти стихи любимых поэтов и даже записывали их на тщательно скрывааемых во время шмонов-обысков лис-

точках. И так удалось восстановить — почти без ошибок — весь венок сонетов Вячеслава Иванова «Два Града»:

Век прористал свой стадий до границы,
И вспять рекой, вскипающей до дна,
К своим верховьям хлынут времена,
О чем кричат пророческие птицы?³

Археолог — мой тёзка — вышел из лагеря раньше меня. Гай-Меньшой умер от цинги, помнится, уже в начале тридцать восьмого года, так и не досидев добавленного срока. Мне удалось сохранить записанные на тонких листках стихи — и даже вывезти их из лагеря.

И как же обрадовался, когда — после освобождения из лагеря — опять повстречался с «Двумя Градами» Вячеслава Великолепного! Было это в Новгороде, зимой 1941 года, в то время — города бывших эков и ссыльных. Сестры Татьяна и Ольга Николаевны Гиппиус, художница («тетя Тата») и скульптор («тетя Ната»), психиатр и литературовед И. М. А., наконец, старый знакомец, статный седокудрый красавец — Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов, талантливый философ, как и все петербуржане выбравший Новгород как «место постоянного жительства» после тюрьмы и лагеря. У тети Таты нашлись и «Переписка из двух Углов», и «Cor Ardens», а у Сергея Алексеевича — аккуратно им переписанные в клеёнчатую тетрадь «Младенчество» и «Два Града»:

Раствления не довершил Содом:
Торопит Зверь пришествие Блудницы.
Восшедшие вослед Отроковицы
На рамена подъяют Божий Дом.

³ Вяч. Иванов. Человек. Изд. «Дом Книги», Париж, 1939, стр. 64.

Ревнуют строить две любви два града:
 Воздвигла ярость любящих себя
 До ненависти к Богу крепость Ада;
 Селенье мира зиждут Божьи чада,
 Самозабвенно Агнца возлюбя.
 Тот умер, в ком ни жара нет, ни хлада⁴.

Да ведь это — лирико-эпическая парафраза Достоевского: «Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил»⁵.

...А Аскольдов еще и тогда говорил нам о Вячеславе Иванове, когда — еще до лагеря своего и ссылки — руководил нашим тайным студенческим философским кружком на берегах Невы. Примерно в 1925 году. Не только горел он тогда религиозно-философским любознательством (гносеологией и обзором философских систем считал, что заниматься несвоевременно: времена если не апокалипсические, то в преддверии их), но и лирико-философскими стихами. И уже тогда твердил ивановские строки:

Молчите... Пятна ль видите распада?
 И хаос муть очей моих смежил?
 И кто в меня святое «Есмь» вложил, —
 Ушел из чешуи иссохшей гада?⁶

Друг Вячеслава Иванова, автор «Мысли и действительности», один из основателей Религиозно-философ-

⁴ Вяч. Иванов. Человек. Изд. «Дом Книги», Париж, 1939, стр. 67.

⁵ Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Т. I, стр. 143. YMCA-PRESS, Париж, 1954.

⁶ Вяч. Иванов. Человек. Стр. 76.

ского общества, Сергей Алексеевич страстно любил стихи и почти наизусть знал «Младенчество»:

Я три весны в раю, и Змия
Не повстречал; а между тем
Завесы падают глухие
На первозданный мой Эдем.
Простите, звери! Заповедан
Мне край чудес, хоть не отведан
Еще познания горький плод:
Скитанье долнее зовет⁷.

Война. Немецкая оккупация. Голодная и холодная зима 1941—42 года. Город разбит, сожжён, разрушен дотла. Немногие погорельцы скучились и прижились на территории уцелевшей чудом пригородной Колмовской психиатрической больницы, поселились в полуподвальных этажах больничных корпусов, в докторских флигельках. Тут поселились и Аскольдов, и крупный эллинист, известный переводчик Платона и поэт-футурист А. Н. Николев (псевдоним), и его младший брат — поэт и прозаик Александр Котлин (псевдоним), и сёстры Гиппиус, и я, и еще несколько уцелевших... И в тесной комнатке психиатра и литературоведа И. М. А. — при ночнике, у железной печурки — под канонаду и разрывы бомб (ведь линия фронта была по ту сторону Волхова, ну, километрах в пяти-шести, не больше) — философские споры, чтение своих стихов и особенно своеговременного венка сонетов. Опять «Два Града»:

Селенье мира зиждут Божьи чада,
А им самим не нужен прочный кров...
... Их Град — становье: он ни там, ни тут...
... Гонимых Мать в пещере кроет встречной...⁸

⁷ Вячеслав Иванов. Собрание сочинений, т. I. Под редакцией Д. В. Иванова и О. Дешарт, с введением и примечаниями О. Дешарт. Изд-во «Foyer Oriental Chrétien», Брюссель, 1971. Стр. 244.

⁸ Вяч. Иванов. Человек. См. примечание 3, стр. 74.

Гадания о будущем раздираемой войной и террором — и советским, и немецким — России. Только что вырвавшиеся из испепеленной души стихи: не только Котлина и Николева, не только мои, но и стихи Аскольдова, — и опять «Два Града»:

О, тайный сев божественной пшеницы
Меж диких трав! Святой маслины ствол!
Лазурный кряж, чей снеговой престол —
Мария! Род Ее — ключи Криницы! (там же).

Еле-еле брызжет свет ночника. То и дело дом, ветхое деревянное строенье, буквально пошатывается от взрывов. Кровля пробита осколками снарядов. Иной раз доносится явственно исступленный вой смертельно напуганных сумасшедших. И тем глубже западают в душу строфы «Зимних Сонетов»:

Худую кровлю треплет ветер, и гулок
Железа лязг и стон из полутьмы.
Пустырь окрест под пеленой зимы,
И кладбище сугробов — переулочок...
Бездомных, Боже приюти! Нора
Потребна земнородным, и берлога
Глубокая...⁹

Да, встречался Вячеслав Иванов не раз на моем — и моих друзей и близких — жизненном пути. Но есть «закруты памяти» — личной и исторической, такие моменты, когда он, Иванов, был особенно близок и необходим. Поэт-мыслитель. Очень национальный — и более чем сверхнациональный: поэт, обременённый тяжкой ношей всемирной культуры мысли и слова, мыслеобраза и пифагорейской музыки сфер. Поэт, сызмалу, как и Достоевский, понявший великую святость и великое искушение красоты:

⁹ Вяч. Иванов. Свет Вечерний. Оксфорд, 1962. Стр. 99-100.

Тут — *ангел* медный, гость небес;

Там — *аггел* мрака, медный бес...

.

Приемлю от двоих печать¹⁰.

И, пробегая мысленно наш тяжкий, но уж никак не бессодержательный, скорее трагический жизненный путь, мы, читатели Вячеслава Иванова, говорили с ним вместе:

Вот жизни длинная минея,

Воспоминаний палимпсест,

Ее единая идея —

Аминь всех жизней — в розах крест¹¹.

И последняя радостная встреча: и с близкими покойного поэта, и с первым томом собрания его сочинений, задуманным с наивозможнейшей полнотой — и оригинально, не по обычному (всегда нарушающему волю поэта) шаблону построенным.

Может быть, потому я и начал с этого очень личного, очень далекого от модного наукобесия (формалистического ли, структурального ли) вступления, так как никогда еще не было так трудно написать о новой книге, новой встрече, как сейчас, когда хочется до конца продумать — чем же был в русской культуре Вячеслав Иванов и чем же он является теперь, для сегодняшнего русского читателя. А так как и я, и мои друзья — тоже читатели, пусть «вчерашнего дня», то и хотелось немного проверить на себе, на непосредственном читательском опыте (а кого же знаешь лучше, чем самого себя — и своих близких!), чтобы с большей или меньшей приближенностью умозаключить и о «читателях сегодня». Помогает в этом и некая моя осведомленность (приобретенная благодаря редакторско-издательской

¹⁰ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I, см. примечание 7, «Младенчество». Стр. 254.

¹¹ Там же, стр. 230.

работе) о вкусах и устремлениях современного — особенно молодого — читателя. Но всё равно — трудно. Ибо слишком насыщена книга идеями, слишком сгущена ее образность — отзывами на мифотворчество всех времен и народов. Выход первого тома Собрания сочинений Вячеслава Иванова, под редакцией его сына Димитрия Вячеславовича, и О. Дешарт — явление огромного значения. Это воистину воскрешение для нас, в самую нужную минуту, одного из самых необходимых нашим дням больших поэтов-любомудров.

И как хорошо, что редакторы нарушили канонизированные почему-то обычные приемы составления собраний сочинений (расположение произведений автора по жанрам и в строго хронологическом порядке — в пределах каждого жанра). Ведь в особенности по отношению к символистам, а еще в большей степени к Вячеславу Иванову такое разделение на жанры явно неприменимо. Философская и литературно-философская проза поэта-мыслителя пронизана подлинным лиризмом. «По отношению к стихам, — как пишет в Послесловии О. Дешарт, — такие идеологические статьи... представляют собою как бы их интерпретации; таким интерпретациям естественно следовать за соответственными художественными произведениями»¹². Да и как разделить — уже даже исходя из природы художественного языка Вячеслава Иванова — его ритмизованную прозу («Повесть о Светомире царевиче»), его лирическую философию и литературно-философскую эссеистику — и его стихи. И не ритмизованы ли, например, такие строки из его «Ницше и Диониса»:

Как падение «вод многих»,
прошумело в устах его
Дионисово имя¹³.

¹² Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I, стр. 843.

¹³ Там же, стр. 716.

И как строить Собрание сочинений строго хронологически, когда «В. И. — лирический поэт. А лирический поэт сам себе задан как миф»¹⁴, а в мифе-личности поэта — память не только память прошлого, а и память будущего, память пред- и послесуществования, и закруты времен и памяти тесно сплетены и перемещены. В мифе-личности поэта — поиски единого в раздробленности и распыленности явлений, поиски единодержавия в цветущем многообразии мира.

Показать личность поэта в его целостности и пути становления этого единства — вот явная цель первого тома сочинений Вячеслава Великолепного, как звали его когда-то в русских литературных и философских кругах. Поэтому в первом томе, после талантливо-го не исследования даже, а больше — художественного повествования о жизни и творчестве Вячеслава Иванова, названного излишне непритязательно «Введением» его автором — О. Дешарт, даны — вне всякой хронологической последовательности — органически спаянные с описанием жизненного пути и внутреннего мира поэта его более поздние произведения: автобиографическая поэма «Младенчество» (1913—1918) и впервые публикуемая в этом томе «Повесть о Светомире царевиче» (1928—1949). А уже за ними следуют его первые книги лирики — «Кормчие Звезды» (1903), «Прозрачность» (1904) и дополняющие эти книги в качестве лирических философем его литературные и философские статьи. Это и правильно: давно пора понять, что именно *последнее* освещает и позволяет правильно понять предыдущее, раннее, а никак не наоборот.

И как органично следует за Введением именно «Младенчество», озаряющее младенческие истоки мироприятия и творческой души поэта, — и «Повесть о Светомире», *закрывающая* и синтезирующая его творческую жизнь! Не говоря уже о том, что в «Светомире»

¹⁴ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I. Введение, стр. 32.

отразились и некоторые моменты жизненной драмы Вячеслава Иванова: хотя бы в истории любви Владаря-Лазаря и Гориславы и брака Владаря и дочери Гориславы — Отрады, дочери от *нелюбимого*.

«'Открыта в песнях жизнь моя', признается В. И. Но «открывать жизнь в песнях» вовсе не значит писать автобиографию в стихах. В. И. — лирический поэт; лирический поэт сам себе не дан, а задан как миф. А подлинный миф всегда знаменует *realia in rebus*. Лирика, будто бы случайная, совершенно интимная, всегда есть объективное свидетельство о Res. Лирический поэт как будто капризно утверждает единственность каждого своего поступка и чувства, и в то же время тайною своей поэзии «в едином и через единственное открывает всеобщее и вселенское». Он воспевая, выявляя, обращает в миф свою личность и тем самым постигает и знаменует метафизическое бытие. В песни исповедь есть исповеданье»¹⁵.

Настоящий творец прежде всего драгоценен как личность. Вы ясно чувствуете, что он сам много больше того, что он сотворил. Что он никак не укладывается целиком в рамки им сотворенного. Это только мастера художественных форм до конца исчерпывают себя в своих творениях, и за пределами их произведений — вы сразу это постигаете — ничего больше не осталось. Даже меньше того, что признает за марксистами советский анекдот, всё же оговаривающий, что марксисты знают решительно всё, да еще на пять копеек в виде прибавочной стоимости. Когда автор *больше* своих созданий, — он подлинный творец, а не только *мастер*. Когда вы чувствуете, что автор сам не удовлетворен результатами своего творчества, тогда вы знаете: это — большое, нужное, высокое дарование. И нужно показать его именно так, как показали Вячеслава Иванова его редакторы: как цельную творческую личность,

¹⁵ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I. Введение, стр. 116.

а не дробя его наследие на жанры и не следуя мелочно хронологии его произведений.

Поразительно по глубине, художественности и насыщенности данными Введение О. Дешарт. Вспоминая Платоновы слова о познании — воспоминании, она характеризует творческую направленность Вячеслава Иванова как прапамять русского народа и всего человечества, но в пределах далеко не исчерпанной до конца русской языковой культуры. Личность поэта-мыслителя, его биография — такая же творимая легенда, как и его произведения. О. Дешарт откровенно до предела — и вместе с тем целомудренно — освещает все сложнейшие пути и перепутья жизненной драмы Вячеслава Иванова. И его стремление отъединиться, замкнуться во всепоглощающей любви к Избраннице, и его попытки расширить свою любовь, вобрать в нее других, по крайней мере, другого или другую, чтобы как-то преодолеть всегда свойственный любви эгоцентризм, как-то выйти за пределы двоицы. Умея вовремя и к месту поставить точку, О. Дешарт остается на редкость и любящей, и мудрой, и объективной, умно предваряя свое блестящее по форме и глубокое Введение цитатой из ивановского «Младенчества»:

Солгать и в малом не хочу;
Мудрей иное умолчу.

«Память — наше орудие против времени, но и его собственное тайное орудие против самого себя»¹⁶. И, как пишет сам Вячеслав Иванов, поэт, «будучи органом народного самосознания, есть вместе с тем и тем самым — орган народного воспоминания. Через него народ вспоминает свою древнюю душу и восстанавливает спящие в ней веками возможности. Как истинный стих

¹⁶ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I. Введение, стр. 132.

предустановлен стихией языка, так истинный поэтический образ предопределен психеей народа»¹⁷.

Поэт должен и отъединяться, преодолевать в себе и в своем творчестве психологию затолканного случайностями повседневья, преодолевать психологию масс, толпы, всяческие коллективистические, механистические устремления к всемирному обезличенному муравейнику, — и никак не впадать в гипертрофированный романтический индивидуализм, эгоцентризм. «Быть значит *быть вместе*. Вот лейтмотив жизни и творчества В. И.», — пишет О. Дешарт¹⁸. И открывается это через ТЫ ЕСИ, а прежде всего — через любовь, когда ТЫ становится нераздельно-неслиянной частью Я. Но никогда и никаким образом этот индивидуализм, эгоизм, психология сверхчеловека не могут быть преодолены механически, коллективистически, революционным путем (не говоря уже о совершенно идиотском «учении» Чернышевского и Ленина о «разумном эгоизме», якобы совпадающем с «общественной пользой»).

«...Соборность — 'соединение, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной, творческой свободы, которая делает каждую изглаголаным, новым и для всех нужным словом. В каждой Слово приняло плоть и обитает со всеми, и во всех звучит разное, но слово каждой находит отзвук во всех, и все — одно свободное согласие, ибо все — одно Слово'» («Легион и Соборность»)¹⁹. ленинский анамнезис во Христе — вот цель гуманиста. А возможно это только через Христа и во Христе. «Все-Но можно ли ставить такую *соборность* в качестве, скажем, христианской культуры» («Docta Pietas», 1934)²⁰.

¹⁷ Вяч. И в а н о в. Собрание сочинений, т. I, стр. 713.

¹⁸ Там же, Введение, стр. 156.

¹⁹ Там же, стр. 159.

²⁰ Там же, стр. 176.

жем, социально-политического лозунга, или тезиса в социально-этической программе? Нет, ибо: «Соборность — задание, а не данность, и ее так же нельзя найти здесь или там, как Бога. Но, как Дух, она дышит, где хочет, и всё в добрых человеческих отношениях ежедневно животворит'» («Легион и Соборность»). «Если человек, отдавая свою душу, сумеет всем сердцем своим и всем помышлением своим сказать Богу «Ты Еси и потому есмь аз», если он сумеет сказать Христу в лице своего ближнего: «ты еси; вот я; я есмь, потому что ты еси», тогда он вновь обретет свою душу, начнет жить воистину.

Так открывается путь к достижению высшей духовности, теофории, которая делает человеческое существо в высшей степени личным, и в высшей мере вселенским. Так предуготовляется торжество Царствия Божия²²...».

Память — начало воскресения. Поэтому она — и орудие времени, и орудие против времени, разъединяющего и умерщвляющего. Отсюда значение всенародной и прачеловеческой памяти — высокой поэзии.

Здесь некая переключка Вячеслава Иванова с «Философией Общего Дела» Н. Ф. Федорова. «Что такое история?» — задает вопрос наш великий мыслитель и отвечает: «Чтобы не внести произвола в определение истории, чтобы не принадлежать ни к какой партии... и, главное, чтобы не присвоить себе права полагать границы труду человеческому, нужно сказать, что история есть всегда *воскрешение*, а не *суд*, так как предмет истории *не живущие, а умершие*, и чтобы судить, нужно прежде воскресить, — хотя бы и не в прямом смысле, — нужно воскресить их, умерших, т. е. понесших уже высшую степень наказания, смертную казнь. Но для мыслящих — история есть лишь словесное вос-

²¹ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I, Введение, стр. 159.

²² Там же.

крещение, воскрешение в смысле метафоры; для одаренных воображением история есть воскрешение художественное, для тех же, которые сильнее чувствуют, чем мыслят, история будет поминовением, плачем, или представлением, принимаемым за действительность, т. е. самообольщением... история, как воскрешение, обнимает и ученых, и «подлый народ»... Объединение, или соединение живущих для воскрешения умерших, есть общество не по типу организма, а по образу и подобию Пресвятой Троицы; *воскрешение же есть полное торжество нравственного закона над физической необходимостью*²³.

Высокая поэзия — прапамять народа — не пустая эстетская побрякушка, а начало воскресения. Здесь перекликаются заветные мысли поэта-спиритуалиста Вячеслава Иванова и замысел религиозного материалиста Николая Федорова. И, конечно, не только Н. Ф. Федоров считал, что Бог, во всепоглощающей мудрости своей нас воскрешающий в день Страшного суда, ждет от нас, Его творений, ответного движения: стремления *самим*, своими усилиями, сыновними и братскими, воскресить, призвать к жизни всех наших усопших предков. Этого дерзновения ждет от людей и Бог по мысли Вячеслава Иванова:

Есть лишь Бог — и ты: вас двое.
Создан ты один Творцом.
Всё небесное, земное —
Ты пред Божиим лицом.
Ведай в сердце благодарном:
Бог не хочет, чтоб навек
Пребывал в смиренье тварном
Богозданный человек²⁴.

²³ Н. Ф. Федоров. «Философия Общего Дела», т. I, 1906, стр. 129—131.

²⁴ Вяч. Иванов. Человек. См. примечание 3.

«...И не помнящие родства — беглые рабы или вольноотпущенники, а не свободно-рожденные. Культура — культ предков, и, конечно, — она смутно сознает это даже теперь, — воскрешение отцов. Путь человечества — всё более ясное самосознание человека как 'забытого и себя забывшего бога'»²⁵.

Ранние символисты и — с ними — Вячеслав Иванов должны были объявить войну не на живот, а на смерть, прежде всего, окончательно выхолостившемуся, обезцвеченному к концу XIX века русскому стихотворному языку. Если язык русской прозы (Достоевский, Лесков, Чехов) был гибким и многообразным, не монологическим, а разноречивым — в своих органических «неслиянно-нераздельных» творческих единствах (у каждого из подлинных прозаиков их язык — единство при разноречии их персонажей), то язык поэтический стал выцветшим, интеллигентски обезличенным, предельно обедненным. Да еще механически вколачивался в исчерпавшие себя (а часто и не вполне сродные русскому языковому и эстетическому сознанию) единые для всех европейских народов мелодико-ритмические формы. Вячеслав Иванов в первых своих книгах стремится образовать особый, отличный от просторечья и от книжно-литературного, лирический язык (потом по этому пути — по-разному — пойдут Николай Клюев и Хлебников, отчасти Осип Мандельштам), обращается к непривычным, редким в русской поэзии формам музыкально-ритмического построения стиха:

Виноградник свой обходит, свой первоизбранный,
Дионис;
 Две жены в одеждах темных — два виноградаря —
вслед за ним.

²⁵ Вяч. Иванов и М. О. Гершензон. «Переписка из двух Углов». Петербург, 1921, Письмо XI.

Говорит двум скорбным стражам — двум виноградарям
 — Дионис:
 «Вы берите, Скорбь и Мука, ваш, виноградари, острый
 нож;
 Вы пожните, Скорбь и Мука, мой первоизбранный
 виноград!
 Кровь сберите гроздий рдяных, слезы кистей моих
 золотых —
 Жертву нег в точило скорби, пурпур страданий в точило
 нег;
 Напоите влагой рьяной алых восторгов мой ярый
 Граль!»²⁶

Или:

О, Фантазия! ты скупцу подобна,
 Что, лепты скопив, их растит лихвою,
 Малый меди вес обращая мудро
 В золота груды²⁷.

Затем, уже применяя чаще всего обычные в русской поэзии музыкально-ритмические формы, Вячеслав Иванов идет не по пути создания особого лирического языка, а путем предельной языковой прозаизации поэзии. Он вводит в нее и сознательную стилизацию:

«Из-под бела камня из-под алатыря
 Выдыбал млад змееныш ярится;
 Из-под люта камня горячего
 Выползала змея свадьбу правити,
 Завивалася в кольца при месяце,
 Зазывала на игры любовные»²⁸.

²⁶ Вячеслав Иванов. Собрание сочинений, т. I, см. примечание 7, «Виноградник Диониса», стр. 539.

²⁷ Там же, «К Фантазии», стр. 580.

²⁸ Там же, «Повесть о Светомире царевиче», стр. 264:

Вводит он и переложение чужих стихов, применявшееся ранее лишь в «низкой» литературе пародистов, причем переложение несет у Вячеслава Иванова большую лирическую и смысловую нагрузку:

Как зыбью синей Океана,
Лишь звезды вспыхнут в небесах.
Корабль безлюдный из тумана
На всех несется парусах...²⁹

Иной раз в том же, например, «Младенчестве» вносится и сочетание куплетно-сатирических словоформ юмористических журнальчиков шестидесятников с церковнославянщиной «критически мыслящих» разночинцев-семинаристов: скажем, в характеристике отца поэта:

Но — века сын! Шестидесятых
Годов земли российской тип;
«Интеллигент», сиречь «проклятых
Вопросов» жертва — иль Эдип...³⁰

Язык подлинной прозы — всегда единый в своем разноречии, в своей разномастности: авторская речь, сказ; разнохарактерный язык персонажей (ведь каждый персонаж несет на себе печать своей социальной и семейной среды, своего воспитания, своего возраста, своего племени, своей местности, своей профессии, своего образования, наконец, своего характера и даже настроения изображаемого автором момента); язык авторских ремарок — пояснительная, соединительная ткань повествования. Единый в многообразии, в разноречье — и сколько в хорошей прозе *единств!* Что ни автор — то новое единство в многообразии. Мы никогда не смешаем гениальную лихорадочно-подергивающую

²⁹ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I, Младенчество, стр. 246.

³⁰ Там же, стр. 244.

ся, захлебывающуюся скоробормотку Достоевского с полемически-руссоистской мнимой «простотой» речи Льва Толстого, ярчайшую, характернейшую цветастость разнообразного лесковского сказа с лиричностью и часто притушенностью красок чеховского языка.

И вот Вячеслав Иванов, после первоначального устремления к созданию особого лирического языка, насыщенного праславянизмами и прарусизмами, стремится теперь к сближению языка поэзии с языком прозы, к насыщению поэтического языка многообразными красками многоплеменного русского просторечья и староречья, социально-групповым и профессиональным разноречьем, чтобы каждый персонаж характеризовался присущей ему лексикой. Это ведь блестяще делал еще Пушкин (вспомним хотя бы: «Сват Иван, как пить мы станем»), но после него русская поэзия пошла чаще всего по выглаженной дорожке «общелитературного» языка. Язык В. Иванова — сочетание медноторжественной поступи — не лишенной и просторечья — Державина с разноречьем Пушкина. Одический — и прозаически богатый. Перечтите хотя бы «Младенчество»: вот — о матери:

Ей сельский иерей был дедом;
 Отец же в Кремль ходил, в Сенат.
 Мне на Москве был в детстве ведом
 Один, другой священник — брат
 Ее двоюродный. По женской
 Я линии — Преображенский;
 И благолепие люблю,
 И православную кутью...³¹

Тут и отзвук как бы записи в церковно-приходских книгах («ей сельский иерей был дедом»), и «канцелярит» сенатского чиновника из семинаристов (словечки

³¹ Вяч. И в а н о в. Собрание сочинений, т. I, стр. 233.

«ведом», «по женской линии», сама *поступь* этих стихов).

Уже в языке Вячеслава Иванова — и путь к единодержавию (язык произведений должен быть внутренне-единым в его многообразии), — и путь к множественности и индивидуализации языков персонажей и ситуаций. И в образах, и в идеоформах — тоже. Посмотрите, как в эллинское звучание приведенных выше дионисийских стихов ворвался кельтско-норманский Грааль (Граль)! Казалось бы, нарушена гармония образов-звучаний? Нет, и до конца своих дней Вячеслав Иванов останется верным русской всеобъемлемости, всемирной отзывчивости, о которых так горячо говорил в своей пушкинской речи Достоевский.

Ну, а державинская меднообутая поступь всё больше и больше звучит в стихах Вячеслава Иванова, чтобы в «Зимних Сонетах» и венке сонетов «Два Града» стать редчайшей в российской поэзии XX века симфонией для духовых инструментов:

Век прористал свой стадий до границы,
И вспять рекой, вскипающей со дна,
К своим верховьям хлынут времена,
О чем кричат пророческие птицы?

(«Два Града», II)³²

Преполовились темная зима.
Солнцеворот, что женщины раденьем
На высотах встречали, долгим бденьем
Я праздную. Бежит очей дрема.

(«Зимние Сонеты», IV)³³

Какая инструментовка! Корнет-а-пистоны «ра» и «ро», валторны чуть приглушенных «р» в таких словах, как «верховья», «встречали», «дрема», кое-где воркованье кларнетов и хрипотца фагота...

³² Вяч. Иванов. Человек; см. примечание 3.

³³ Вяч. Иванов. Свет Вечерний, см. примечание 1, стр. 97.

В «Повести о Светомире царевиче» (чрезвычайно корректно и талантливо законченной после смерти поэта редактором издания — О. Дешарт) и житийные византийские и русские мотивы, и духовные стихи калик переходящих, и былинные образы, и образы старорусской и западной иконописи, и фрагменты из прологов и маргаритов русского староверья — предания о Белой Индии Пресвитера Иоанна, и Эдип-Царь, и Филоктет, и Александр Македонский, и рыцари св. Грааля — Галаад и Парсифаль (Парсиваль), и Симон-Маг, и Иосиф Аримафейский, и св. Христофор... Эkleктизм? О, никак этого не скажешь: ведь исстари русский народ излюбил и природил себе и «Александрии» — романы о Македонском царе-богатыре, и житие римского святого Алексия Человека Божия, и рыцарские романы о Бовах и Гвидонах, и даже индийское сказанье о Царевиче Иосафе (Бодисатве!). Нет, просто в повести Вячеслава Иванова — «родное и вселенское», как поэт и назвал одну из книг своей прозы. И недаром руссеее «сказание старца-инока» о Светомире писалось в Италии, заканчивалось в Риме — намоленном тысячелетиями центре вселенской христианской культуры. Да ведь и Гоголь многое лучшее писал в Вечном Городе. А в творчестве Вячеслава Иванова Рим играет огромную духовно-центрирующую роль. Начиная со сравнительно ранних стихов «В Колизее», где «Вкруг помрачался, вкруг зиял Недвижный хаос Колизея»³⁴, и кончая «Римским Дневником» 1944 года и «Римскими Сонетами»:

Вновь арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим³⁵.

³⁴ Вячеслав Иванов, Собрание сочинений т. I, стр. 521.

³⁵ Там же, стр. 173.

Путь к человеческому через родное-национальное. Путь к вселенской культуре. И увлечение культом Диониса — и исследования о нем — оттуда же и туда же ведут. И когда атеисты, скажем, указывают на то, что в египетских мифах, в верованиях Индии или в культе Диониса уже имеется немало элементов христианства, на это можно сразу же резонно возразить: да, были обетования и пророчества не только в Ветхом Завете. До воплощения Сына Божия были и другие «залогии от небес»: Сивиллы, например.

Есть в Вечном городе, друзья, чертог один,
Где вечные звучат с поблекших фресок споры:
Там ищут Истины мыслители Афин;
Там молят Истины святых Отцов соборы³⁶.

И особенно ярко отразилось это — эта преемственность, невзирая на Боговоплощение, Ветхого и Нового Заветов, — во второй половине «Повести о Светомире царевиче».

Итак, путь к преодолению механистического коллективизма, стадного всерабства, идущий отчасти и через сверхиндивидуализм («человек из подполья» Достоевского, Ницше) или анархо-индивидуализм; — и путь к соборности, вселенской Идее — через Христа. Отсюда и большая русская идея Вячеслава Иванова, его вера, что придет спасти Русь и мир блаженный и святой, мудрый простец Светомир царевич. В нем больше элементов всецело обрусевшего в стихах калик переходящих римлянина Алексия Человека Божия, нежели западного святого простеца — рыцаря Парсифаля. Отсюда и стремление русского поэта-мыслителя к единству Церкви; единству культуры; и вызванный этим переход в католичество. Центробежные и центростремительные силы: и в истории человечества, и в духовной, твор-

³⁶ Вячеслав Иванов. Собрание сочинений, т. I, «La stanza della disputa», стр. 621.

ческой истории самого Вячеслава Иванова. Единство в многообразии. Путь к соборности и Вселенскому Единству — при многообразии свободных индивидуальностей и наций. Путь не через погашение личного, даже специфически поддонно-личного, не через погашение национального, а через дружеское, более того, братское участие в хоре Всечеловечества. Отсюда недопонятые и иными вульгаризировавшиеся некогда хоровые действия на Башне, отсюда и уже ранние высказывания Вячеслава Иванова о соборности: «Мы же стоим под знаком соборности, и недаром поминаем ныне Сервантеса и Шиллера. Мы были бы нецельны, как Макбет, и бессильны, как Лир, если бы еще мнили, что возможно для нас личное самоутверждение, вне его соподчинения все-ленской правде, или иная свобода, кроме той, которая составляет служение Духу. Итак, будем утверждать вселенское изволение нашего я тем глубоким несогласием и бестрепетным вызовом дурной и обманной действительности, с какими противостоял ей Дон-Кихот»³⁷.

Любопытны и некоторые детали «Повести о Светомире царевиче». Так, Гад-Дракон не до конца изничтожен Георгием Победоносцем. Он пощажён и приведен в полон девои-царевной. И от него-то, от Змея Горыныча, и пошли князья Горыньские — и из их же рода и цвет веры и праведности — Светомир. А ведь на многих русских иконах и нередко в религиозной живописи Запада (например, у того же Паоло Учелло) спасенная св. Георгием царевна ведет на поводу поверженного и усмиренного Змия. Господь Бог не желает смерти и гибели грешника, даже Змия-гада щадит и прощает по великой милости своей. В русской душе (Достоевский, о. Павел Флоренский, Вячеслав Иванов) живет — сознательно или бессознательно — это учение Оригена: о прощении и спасении — уже на самом Страшном суде — даже самого дьявола — Денницы... Ортодоксально

³⁷ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I, стр. 840.

это? Едва ли. Но уж очень по-русски. Да, Вячеслав Иванов не был в этом вопросе окончательным оригенистом. В письме к пишущему эти строки редактора Собрания сочинений О. Дешарт рассказывает: «Как-то раз я спросила его (Вячеслава Иванова) — дозволено ли, следует ли молиться за дьявола. Он ответил: "Нет, нам нельзя. Но, думается мне, что на Страшном суде или раньше — и дьявол, быть может, раскается, станет способным расслышать — 'метаноее!'; и тогда Господь его тотчас же простит и примет как Блудного сына. Бог готов простить и принять павшего ангела в любой миг, когда дьявол-Денница того захочет. Но насильно Он никогда, никого к Себе не ведет..."».

И Русь-то у Вячеслава Иванова — и от Змея Горыныча, и от слез Матери Божией. И грешна она, Русь, — одновременно — она и та

Хижина безвестная —
Царицы Небесныя,
Девы невестныя
Владычицы Дёбреньской³⁸.

Поэт и философ, ученый и мифограф, драматург и критик — Вячеслав Иванов воскрешен сейчас талантом и трудами О. Дешарт и сына поэта — Дмитрия Вячеславовича. И как раз тогда, когда молодая поросль русской мысли и русской литературы и за железным занавесом, и по эту его сторону, в лучшей своей части, тянется именно к многодумной, идейно-насыщенной, исторически-глубокой и широкой литературе. Ждем с нетерпением следующие тома творений Вячеслава Великолепного.

А что есть свидетельства, что и сейчас молодая поросль русской интеллигенции тянется к Вячеславу Иванову, что и сейчас его творчество питает живую,

³⁸ Вяч. Иванов. Собрание сочинений, т. I, стр. 494.

ищущую мысль, — этому доказательством служат не только редко просачивающиеся в советскую печать, но всё же проникающие в нее статьи о поэте. Нет, пожалуй, лучшим свидетельством является такая, к примеру, выписка из приговора Ташкентского городского суда, вынесенного 17 июля 1970 года священнику о. Павлу Адельгейму: «Адельгейм, будучи священником Каганской церкви, хранил и распространял как в письменной, так и в устной форме рукописные тексты религиозно-философской литературы, машинописные тексты со статьями зарубежных религиозных деятелей, реакционного, идеологически вредного и клеветнического содержания. А также сам писал письма и стихи такого же содержания. При обыске на квартире Адельгейма было изъято: ...8. Док. № 33 "Человек" (Вяч. Иванов)...»³⁹.

И это — лишь одно из далеко не малого количества «документальных» свидетельств. Что ж из того, что Вячеслава Иванова почти невозможно получить в библиотеках, что его с великим трудом купишь на черном рынке. Может статься, прав Максимилиан Волошин, говоривший:

Мои ж уста давно замкнуты. Пусть!
Почетней быть твердым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

Но — толцые, и отверзится вам, — теперь, когда выходит собрание творений поэта-любомудра, будет всё же легче достать его и там *тем*, кто этого очень, очень горячо хочет...

³⁹ «Вестник РСХД», № 106, 1972, стр. 321—322.

Годы безвременщины

(О романе «Семь дней творения» В. Максимова)

1

«Когда рождается поэт, душа бывает взволнована». Эти простые, ныне как-то полузабытые слова глубже всего выражают ту радость, то соучастие, с которыми мы принимаем каждое произведение художника, отмеченное талантом и поиском истины. Душа волнуется от образа преображаемого бытия, мучается той бездной, которая вдруг «нам обнажена С своими страхами и мглами» (Ф. Тютчев, «День и ночь»), чувствует в пыльной скуке нашего существования тот «древний хаос», который и наше-то бытие вдруг делает страшным и двусмысленным. Правда, если бы «рожденное творение» лишь и предназначалось к тому, чтобы вдруг осветить перед нами во всем своем ужасе «постылый холод бытия», то, верно, оно бы целиком было вне сферы всякого искусства; ведь не «правдой» о бытие волнуется душа, а тем, что в него вошло что-то забытое, казалось, безвозвратно потерянное — отблеск Истины, которая незримо наполняет всякое творение, родившееся в глубинах общенародного бытия.

Странное пережила время Россия XX столетия. Пожалуй, не определишь его точнее и безысходнее, чем это сделал Пастернак в замечательном своем стихотворении «Август»: «годы безвременщины». Человечество не однажды переживало подобное состояние, и каждое это

Эта статья получена из России. Печатается под псевдонимом. — Р е д.

состояние рождало мучительную и новую правду о человеке. Я думаю, никогда еще она не была так невыносима, как та, которую оформляло двадцатое столетие.

Опустошенный и обескровленный духовными катастрофами, внутренне человек изнемог и затих; соблазн «историзма» охватил всё его существо — «довериться» потоку, несущемуся неизвестно куда и зачем, «принять» творимое время как неизбежность или бессмысленность (как перед каменной стеной, — хотя тот же Достоевский настаивал, что неужто о каменную стену лишь оттого бессмысленно биться, что она — каменная?!), онеметь и сократиться до предела; так плыл тот туман, который насылали «годы безвременщины»; ведь и время нуждается в человеческом сознании, как и человек — во времени, и без их духовного «противостояния» положительная сущность времени легко обращается в апофатическую* стихию «внешнего бытия».

В такие годы духовного бессилия и волевой ипохондрии мы болезненней и ярче откликаемся голосу художника: слово — «чистое веселье» — тревожит и волнует нас, как будто и в самом деле рождает воспоминание об утраченном, заставляет нас жёстче и серьезней обратиться к действительности, и ощущается невозможность больше длить такое существование, изнывая втихомолку от холода и неверия, в тягость самому себе. И если мы действительно слышим художника, мы должны ответить ему не лирическим *selige Sehnsucht*** , составляющим обычно лишь уютный комфорт нашей отстраненности, а внутренне ответить, памятуя об истинности того волнения, которое испытывали мы, когда встретились с его творением.

Такое волнение испытываешь, читая роман В. Максимова «Семь дней творения». С первых же страниц мы погружаемся в замкнутую радужную сферу, в ко-

* Негативную, отрицательную (греч.). — Р е д.

** Блаженная тоска (немец.) . — Р е д.

торой владычествуется слово и музыка, страдание и мысль, хаос и человек. Те первоосновы бытия, которые составляют материал всякого крупного произведения искусства, обнажаются в романе даже с какой-то непривычной для русской литературы суровостью. Прежде чем мы оправимся от романа, с тем, чтобы осмыслить его, понять, нас наполняет его шум — мощный «шум времени», гул полувековой России в страдании и затишьи, бурях и безвременщине.

Онтологические вопросы ставятся жёстко, в упор; роман не только посвящен «главным» вопросам бытия, но все мало-мальски «второстепенные» вопросы вовсе исключены из его сферы. И в этом — не только сила художника, но и (о чем я буду обстоятельно говорить ниже) «историческая правота» автора. Ведь вся классическая русская литература жила «мировыми проблемами», и если во многом это был ее недостаток, то, с другой стороны, эта же приверженность к масштабности проблем оформлялась как внутренняя тяга. Легко заметить, что почти вся современная наша литература старательно избегает этих «главных тем», разрешение которых требует диалектической напряженности, погружения в современную онтологичность сознания; отсюда же возникают все эти бесконечные лирические *profession de foi**. А «главные» темы, в сущности, всегда сводились к тому, что дьявол борется с Богом, а поле битвы — души человеческие. Так что факт обращения к этим темам свидетельствует не только о масштабности художественного дарования Максимова, но и о его устремленности к традициям классической русской прозы.

До сих пор мы знали Максимова как автора талантливых рассказов и повестей; и в этих произведениях легко было отметить «лица необщее выраженье», яр-

* Кредо, исповедание, изложение убеждений (франц.). — Ред.

кую языковую работу, тягу к «надломам бытия». Но, при всей их безусловной одаренности и своеобразной жёсткости, они оставляли впечатление какой-то недосказанности; чувствовалось, что в писателе зреет что-то новое, мучительное, неутоленное. Появление романа — безусловное свидетельство зрелости и художественной воплощенности роста Максимова; тот факт, что его роман — крупное явление русской прозы, я думаю, неоспорим; а такое явление «в годы безвременщины» всегда будет глубоко проблематичным и противоречивым не только в искусстве прозы, но и в сфере общественно-го сознания и в области религиозного самосознания.

2

Надо заметить одну любопытную вещь: сфера общественного сознания, как ни сопряжена и вместе с тем далека она от стихии «изначального» искусства, явственно изживает произведения, живущие лишь в пределах этой сферы. Мы знаем произведения «публицистические» и «документальные», оформленные (лишь внешне, конечно) то в жанре философического эссе, то исповедальной литературы¹, для которых, казалось бы, и предназначена эта сфера. Но все эти произведения не стали фактом «творимой истории»; в лучшем случае они войдут в разряд «истории литературы». Иссякла внутренняя инерция исповеди, не перейдя в область искусства, и сразу же это произведение исторгается из области общественного строения, ибо очень скоро обнаруживает предел бытия, мыслимое не во времени, а *временем*. На нашей памяти вспыхивало и отгорало множество таких книг, от которых ничего не осталось,

¹ Я имею здесь в виду исповедальную и публицистическую литературу не как конструктивный принцип формообразования (Руссо, Пруст, Герцен), а как лирическую «исповедь» в пределах жанра. — Н. А.

кроме горстки «драгоценного» пепла. Роман Максимова такого предела в сфере общественного сознания себе не найдет, равно как и не исчерпается им, — и не в этой сфере (и не ею) он должен быть прежде всего определен.

Художник, заметил однажды Блок, — существо многолетнее. В нем пересекаются многие явления и события, он вбирает в себя «духовный воздух» эпохи; но если писатель — не публицист, все эти события должны прежде всего пережить свое преобразование в его душе, *прорасти* в ней; ведь сам художник — не «мыслящее» бытие, а «мыслимое»; то, что попадает в сферу его мировосприятия, как бы лишается своей полноценности, своей автономности. Поэтому и факт существования романа Максимова в сфере общественного сознания имеет свое иное происхождение, чем публицистическо-документальная литература.

Иное отношение здесь и к материалу; назначение художника — не только в организации этого материала, но и в обнаруживании его «сущности», его истоков и «подземных» связей. Этот материал может быть по-разному организован; по большей части, современная проза является как бы срезом однозначного пласта: множественность психологического и логического планов покрывается единой смысловой установкой; эта традиция довольно устойчива в русской прозе, хотя внутренняя тяга ее порядком уже выветрилась (легко вспомнить, например, «Фальшивый купон» Л. Толстого, в котором усложненный событийный ряд определяется одним смысловым центром).

Максимов пытается вернуться к иной организации материала, предполагающей множество смысловых пластов. Я думаю, можно твердо сказать, что традиция множественности смысловых оформлений, имея могучий исток — Достоевского, как-то прошла «подземно» в русской литературе, обогащаясь ею подспудно, но не являясь исторической традицией, то есть вполне во-

площенной и означенной. Существование множества смысловых пластов требует от художника не только предельной психологической насыщенности, но и перехода ее в иное качество, в мыслимый и адекватный этому бытию знак. В подобном романе ни событийный ряд, ни психологический не может быть «аллегоризирован», ибо аллегории во всех видах предполагают единый центр. Я думаю, Максимову как раз удастся достичь того параллелизма сознаний, который и является формообразующим принципом. Именно-то и поэтому почти каждый герой романа проецируется в критическую минуту своего существования, и эти «пограничные ситуации» как бы автономизируют их сознания; а всеобщий принцип «пограничной ситуации» (в сознании, в событиях, в мироощущении) доводит их психологический статус до своего предела.

Интересно отметить, что Петр Васильевич Лашков, постигающий (и сопротивляющийся своему открытию) какую-то внутреннюю свою неправоту, всё время оказывается в ситуациях, которые как бы противоречат его сознанию, разбивают его кажущуюся стройность и справедливость, но вместе с постигаемой своей неправотой конструируется и сопротивление, — и всё его сознание в конце романа становится как бы «общим местом», то есть знаком (приезд Антонины с внуком), просветленным тем смыслом, который и придает единственную ценность его бытию...

Может быть, не всегда и не во всех героях удастся Максимову воплотить этот принцип смысловой множественности, но здесь важно заметить следующее: внутренний мир большого писателя всегда отмечает новая типология героев; герои Максимова — «потерянные» люди, отмечающие то, чем жили они до сих пор, люди «перелома» и «надрыва» (у Максимова «надрыв» имеет принципиально новую в русской литературе окраску), которых отличает внутренний поиск, какая-то мука, которую не всегда хочется назвать «религиозной»; ско-

рее это «мука бытия», бытия темного и неосознанного. «Где, когда, почему уступил он — Петр Васильевич Лашков — свою правду?» — таково самоощущение существования Лашкова. Андрей, везущий больного мальчика-испанца на лошади в больницу, мучается: «...когда и почему вышло так, что всё сдвинулось на земле, перемешалось, сошло с места?.. Что же произошло в мире? Что же с ним, наконец, случилось? Что?»*. Подобные цитаты можно приводить без конца.

Все в романе мучаются, страдают, пытаются понять, обрести что-то утерянное, «осуществиться»... Сама данность психологического аспекта — глубоко напряжена; таким образом, сама типология героев подготавливает множественность сознания, ибо чем глубже и надрывней страдания, тем обособленней и отдаленнее одно сознание от другого. В этом тоже своеобразие художественной манеры писателя: и данность, и процесс развития как бы помогают друг другу, имеют одну и ту же амплитуду. Новизна этой функции развилась из определенной новизны типологии героев: известно, что между «трагическим характером» и «характером трагической ситуации» лежит бездна. В данности гамлетовского характера трагедийность обнаруживается через событийный ряд, представляя собой идеальную ситуацию характера в трагической ситуации. Идея же Ивана Карамазова оформляет его характер как трагический еще задолго до всякого событийного ряда романа. В потенции у Гамлета могло не быть той трагической перспективы в оформлении его характера, которая осуществилась после явления Призрака.

Кажется, Достоевский на долгий срок лишил возможности психологического строительства, истощил пласты психологического конструирования «трагического характера». После него русская литература осуще-

* Стр. 143. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1971 г. — Р е д.

ствила ряд героев «трагической ситуации», лишив их идеологического напластования. Уже типология героев М. Горького, Л. Андреева, А. Белого полна этой «психологической истерзанности». Трагический характер получил пародическое смещение в прозе М. Зощенко; от Замятина до Булгакова русская проза прошла, не дав ни одного «трагического характера». В романе Пастернака «трагический герой» реализовался за счет культурной инерции XIX века; отсюда его «необщность», не «раскрытие проблемы», а ее «замыкание».

Но, как говорит один философ, когда явления изживают сами себя, значит, пришла пора переводить их на язык диалектики (в данном случае — художественной). Таким новым героем стал Иван Денисович в повести Солженицына, покрывая немоту многих лет. Но при всей своей несравненной яркости и глубине Солженицын осуществил этот образ в традиционном ряде.

Способ осуществления типологии героев Максимова совсем иной и, на мой взгляд, отличается новизной отношения к проблеме героя: Максимов как бы совмещает «трагический характер» и «характер трагической ситуации»; ибо для Максимова «характер трагической ситуации» уже не «самодостаточен», он не вмещает проективности романа с множественностью смысловых центров. Не раскрытие его психологической данности, а определение его внутренней проблематики заботит автора. Но рождение «трагического характера» начинается там, где аспект внутренней проблемы героя уже реализован — через данность идеи, которая и является принципом форм характера². Нельзя сказать, что Максимов уже за-

² «Идея, — пишет в замечательной своей книге о Достоевском М. М. Бахтин, — как принцип изображения сливается с формой. Она определяет все формальные акценты, все те идеологические оценки, которые образуют формальное единство художественного стиля и единый тон произведения». М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Стр. 138. — Н. А.

крепляет этот «идеологический ряд», способствующий реализации трагических характеров; он как бы пока «осваивает» его, преодолевая статику смыслового и идеологического единства; поэтому, используя терминологические образы М. М. Бахтина, можно заключить, что роман «Семь дней творения», прорываясь сквозь монологическую структуру современной прозы, приобретает *диалогическую тягу* (не структуру); такая недовоплощенность, пожалуй, ни в чем не вредя роману, оставляя открытыми многие его формальные стороны, является ярчайшей характерностью для осознания «безвременщины»; его характер *Bewußtsein überhaupt** как бы сам недозавершил еще разрешение проблематики героев «безвременщины».

3

Здесь я хотел бы остановиться на одном факте, который, как будет видно ниже, позволит определить и историческую правомочность рождения такого романа, как «Семь дней творения». В каком-то смысле, в силу сложившейся твердой традиции, любой крупный роман в России всегда соотносится либо с «толстовской» (монологической) традицией, либо попадает в зависимость от «тайного» влияния Достоевского. Толстовская традиция казалась (а может быть, была таковой и на самом деле) более перспективной не столько в силу традиционного смыслового единства, сколько в естественной поступательности своего развития; следует указать, что в поздних произведениях Горького и Фадеева изжил себя именно монологический принцип; но развитие и обособленное изживание этого принципа в данном направлении совсем не свидетельствует о его умирании, вообще; лишь *данное направление* истощило определенную возможность «толстовского» принципа формы. Я

* Сознание вообще (немец.). — Р е д.

думаю, к нем еще будут бесконечно обращаться наши прозаики, гарантия тому — поразительное многообразие *внутри* самой монологической структуры.

Так как воздействие Достоевского оформлялось не внешне, а подспудно, то «годы безвременщины», не «вместившие» его, не соприкоснулись с ним, разве только апофатически. Как это ни парадоксально, но художественный принцип Достоевского возвращался к нам с Запада. Я даже думаю, что этот формообразующий принцип романа был глубже (хотя и односторонней) воспринят Западом потому, что структурная основа диалектического романа была более прочно связана с традицией европейского романа (в чем вряд ли кто будет сомневаться после книги М. М. Бахтина). Запад-то в первую очередь и впитал этот формообразующий принцип: немецкие экспрессионисты, Кафка, французские писатели от А. Жида до А. Камю существовали на внутренней тяге Достоевского; правда, они поступили с этим принципом подобно нашим прозаикам, разрабатывавшим в известном направлении монологический принцип Толстого: формообразующий принцип диалогического романа был отождествлен с идеологической системой; в результате оказалось, что идея-знак выродилась в аллегорический образ, психологическая структура — в «самодостаточность» психологического пласта, изоляция диалектического принципа привела к тому, что художественное его воплощение замкнулось в авторской «системе» (А. Камю, Ж. П. Сартр).

В предельно искаженном, почти неузнаваемом виде возвращался к нам диалогический принцип Достоевского. Но ведь влияние культурной традиции — вещь чрезвычайно сложная; оно прежде всего характеризует испытывающего это влияние, а затем уже саму традицию; она вся — в «культурном воздухе» времени, а те, кто полагает, что традиция — это ремесло, находится в плену нищенских, антидуховных определений. Она должна появляться там, где у неё совпадают модусы

времени с данным состоянием культуры; тем более понятна ее изменчивость, что, по сравнению с Западом, молодая культура России, со дня своего рождения потрясаемая непрерывными духовными катастрофами, обладала той же устойчивой историчностью, как это было на Западе. На мой взгляд, различные модификации русской прозы непрерывно должны были прежде всего обнаружиться в том пункте, в котором они приближались к Достоевскому. Достоевский — это центральный пункт самосознания русской культуры, ведь и Пушкин, и Гоголь могут быть нам теперь понятны только через Достоевского. Так что тяготение В. Максимова к диалогическому принципу Достоевского или, точнее сказать, поиски «воплощаемости» этого принципа на современном этапе как бы обеспечивают ему историческую правомочность, «неслучайность». А поиски традиции налицо: и диалогическая тяга (хоть и не диалектически претворенная), и напластование «стихий» (хоть и не идеологического, а онтологического характера), и поиски автономно данных характеров. Всё это, разумеется, не делает Максимова учеником или последователем Достоевского — ведь прикосновение к культурной традиции должно сообщать «историческую правоту» писателю, не более. В остальном он — художник — беспредельно свободен.

4

Любой исследователь русской послереволюционной прозы должен в конце концов задать себе следующие вопросы: не изменили ли пережитые Россией катаклизмы русло русской классической литературы так, что она пошла по дотолем неизведанному ею пути? А если нет, то не является ли современная проза естественным продолжением и духовной наследницей русской классической литературы, включая и символистов?

Я думаю, что в целом должно ответить на первый вопрос отрицательно. Что же касается второго, то культурное наследование есть процесс не только творческий и свободный, но и «мистический». Он означает не только духовное единение, но и «связь времен». Когда она распадается, культурная традиция уходит в глубины народного самосознания, ибо «ей нечего здесь делать». Проза как искусство более идеологическое, чем, скажем, поэзия, более зависима от культурных влияний; она требует по своей природе более определенных и явственных связей.

Но исчезновение культурной традиции — указатель того, что мир покидают «тайные силы», оформлявшие духовную атмосферу времени. Русская классическая проза внутренне завершилась уже в конце XIX века, религиозный гуманизм обессилел в титанической борьбе с пантеизмами разных мастей, а более всего — с собственной антиномичностью. Его упадок означал прежде всего завершенность; сложилось цельное сознание эпохи во времени; уже символисты были последними свидетелями культуры в ее «минуты роковые»; но их шаткий мост к нашему времени рухнул под ударами мировых катастроф...

Оформлялся ли характер русской послереволюционной прозы в отрицательном противоположении духу русской классической прозы? духу искания истин и духовного воплощения? Вряд ли это можно утверждать, ведь отрицательное отношение к культурной традиции есть один из способов духовного общения, хоть и истребительного. Я считаю наиболее близким к истине определение русской послереволюционной прозы как явления периферийного, областного характера; культурная инерция освободила те данности, которые ни в чем не совпадали с духом русской прозы (Бабель, Зощенко, Б. Пильняк, А. Платонов). Этим же объясняется ее тяга к экзотическим и орнаментальным явлениям (Бабель, Паустовский, ранний Платонов). Поэтому же те годы

не дали ни одного романа достаточного удельного веса, ибо и сама идея романа была невозможна — не на что было «опереться», кроме как на затухающие инерции той или иной традиции.

В романе же Максимова мы ощущаем, что эти традиции, наконец, «пробились». Их присутствие чувствуется во всем: в полноте и гибельности бытия, в моделировании героев, в возвращении к тем темам, которыми жила русская литература. Еще пройдет много времени, прежде чем «годы безвременщины» обретут свое окончательное воплощение; перед теми же, кто начал этот процесс, стояли немыслимые, может быть, во всей истории русской литературы трудности — обретение тех традиций, которые, как воды, выступили из-под земли.

5

Масштабность романа Максимова вполне соответствует тем задачам, которые встают перед писателем, запечатлевающим «годы безвременщины». Шесть глав — шесть дней (чутье художника подсказало писателю оставить невоплощенным седьмой день — «ДЕНЬ НАДЕЖДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ», ибо он лежит вне тональной плоскости романа, так как предполагает духовную гармонию, которая не приходит к его страдающим героям), связанных внутренне напряженной сюжетной линией и единством духовной атмосферы, которая, однако, оставляет множественность смысловых сознаний героев. Эти главки нельзя рассматривать как логическим образом объединенные новеллы — ведь новелла, или повесть, предполагает внутреннюю законченность, «исполненность», тогда как поэтика романа должна дать выход незавершенности, мыслимой протяженности героя и времени, перспективу идеи как принципа формы. Многослойность (напластование) в романе Максимова как бы укрепляет множественность сознаний, накапливает события под таким углом зрения, что их сущность,

концентрируясь в сознании героя, потрясает ее статику, дает ей движение.

Правда, в некоторых главах просматривается тенденция к смысловой и объективной завершенности. Так, в главе, быть может, самой блестящей («Двор посреди неба») сюжетный ряд развивается не по вертикали, как свойственно обычно Максимову, а по горизонтали, и это грозило бы вылиться в самостоятельно осмысленное произведение внутри произведения, но так не случается, на мой взгляд, поскольку глава эта является как бы духовным перекрестком романа, на котором сталкиваются все его линии. Смысловая нагрузка главы чрезвычайно велика, слишком велика была бы для одной главы, грозившей разрушить единство романа; и если многие судьбы сюжетно завершены в этой главе, то смысловая продукция конструктивно переходит в следующую главу «Поздний свет», в которой объективируется, или означает, то есть мыслится чрез подобие или противоположение, сознание героев (Левушкин — Марк, Штабель — Вадим). Это противоположение характеров вообще характерно для Максимова и благодатно для его проблем (не нужно это путать с противоположной «данностью» героев, которая обычно в прозе осуществляется «морально»). Муся антиномически дана с Антониной, Николай — с Осипом. Такая антиномичность сродни атмосфере «безвременщины»; и Максимов точно ее означает, ибо нельзя создавать духовную атмосферу времени, ее можно только обнаруживать.

Максимов обогащает характер не только в антиномическом срезе, не только «изнутри», но и смыкая персонафицированный образ со «средой»; в этом отношении у него как у художника прозревается какой-то новый модус психологически-изобразительного подтекста: «И тень сомкнулась над ним. И в нем». «Ему показалось, что захлопнулась не дверь, а что-то в нем. И наглухо. И надолго».

Вообще следует отметить, что наиболее ярко реали-

зовались в романе как раз те характеры, которые «обнаруживаются» всей атмосферой «безвременщины»; более статическими и нейтральными осуществились те характеры, которые не только по смысловой установке, но и по психологической природе тяготеют к оформленности, завершенности — Чужак, о. Георгий, отчасти Марк; но несомненно и то, что некий их «статизм» обусловлен отнюдь не художественной стойкостью, а целевым назначением — они составляют тот ряд характеров, который усиливает ряд противоположных характеров, тех, кого оформляли «годы безвременщины» (ибо Чужак и о. Георгий реализовались *вопреки* «годам безвременщины»).

В мою задачу не входит анализ религиозного сознания тех или иных героев (начало самосознания и есть религиозный факт), но хотелось бы отметить следующее: в романе не идеологического типа, с тягой, которую можно было бы определить как «диалогическую», аспект религиозного сознания героев должен сохранять свою множественность не через свою «идею как принцип формы» (это осуществимо лишь в романе идеологического типа), но чрез свое «осмысление бытия»; таким образом, и здесь можно еще раз подчеркнуть «переходность», «поисковый» момент романа Максимова; возврат к культурной традиции всегда сопрягался с такою переходностью. А раз множественность сознаний дается не через идеологический принцип, а бытийственный, то вполне естественно, что диалектической данности этого бытия предшествует описание³, *Beschreibung*, частое в романе для преодоления статики бытия, накопление его для разрядки, для обнажения «мыслимого бытия». Тем более, что описание «диалектично» в смысловом отношении, а не «статично», как у Бунина, или у

³ Под описанием надо понимать приложение данности к смысловому объекту, а не процесс замены факта в литературе его внешней данностью — Н. А.

многих современных прозаиков. Приведу пример: у Максимова есть потрясающий эпизод, которому, я думаю, суждено стать антологическим: два циркача, рискуя жизнью, устраивают мгновенное представление детям, находящимся в вагоне за колючей проволокой. В произведении, реализующемся лишь в сфере общественного сознания, этот эпизод был бы лишь кинематографическим «кадром», введением для той или иной цели. В романе же внутреннее состояние героя, свидетеля этой сцены, как бы «надламывается», «мыслится» через эту данность (т. е. бытие). И это методологически очень характерно для Максимова-художника; он и в глубоко традиционный способ описания вносит тот принцип, который до него этому описанию не был свойствен. Поиск традиции — процесс мучительный и сложный, подобно проблемам, еще ждущим либо полного развития, либо искоренения как посторонним и вредным. Но в плане «реализации поиска» роман Максимова современно целен.

С этой описательностью связана и другая особенность Максимова-художника: его способ проективного преломления сознания героя в этой описательности. У Достоевского, например, описательный эпизод сопрягает характер героя с его идейно-духовной структурой; так, в «Бесах», когда к Шатову приезжает его жена, эпизод встречи предельно обнажает и утверждает просвет. Онтологизм героя, его идеологическая сущность, как бы обретает «идеологическую» оболочку. У Максимова сознание героя еще не «затвердело» в точном образе мышления; и описательность, не насилуя автономности сознания, как бы «обогащает» сферу бытия героя, ускоряя моменты самосознания. Этим еще, я думаю, объясняется форма предварительного вступления к характеру или событию, исполненного в одной тональности с общим развитием и оттого не замедляющего течения романа... Стихия описательности не захлестывает смысло-

ГОДЫ БЕЗВРЕМЕНЩИНЫ

вого оформления, хотя изредка вредит в целом «диалогической тяге» романа.

В. Максимов написал роман не только о времени, но и «временем». Мне кажется, это в романе драгоценнее всего. В нем есть и «историческая правота», и внутренняя духовная перспектива, и тот горестный онтологический опыт, которые образовали «годы безвременщины», и свойственный крупным произведениям искусства возврат к «подземной» культурной традиции. Я думаю, многие ждали появления романа, осмысляющего «годы безвременщины». Когда-то Гёте облек подобное ожидание в мудрые и строгие слова:

Zur rechten Zeit
Am rechten Ort
Der rechte Mann
Hat rechtes Wort...*

Роман В. Максимова и есть «необходимые слова» в «необходимое время».

26 апреля 1973 г. Великий Четверг

* Настоящий человек находит настоящие слова как раз к месту и ко времени. — Р е д.

Духовный мир героев А. И. Солженицына

Настоящая работа посвящена главным образом праведникам в произведениях А. И. Солженицына, душевной красоте его героев и их верности извечным принципам добра, совести и любви к людям. Эта любовь к человеку, готовность пожертвовать собой ради спасения другого и уважение к человеку как к личности, как к воспроизведению образа Божьего и является темой моей статьи.

Костоготов, главный герой повести «Раковый корпус», даёт прочитать одному из больных, Ефрему Поддуеву, книжку рассказов Льва Толстого. Поддуев читает рассказ «Чем люди живы?» и задает этот вопрос всем больным в палате. Значение рассказа в композиции повести заключается в том, что он у всех неизлечимо больных палаты рождает потребность ответить на этот вопрос, соответственно отношению этих больных к смыслу жизни и их мировоззрению.

В чем же суть этого рассказа и почему именно его выбрал Солженицын? Толстой устами ангела в рассказе дает три указания для жизни человека. Это:

- 1) дана людям любовь;
- 2) не дано человеку знать, что ему для его тела нужно;
- 3) жив всякий человек не заботой о себе, а любовью к ближнему.

И только те люди, которые живут по этим заповедям, несут в себе образ Божий, а отказавшись от них,

уже не живы, то есть не живы духовно; и в лице их ангел видит смерть.

В произведениях Солженицына поражает широкая галерея образов, которые по их моральным качествам, по их отношению к другим людям как бы располагаются вокруг полюсов добра и зла. Эта поляризация героев по принципу добра и зла и есть, по моему мнению, основной мотив всех его произведений. Некоторые герои — не что иное, как воплощение зла в полном смысле этого слова. Таковы, например, Волковой в «Одном дне Ивана Денисовича», генерал Бульбанюк, майор Шикин, сексот Сиромеха и другие «В круге первом», Русанов и его дочь в «Раковом корпусе», лейтенант Овчухов в пьесе «Олень и шалашовка», да всех и не перечить. Это — беспринципные карьеристы. Иные творят зло просто из удовольствия, другие — для получения материальных благ. Чувство доброты и сострадания им чуждо, и чем-то сатанинским веет от них.

Это о них писал Г. П. Федотов в своем труде «Лицо России» (говоря о коммунизме):

«Не состраданием и даже не справедливостью соблазняет он («разве есть внеклассовая справедливость»), а только удовлетворением интересов; не благом, а благами и, еще в подсознательном, но действенном центре своем, сладостью мести, пафосом классовой ненависти»¹.

На другом полюсе мы видим воплощение доброты и самопожертвования, любви и душевной красоты. Это и баптист Алешка, и простая крестьянка Матрёна, и инженер Герасимович, и девушка Агния, и многие другие. Степень любви и добра, как и степень зла, у этих героев различна: одни стоят у самых полюсов, другие

¹ Г. П. Федотов. Лицо России. Сборник статей (1918 -- 1931). YMCA-PRESS, Париж, 1967, стр. 42. — П. О.

тяготееют к ним. Иногда доброта и любовь — постоянное качество героя, и в них — проявление его святости, иногда же любовь и самопожертвование являются результатом духовного прозрения, и читателю открывается новый образ героя. Таковы, например, Володин и Клара в «В круге первом».

Отличительная черта этих героев — верность добру (они не совершат зла ни за какие блага в жизни). Эти носители святости в произведениях Солженицына в основном аполитичные и асоциальные люди, их особенность заключается в том, что в каждом человеке они видят, прежде всего, личность, а не средство для достижения каких-либо политических или материальных целей. К вершинам духовной красоты они приходят через страдания и лишения, выбирая тернистый путь вместо сделки с совестью; политическая свобода занимает их гораздо меньше внутренней — духовной, поэтому даже власть зла им зачастую не страшна.

Есть и другой тип героев у Солженицына, который отличается и от первого, и от второго. Это в основном люди высоких принципов, но принципов не столько моральных, сколько социальных. Это — фанатики политической доктрины. Добро индивидуальное, личное, не имеет для них смысла, они представляют себе добро как нечто абстрактное и только в социальном плане. В них воплощена идея: цель оправдывает средства. Свое заключение или болезнь они принимают как нечто случайное, нарушившее их служение делу партии или общества. Здесь следует упомянуть Вадима из «Ракового корпуса» и Буйновского из «Одного дня...», но самый разительный пример подобного фанатизма — это Рубин из романа «В круге первом».

Рубин не лишен сострадания, он проникается симпатией и даже дружбой к заключенным немцам, он верен своим друзьям по шарашке (специальной тюрьме), он не пойдет на прямое предательство из-за личных выгод, но он может совершить любое зло и преступление,

если этого потребует от него партия. В этом трагизм Рубина. В споре с другим заключенным Сологдиным он прямо заявляет о принципе «цель оправдывает средства»:

«... — Лично для себя — не принимаю. Но если говорить в общественном смысле? За всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она — оправдывает средства, употребленные для ее достижения»².

И когда партия требует у молодого Рубина выдачи его любимого двоюродного брата, он выполняет ее волю; позже, не испытывая никакой жалости, становится свидетелем голодной смерти крестьян во время коллективизации, проводимой им в деревне. Эта ущербность и двойственность его нравственных принципов становится очевидной в его готовности обнаружить «преступника» по приказу генерала Бульбанюка. И он находит оправдание своей роли, хотя

«этот смельчак (Володин. — П. О.) был симпатичен Рубину — Рубину тоже как простому человеку.

Но объективно — объективно этот человек, пожелавший сделать как будто добро, на самом деле выступал против положительных сил истории... И должен быть сметён» (том 3, стр. 274-275).

И именно в силу этих убеждений Рубина и лейтенант Смолосидов, и генерал Бульбанюк, которых он искренне ненавидит за их жестокость и бессердечность, становятся его союзниками, ибо

«на этом маленьком перекрёсточке истории, именно они (Смолосидов и Бульбанюк. — П. О.) объективно представляли собою ее положительные силы» (том 3, стр. 275).

² А. И. Солженицын. Собрание сочинений. Т. 4. В круге первом. Изд-во Посев, Франкфурт-на-Майне. 1970, стр. 564. Все последующие ссылки на произведения Солженицына взяты из этого «Собрания сочинений» и будут отмечаться впредь в тексте статьи с указанием тома и страницы. — П. О.

Проявление величия духа и душевной красоты в произведениях Солженицына может быть разделено на несколько категорий. Категории эти органически связаны между собой. Носители доброго начала в произведениях могут обладать одной или несколькими категориями, но читатель может составить единый образ духовного мира по элементам, которые автор заложил в целой галерее своих героев. Эти отличительные элементы сводятся в основном к следующим:

- безропотное перенесение страдания;
- любовь к ближнему;
- поиски смысла жизни, счастья и совести;
- извечные законы человеческой морали;
- победа мира духовной красоты и нравственных ценностей над материальными благами и достижение таким образом внутренней свободы;
- бессилье физического страха перед духовной силой;
- познавание истинного величия человека в страдании;
- принесение в жертву материальных благ и даже жизни для достижения духовного величия;
- пробуждение совести.

Постараемся подтвердить эти элементы на некоторых примерах, почерпнутых из произведений писателя.

Сибгатов, неизлечимо больной татарин из «Ракового корпуса», стоически переносит все страдания, выпавшие на его долю. Он сохраняет присутствие духа, и, несмотря на постоянную боль, глаза его светятся благодарностью. Насколько отличается его отношение к врачам и к другим больным от отношения Русанова, который постоянно требует к себе особого внимания, постоянно обвиняет других!

Сибгатов — «такой кроткий, вежливый, печальный... столь способный к благодарности» (том 2, стр. 71) — не отчаивается, и

«даже за эту убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары санитарок, казенной еды да игры в домино — даже за эту жизнь с зияющей спиной, на каждом обходе светились благодарностью его изболелые глаза» (т. 2, стр. 500).

Он испытывает чувство вины, что не может ничем помочь главному врачу, тоже больному раком. И глаза его говорят Донцовой:

«Я знаю, мать... И тот, кто меня родил, не сделал для меня больше. А я вот спасти тебя — не могу» (т. 2, стр. 500).

Это думает человек, сам приговоренный к смерти роковой болезнью.

Так же кротко переносит свою тяжелую жизнь санитарка Елизавета Анатольевна. Одна в ссылке, с сыном на руках, она должна ему заменить и отца, ибо тот в лагере, и только два письма получает она от него в год. Вышедшая из образованной семьи, с тонкой и чувствительной душой, читающая французские романы (только в них она и находит утешение), она безропотно выполняла черную работу санитарки, ползала под кроватями, опорожняла и натирала до сверкания плевательницы,

«и всё то тяжелое, неудобное и нечистое, что не положено было брать в руки сестре, она приносила и уносила.

И чем безропотнее работала, тем меньше ее в корпусе замечали» (т. 2, стр. 525).

С христианским смирением несет бремя лагерной жизни и баптист Алешка в «Одном дне Ивана Денисовича». На команду капитана Буйновского Алешка улыбается уступчиво:

«— Если нужно быстрее — давайте быстрее. Как вы скажете.

И потопали вниз.

Смирный — в бригаде клад» (т. 1, стр. 75).

Шухов думает о нем: «Неумелец он, всем угождает, а заработать не может» (т. 1, стр. 132).

Так же безропотно несет свою тяжелую долю и болезнь Матрёна («Матрёнин двор»). На окрик председательницы, что надо, мол, помочь колхозу, она отвечает:

«— Ну что ж... Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединёна. — И тут же спешно исправлялась: — Какому часу приходиться-то?» (т. 1, стр. 206).

И когда забирала ее болезнь, она «валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти» (т. 1, стр. 208).

Бескорыстная любовь, сострадание к ближнему и забота о нем ярче всего выражена в образе Матрены. Больная и живущая почти впроголодь, она всегда готова помочь другим в деревне:

«И Матрена не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти:

— Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-Богу правда!

Тем более не обходилась без Матрены ни одна пахота огорода» (т. 1, стр. 207).

Свою заботу о ближних она переносила и на животных. Она приютила у себя кошку.

«Кошка была немолода, а главное — колченога. Она из жалости была Матреной подобрана и прижилась» (т. 1, стр. 200).

С особой поэтичностью описана чета Кадминых из «Ракового корпуса». Вся их жизнь наполнена любовью к людям, животным и даже предметам, их окружающим. Только у них Олег Костоглотов находит душевный покой и дружбу. Мотив любви к животным наглядно показан и тут:

«Любовь к животным мы теперь не ставим в людях ни в грош... Но разлюбив сперва животных — не неизбежно ли мы потом разлюбиваем и людей?

Кадмины любят в каждом своем звере не шкурку, а личность. И та общая душевность, которую излучают супруги, безо всякой дрессировки, почти мгновенно усваивается и их животными» (т. 2, стр. 305).

Так же с любовью относится к животным и тетя Христина из пьесы «Свеча на ветру». И хотя сама живет в хижине и, наверно, впроголодь, она находит в себе достаточно жалости и для изувеченных животных:

«...И подбрасывают ей кошек, которых дети искалечили — с проглоченными иголками, с отрубленными лапами, в керосине обожженных... А она их жалеет» (т. 5, стр. 147).

Наряду с этой жалостью Христины к животным в пьесе показано бездушное отношение людей к своим родственникам. Филипп отправляет безнадежно больную жену в больницу, чтобы только освободиться от нее и без помех жить с Эни. Маврикий, безвольный, но не лишенный добра человек, тем не менее совершенно не интересуется судьбой дочери. Это бездушие людей еще ярче и глубже оттеняет гуманизм Христины.

В «Одном дне Ивана Денисовича» Шухов, получив два печенья от Цезаря, одно отдает Алешке-баптисту, хотя сам живет в лагере впроголодь. И Алешка, которому, наверно, живется труднее и голоднее всех в лагере, ибо «неумелец он», улыбается и говорит: «Спасибо! У вас самих нет!» (т. 1, стр. 132). Может быть, это одно печенье и есть мерило любви Шухова и самоотверженности Алешки. В других условиях это, конечно, выглядело бы просто, но в лагере, где «'подохни ты сегодня, а я завтра' — закон лагерный» (т. 5, стр. 63), это поистине самоотверженность.

Смысл жизни раскрывается Солженицыным совершенно в другом понимании, чем того требует материальный мир, в котором живут его герои.

Алекс в пьесе «Свеча на ветру», спрашивая: «Для меня главный вопрос в жизни был всегда: за чем?» (т. 5, стр. 179), так отвечает на него:

«... — Помнишь, говорил ты как-то, что гордился бы эстафету великой физики передать Двадцать Первому веку?

Филипп: Было, кажется.

Алекс: Так хотел бы я помочь донести туда одну эстафетку. Колеблемую свечечку нашей души (т. 5, стр. 199-200).

Именно в сохранении «колеблемой свечечки нашей души», в развитии душевной красоты, в победе духа над материей Солженицын видит наше призвание. В этой связи его толкование счастья полностью отличается от материалистического определения счастья на земле. И Алекс из пьесы «Свеча на ветру», и Шулубин из «Ракового корпуса» считают материальное счастье миражем, а настоящее счастье таким, каким Олег Костоглотов видит его у Кадминых:

«...совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а — отношение сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и другое — всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать» (т. 2, стр. 301-302).

Эту же мысль высказывает и Нержин в разговоре с Рубиным:

«...Так и счастье, так и счастье, Лёвушка, оно вовсе не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним!» (т. 3, стр. 49-50).

Совесь, сострадание и милосердие, а не погоня за внешними благами, определяют отношение этих героев Солженицына к жизни и к другим людям. Понимание совести как главного критерия человеческого поведения и делит героев Солженицына на два противоположных лагеря.

Алекс понимает, что жизнь дается один раз, но и совесть — только один, поэтому нельзя обладать одним, не имея другого. Филипп же подходит к жизни совсем по-другому. Его мировоззрение таково: «У нас одна жизнь, эта одна! — и надо прожить ее во всех крас-

ках!» (т. 5, стр. 159). Дипломат Володин впервые познает смысл жалости и совести, прочитав дневник матери. Жалость, о которой в школе говорилось, что это постыдное и унижительное чувство, вдруг предстает для него в новом свете. Мать его пишет: «Жалость — первое движение доброй души» (т. 4, стр. 481). И дальше:

«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя» (т. 4, стр. 481).

Познав духовный смысл жизни и счастья, сострадательный человек в произведениях Солженицына радикально меняет свое отношение к материальным ценностям. Он понимает их бренность и не только не пойдет на компромисс с совестью для получения этих благ, но даже наличие их он считает бесполезным. Истинное счастье он находит в величии духовных ценностей. В своем труде «Царство Духа и царство Кесаря» Бердяев писал:

«Свобода должна увеличиваться по мере приближения к духу и уменьшаться по мере приближения к материи»³.

Именно этим путем герои Солженицына обретают истинную, духовную свободу в мире материализма. Идея довольствования малым, отсутствие интереса к материальным благам и ощущение духовной свободы проходит через все произведения Солженицына.

Алешка-баптист говорит об этом Шухову:

«Из всего земного и бренного молиться нам Господь завещал только о хлебе насущном: 'Хлеб наш насущный даждь нам днесь!'» (т. 1, стр. 128).

Матрена находила верное средство вернуть себе доброе расположение духа работой:

³ Н. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря. Издательство УМСА-PRESS, Париж, 1951, стр. 99. — П. О.

«...И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрёна уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой» (т. 1, стр. 204).

Матрёна не гналась ни за нарядами, ни за обзаводом.

«...Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. ...она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...» (т. 1, стр. 231).

И Кадмины, получив маленький надел под огород, не стараются засеять его под овощи (их можно купить). Нет, они разобьют виноградник, по прутьям поднимется хмель, а рядом будут благоухать табаки. Олег Костоглов познает эту неприхотливость Кадминых, их удовлетворение малым, и думает:

«Вот так и жить, как Кадмины живут, — радоваться тому, что есть! Тот и мудрец, кто доволен немногим» (т. 2, стр. 308).

Какая пропасть между Кадмиными и Русановым, все мысли которого направлены на стяжание и который смог уничтожить жизнь человека из-за одной комнаты!

О бренности материальных благ восклицает и Алекс из пьесы «Свеча на ветру»:

«Зачем же отдавать лучшие годы, лучшие силы — за деньги, и деньги эти тут же разбрасывать на пустыки?» (т. 5, стр. 149).

Материальные ценности не приводят к душевному успокоению, и в этом отношении пророчески звучат слова тети Христины из этой же пьесы:

«И скажу душе моей: 'душа! много добра лежит у тебя на многие годы: Покойся, ешь, пей, веселись'. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (т. 5, стр. 195).

Материальные ценности и истинная, духовная свобода несовместимы. Только потеряв одно, приобретаешь другое. Мы видим настоящее проявление этой свободы

только у тех героев, которые потеряли свое служебное положение, которые не дорожат материальными благами.

В пьесе «Олень и шалашовка» Немов говорит:

«...Я тянулся — попасть в милость. С такой высокой лестницы скатился, а на последней ступеньке хотел удержаться. Гнуть других, только б не гнуться самому... А оказывается, куда вольней простому чумазому» (т. 5, стр. 84).

Герой другой пьесы («Свеча на ветру») Алекс понимает свое преимущество ничего не имущего человека над Филиппом, который всеми силами старается «делать дукаты», поскольку «ничто живое без дукатов не существует!» (т. 5, стр. 144). Алекс говорит ему:

«Вот как раз тут мое преимущество перед тобой: ничего не имея, я ничего не боюсь потерять» (т. 5, стр. 202).

С чувством собственного превосходства Костоглотов бросает Русанову в лицо (в повести «Раковый корпус»):

«— А мне не нужна пенсия! — свободно докрикивал Костоглотов. — У меня вот нет ни хрена — и я горжусь этим! И не стремлюсь! И не хочу иметь большей зарплаты — я ее презираю!» (т. 2, стр. 452).

Сильнее всех это чувство внутренней свободы выразил Бобынин («В круге первом») в разговоре с министром Абакумовым. Всемогущий сталинский министр, который мог арестовать и уничтожить любого человека на одной шестой части мира, чувствует свое бессилие перед этим заключенным инженером, которого он может расстрелять, но не может сломить.

Бобынин говорит ему:

«... — Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

— Сколько нужно — и вас заставим.

— Ошибаетесь, гражданин министр! — И сильные глаза Бобынина сверкнули ненавистью. — У меня ничего нет, вы по-

нимаете — нет ничего! Жену мою и моего ребенка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли. Имущества у меня всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот белье под ним без пуговиц (он обнажил грудь и показал) — казенное. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самого» (т. 3, стр. 118).

Подлинная душевная красота героев Солженицына и величие их духа становятся особенно рельефными при сравнении с темными силами зла. Герои Солженицына выходят из борьбы с этими силами окрепшие духом, и, потерпев физическое поражение, они обретают победу моральную. Никакая злая сила не может сломить их дух. Их цель в жизни полностью отличается от целей, узаконенных властью Кесаря. Они отстаивают свою моральную чистоту и готовы жертвовать даже жизнью ради своих идеалов. Физические страдания не страшат их, их единственное стремление — сохранить духовную чистоту. Миру физических наслаждений они предпочитают мир духовного общения и свободы духа. Они стоят в стороне от трафаретных лозунгов и жизни в коллективе. Эти люди стремятся найти духовный покой внутри себя, а не физическое удовлетворение своих желаний. И в этом — их опасность для материалистического мира коллектива, окружающего их. Их мировоззрение полностью отличается от образа мыслей человека «нового общества».

Живой носитель такого мировоззрения — Агния из романа «В круге первом».

«Эта девушка была откуда-то не с земли. По несчастью для себя она была утонченна и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить. Ее брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре словно она собиралась ими улететь. Никто и никогда не говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал его за поступки, как будто вполне обыкновенные, — она же поразительно усматривала в этих поступках низость, неблагородство» (т. 3, стр. 172-173).

Гуманизм и неподкупность — отличительные черты ее характера. Если в детстве она «всегда была распложена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы ее не секли», то, выросши, она стала за Церковь, потому что новая власть гнала ее. Она сознает, что люди, подобные ей, лишние в новом обществе. С горечью говорит она Яконову:

«— Наверное, тебя ждет слава, удача, стойкое благополучие... Но будешь ли ты счастлив, Антон?» (т. 3, стр. 181).

Душа Агнии жаждет героизма и самоотверженности, и потому она не переносит Наташу Ростову за то, что та не дает Пьеру примкнуть к декабристам. Когда же Яконов из служебных соображений подписывает пасквиль на западное общество, она, не колеблясь, возвращает ему обручальное кольцо с припиской «Митрополиту Кириллу», пошедшему в свое время на поклон к татарскому хану.

В споре с Олегом Костоглотовым Вега (доктор Вера Корнильевна Гангардт из «Ракового корпуса») старается показать ему красоту духовной близости и духовного общения. Костоглотов не может представить себе жизнь без возможности физической близости с женщиной и поэтому отказывается от гормонотерапии.

«И вдруг Вега, оставаясь невидимой, — не возразила, а вся рванулась где-то там:

— Да ведь неправда же!.. Да неужели вы так думаете? Я не поверю, что это думаете вы!.. Проверьте себя! Это — заимствованные, это — не самостоятельные настроения!» (т. 2, стр. 372).

... — Должен кто-то думать и иначе! Пусть кучка, горсточка — но иначе! А если только так — то среди кого ж тогда жить? Зачем?.. И можно ли!..» (т. 2, стр. 373).

Шулубин из «Ракового корпуса» следующим образом определяет свое видение светлого общества будущего:

«Явить миру такое общество, в котором все отношения, основания и законы будут вытекать из нравственности — и только из нее» (т. 2, стр. 489-490).

В разговоре с Вадимом он так объясняет свое понимание нравственных ценностей: «Направленные на взаимное высветление человеческих душ» (т. 2, стр. 422).

Этот же критерий душевной красоты находит и Нержин в своих исканиях народа (в романе «В круге первом»):

«...Народ — это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранный... Не по рождению, не по труду своих рук, и не по крыльям своей образованности отбираются люди в народ.

А — по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году.

Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу, чтобы стать человеком.

И через то — крупницей своего народа» (т. 4, стр. 544).

Солженицын уделяет особое место страданиям в возвышении духа, в победе духовного над материальным. Физические страдания укрепляют дух, «отграничивают душу». Но только сильные духом выходят победителями из этого поединка. Сравним Фетюкова («Один день Ивана Денисовича»), который опустился до последнего, и Алешку-баптиста из той же повести, который, несмотря на все страдания, сохраняет в себе «осколочек Мирового Духа». Алешка призывает Ивана Денисовича молиться не о лишней порции баланды:

«Молиться надо о духовном: чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал...» (т. 1, стр. 129).

Алешку не прельщает физическая свобода, он учит Шухова:

«— Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать! Апостол Павел вот как говорил: 'Что вы пла-

чете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса!» (т. 1, стр. 130).

Эту же идею благодатности страдания для расцвета духовной красоты выдвигает и Алекс в пьесе «Свеча на ветру»:

«...Надо подняться и понять: мы потеряли века или десятилетия, нас оскорбили, нас унижали, а мстить — не придется. И не надо... Страдание — это стержень для роста души. А довольный — всегда душою нищ» (т. 5, стр. 190).

Бердяев в своем труде «О рабстве и свободе человека» писал: «Согласие на рабство уменьшает боль, несогласие увеличивает боль»⁴, и там же: «Победа духа над рабством есть, прежде всего, победа над страхом, над страхом жизни и страхом смерти»⁵.

Произведения Солженицына показывают читателю именно эти принципы. Одни герои даже в условиях лагеря и тюрьмы остаются верными идеалам морали и душевной красоте, другие гнутся под страхом и становятся послушными рабами в руках власть имущих.

Так тяжкий млат,
Дробя стекло,
Кует булат*.

Мы наблюдаем рост духовной силы Нержина («В круге первом»), который думает,

«что лагеря только в первый год могли оглушить его, что теперь у него совсем другое дыхание, что он не станет карабкаться впридулки, не станет бояться общих, — а будет медленно,

⁴ Н. Бердяев. О рабстве и свободе человека. (Опыт персоналистической философии). Издательство YMCA-PRESS, Париж, 1950, стр. 25. — П. О.

⁵ Там же, стр. 207. — П. О.

* А. С. Пушкин. «Полтава». Полное сочинение в 10 т. Изд. 2-ое АН СССР, М. 1957. Т. 4, стр. 259. — Р е д .

со знанием жизненных глубин, выходить на утренний развод в телогрейке... и с выдержкой тянуть весь двенадцатичасовой день...» (т. 3, стр. 191-192).

Только в тюрьме Нержин узнает истинное величие человека. Победа над страхом вызывает в нем желание пуститься в море, ибо «не море топит, а лужа» (т. 3, стр. 219). Он страшится утонуть в луже шарашки, где у него гораздо больше привилегий, чем в лагере, и больше возможностей выжить физически. Но он выбирает «море». Пророчески звучат слова художника Кондрашёва-Иванова в разговоре с Нержиным: «...никакой лагерь не должен сломить душевной красоты человека!» (т. 3, стр. 358). Это и есть та победа духа над рабством, о которой говорил Бердяев.

Герои Солженицына верны принципам нравственности и совести. Они готовы жертвовать всем, даже своей жизнью, но не изменят и не пойдут на компромисс с совестью. Профессор Ржевский в своем труде «Прочтение творческого слова» пишет:

«Совесь, которая, по Солженицыну, есть требование справедливости, делает неправых и униженных людей бесстрашными и свободными внутренней духовной свободой»⁶.

В пьесе «Олень и шалашовка» Немов отказывается разделить свою возлюбленную Любу Негневицкую с лагерным врачом и готов идти в дальний лагерь почти на верную смерть. Елизавета Анатольевна, санитарка в «Раковом корпусе», рассказывает Олегу Костоготову о знакомой семье: двоих взрослых детей в этой семье, высылаемой из Ленинграда, вызывали в райком комсомола и предложили отказаться от родителей, обещая оставить их в Ленинграде.

⁶ Л. Ржевский. Прочтение творческого слова. Литературоведческие проблемы и анализы. Изд-во Нью-Йоркского Университета. Нью-Йорк, 1970, стр. 230. — П. О.

«А эти брат и сестра сказали: подумаем. Пришли домой, кинули в печку комсомольские билеты и стали собираться в ссылку» (т. 2, стр. 533).

О подвиге жен заключенных говорит Нержин. Они остаются верными своему обету, несмотря на все лишения: их гонят с работы, с квартир, знакомые и друзья отворачиваются от них, все общество подвергает их остракизму. Нержин поднимает за них тост со следующими словами:

«... — Я... видел сегодня жену. И увидел в ней... всех наших жен, измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим потому, что нам деться некуда, — а они? Выпьем — за них, приковавших себя к...

— Да! Какой святой подвиг! — воскликнул Кондрашёв» (т. 4, стр. 450).

Подлинный героизм и духовная сила инженера Герасимовича заставляет его отказаться от предложения Осколупова (в романе «В круге первом») сконструировать ночной фотоаппарат на ультра-красных лучах и маленький фотоаппаратик, чтобы вделывать их в дверные косяки. Разумеется, и тот, и другой — для ловли людей. Герасимович знает, что отказ повлечет за собой возврат в лагерь, что жена его — на пороге угасания. Она умоляла его на последнем свидании изобрести что-нибудь и ценою этого получить освобождение. И знает он, что с нею угаснет и сам.

«Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого вислощёкого тупорылого в генеральской папаше.

— Нет! Это не по моей специальности! — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности! Я — не ловец человеков! Довольно, что нас посадили...» (т. 4, стр. 696).

И Хоробров, другой инженер, ссылаемый обратно в лагерь, говорит с «нарастающим протестом в горле:

— Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!» (т. 4, стр. 799).

Духовная сила объединяет этих людей, они победили страх и принимают мученический венец без душевного трепета. Они едут в лагерь с гордо поднятой головой. На повороте

«очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина... Их плачивало уже нечто большее, чем теснота воронка» (т. 4, стр. 803).

Об этом подвиге профессор Плетнев в труде «А. И. Солженицын» пишет:

«Героизм их подвига, их служение добру, жертва ради того Высшего Совершенства — образа Божия, в душе пребывающего, соединили их в новом братстве Великомучеников сталинщины»⁷.

Все эти герои Солженицына верны своим идеалам, чиста их совесть и светла душа, во мраке тьмы они сохранили в себе образ Божий, не изменили и не соблазнились материальными благами. Они жили так, как этому учил Федотов в «Новом Граде»:

«Живи так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был бессмертен»⁸.

Совесть как таковая присуща не только положительным героям Солженицына, но и тем, которые погрязли в грехах или выросли в роскоши и никогда не видели другую, ужасную сторону жизни. Таковы Ефрем Поддубов в «Раковом корпусе» и Клара Макарыгина и Иннокентий Володин в романе «В круге первом». Эти герои являют собой яркий пример прозрения совести.

⁷ Р. Плетнев. А. И. Солженицын. Издание автора. Мюнхен, 1970, стр. 115. — П. О.

⁸ Г. П. Федотов. Новый Град. Сборник статей. Изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1952. Стр. 326. — П. О.

Однако наряду с ними проблески совести замечаются и у Симочки («В круге первом»), которой майор Шикин поручил следить за Нержиным, ибо он «враг», и которая вместо слезки влюбилась в него; и даже у Еминой, жены подполковника МВД в том же романе, увидевшей в Сологдине не «врага», а мужчину. У обеих женщин любовная страсть заставляет забыть их, что перед ними — заключенные, те «отъявленные бандиты», о которых их инструктировали кагебисты.

Процесс прозрения совести у Поддуева, Клары и Володина идет иным путем. Здесь главную роль играют внешние факторы, которые внезапно открывают им глаза на новый, доселе неведомый им мир. Таким стимулом прозрения совести у Поддуева оказался рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы?», который дает ему прочитать Олег Костоготов. Три указания Толстого, о которых я говорил выше, заставляют Поддуева оглянуться на пройденную жизнь. Он вспоминает трех жен, брошенных с детьми, и голос выбившегося из сил заключенного, которому он безжалостно приказывает дорыть траншею: «— Ничего. И ты будешь умирать, десятник!» (т. 2, стр. 232). Нависшая смерть заставляет Поддуева пересмотреть все свои взгляды на жизнь. До прочтения рассказа его жизнь сводилась к исполнению потребностей его плоти, он не знал другого наслаждения, кроме физического. Материальное благополучие было верхом его желаний и надежд. И только тут он понимает свою неправоту. Он скептически относится к Вадиму, фанатику коммунизма и работы на пользу общества, и говорит ему:

«— Умирать будешь — зачем тебе геология? Она тебе не поможет. Задумался бы лучше — чем люди живы?» (т. 2, стр. 228).

Проснувшаяся совесть открывает ему глаза, он чувствует, что «книга-то получалась очень правильная, если бы все сразу стали по ней жить...» (т. 2, стр. 234). Для себя он не ждет больше спасения. Даже не верит, что

чудесное излечение опухоли может спасти и его от смерти: «— Для этого надо, наверно... чистую совесть» (т. 2, стр. 154).

Клара выросла в семье советского сановника. Ей ни в чем не было отказа, и у нее никогда не возникало сомнений в правоте отца или строя. Сомнения начали возникать, когда она пролежала в больнице и дома почти год. Долгими бессонными ночами она думала о смысле жизни и «обнаружила в себе наклонности и даже, кажется, способности к важной, сложной жизни, перед которой весь институт ее был жалкая мелочь, трепотня» (т. 3, стр. 332-333). Но толчком для полного прозрения совести был опять-таки внешний фактор. Поднимаясь по лестнице в свою новую, фешенебельную квартиру, Клара увидела женщину-поломойку. Женщина подняла голову, и «ее жгучий презирающий взгляд испепелил Клару. Обданное брызгами мутной воды, это было выразительное интеллигентное лицо» (т. 3, стр. 335).

Сама того не зная, Клара впервые в жизни сталкивается с миром обездоленных заключенных. Прошло четыре года, но Клара никак не могла забыть взгляда и обходила это место, как бы боясь наступить на поломойку. Позже, поступив на работу в Маврино, она воочию убеждается, что заключенные арестованы безвинно. Она старается получить объяснение этому у критика Ланского, который с совершенным цинизмом поясняет, что это — закон больших чисел, что при крупном историческом событии жертвы неизбежны. И тут Клара бросает ему в лицо обвинение:

«— Ступеньки! — воскликнула она шепотом... — ...Материал! Вот на вас бы проверить закон больших чисел! У вас очень гладко всё идет и говорится, но неужели вы не видите, что не всё так, как вы пишете?» (т. 3, стр. 344).

Проснувшаяся совесть и милосердие приводят к тому, что она отвечает на поцелуй Руськи Доронина. Она

чувствует себя богиней, сходящей в подземелье к узнику. Этот поцелуй не кажется ей пошлостью. Проснувшаяся же совесть Клары ведет к открытому конфликту с отцом. Она обвиняет его в том, что и теперь люди идут на каторгу, и в том, что он живет в роскоши, тогда как другие ходят в рваных ботинках и живут в сараях. Ее совесть становится как бы олицетворением Немезиды в доме Макарыгина, она осыпает отца оскорблениями и предстает перед ним одновременно и любимой и ненавистной дочерью. Только Иннокентий Володин понимает ее и, выслушав, «взял ее за обе руки и, светло глядя, сказал:

— Клярет! Да ты соображать начинаешь!» (т. 3, стр. 336).

Иннокентий Володин, дипломат с блестящей карьерой, тоже вырос в мире роскоши. Он принадлежал к тому кругу, где не знали, что значит ходить пешком или ездить в метро, где даже не заботились об обстановке квартиры. Взгляд его на жизнь был таков: «Ведь жизнь дается нам только раз!» (т. 4, стр. 477). Но постепенно эта пустая и шикарная жизнь начинает стеснять Иннокентия. И совершенно случайно, проглядывая шкафы матери, к которой он не был привязан и даже смерть которой перенес равнодушно, он открывает новый мир в глубине этих старых шкафов. Впервые в жизни он познает смысл жалости и сострадания, и «созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже дается нам один только раз» (т. 4, стр. 484). Именно проснувшаяся совесть принуждает его предупредить доктора Доброумова об опасности, грозящей ему, и пожертвовать своей свободой, а может быть, и жизнью. Унижения, перенесенные им в первую ночь в тюрьме, вызывают в нем озлобление к своей совести, он проклинает свою чувствительность. Но уже на второй день

«движения его упорядочились, не было больше ни страха, ни угнетенности. Ясно представилось, что даже это гнездо леген-

дарных ужасов — Тюрьма Большая Лубянка — не страшна...» (т. 4, стр. 768).

Писатель большой правды Солженицын показывает нам душевную красоту и духовное величие своих героев. Они окружены физическим миром зла и материализма, миром грубой силы, который угнетает и безжалостно старается сломать их, но они не ищут физической победы. Победа их моральная, и только самоотверженным праведникам, людям, готовым всем пожертвовать из любви к человеку, открывается

«не чётко-реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышющийся, смутный и всё же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства, — ... в лучистом ореоле сиреневый замок Святого Грааля» (т. 3, стр. 360-361).

Оптимизм произведений Солженицына выражен именно в этих носителях добра, душевной красоты и неуклонной веры в христианский гуманизм и победу духовного мира над миром материи, ибо без этих праведников «не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша» (т. 1, стр. 231).

Петр Степанович Одабашьян родился в Казани в 1930 г. В 1932 г. с семьей переезжает в Иран. В 1962 г. — в США. Высшее образование П. С. Одабашьян получает в США, где в 1970 г. защищает докторскую диссертацию на тему «Исследование анимизма в романе 'Доктор Живаго'» в Пенсильванском университете. В последнее время П. С. Одабашьян был профессором в Ротирском университете (Русский отдел). Скончался летом 1973 г., после тяжелой болезни. — Р е д .

Ф. И. ТЮТЧЕВ

1803 - 1873

Когда Тютчев скончался 15 июля 1873 г., Тургенев написал: «Милый, умный, как день умный Федор Иванович, прости — прощай»¹. Не один Тургенев признавал ум Тютчева: Жуковский, Пушкин, Чаадаев, Вяземский, Достоевский, Некрасов, Фет и многие другие сочувственно, а иногда и восторженно отзывались о его блестящих умственных дарованиях. Лев Толстой даже утверждал: «Без Тютчева нельзя жить»². Однако в течение своей жизни Тютчев-лирик не пользовался широкой популярностью: он так и остался «поэтом для немногих»³. Зато едкие, меткие и иногда красноречивые политические стихи Тютчева списывались и ходили по рукам в обеих столицах России. Консервативные круги восхищались навеянными славянофильством и панславизмом строками, вызванными злободневными событиями на международной арене.

Но в свое время Тютчев был более всего знаменит как салонный острослов. По этому поводу Вяземский писал:

«Если он и не *златоуст*, то *жемчужноуст*. Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бессознательно спадавших с языка его!»⁴.

Образом «жемчужноуста» пользуется В. А. Соллогуб в следующем изображении Тютчева:

«Он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами... Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с уст его... Когда он начинал говорить, рассказывать, все

мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышалось голос Тютчева; я думаю, что главной прелестью Тютчева в этом случае было то, что рассказы его и замечания *could be de source...* в них не было ничего приготовленного, выученного, придуманного...»⁵.

М. П. Погодин также дает нам яркую виньетку:

«К нему подходит кто-то и заводит разговор... слово за слово, что-то его задело... он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация. ...Вот он роняет, сам того не примечая, несколько выражений, замечательных особой силой ума, несколько остроумных, которые тут же подслушиваются соседями и передаются шепотом по всем гостиным»⁶.

А. В. Никитенко описывает Тютчева такими словами:

«Речь его отличалась своеобразным изяществом: говоря с некоторою расстановкою и медлительностью, он поражал вас или неожиданным блестящим оборотом, счастливою какой-то находчивостью, или остроумною, тонкою заметкою»⁷.

В. П. Мецкерский придает особое значение непри-
нужденности тютчевского разговора:

«С неисчерпаемым поэтическим чувством он был неисчерпаемо остроумен, но это остроумие было потому всегда обаятельно и прелестно, что оно скорее было добродушно, чем едко-зло... никогда не было натяжки или усилия в его остроумии, никогда речи на показе»⁸.

Но, пожалуй, лучший портрет Тютчева — велико-
светского собеседника принадлежит перу его зятя И. С. Аксакова:

«Его присутствием оживлялась всякая беседа: неистощимо сыпались блёстки его чарующего остроумия; жадно подхватывались окружающими его меткие изречения, из которых каждое было в роде артистическим изделием самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки... блеск и обаяние света

возбудили его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом *тщеславного расчёта*: он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко гениальные, изречения»⁹.

Скромность поэта подчеркивали не только Мещерский и Аксаков, но и О. Смирнова:

„Tutcheff laissait tomber des mots charmants, d'un air détaché et nonchalant; je n'ai jamais vu quelqu'un qui fût plus entièrement dépourvu de vanité ou du désir de produire un effet sur son auditoire“¹⁰.

Отрывок из анонимного некролога подтверждает это суждение и резюмирует впечатление, которое Тютчев, должно быть, производил на многих современников: он говорил

«тем неподдельным тоном утонченного, благовоспитанного человека, в тех полушутливых, снисходительных, беспредельно вежливых оборотах речи, которые сродни представителям 18-го века»¹¹.

Представителем XVIII в. Тютчев не был, но многие удивились, узнав после его смерти, что он чуть ли не ровесник Пушкина. До нас дошел лишь один портрет молодого Тютчева, на котором он походит на Карамзина¹², тогда как портрет Тютчева в среднем возрасте напоминает Мериме¹³. Но почти у всех запечатлелся образ Тютчева-старика. Ведь когда он вернулся в Россию в 1844 г. после двадцатидвухлетнего отсутствия за рубежом, он был уже на сорок втором году жизни. Трудно найти учебник истории русской литературы, в котором Тютчев не был бы включен в период 1850—1860 гг., хотя добрая половина его лучших стихов была написана до 1838 г. Словом, благодаря своеобразным обстоятельствам личной судьбы поэта почти все описания очевидцев представляют его как дряхлого старика (хо-

тя ему было всего шестьдесят девять лет, когда он умер).

Как он выглядел в эти годы? Одну из наиболее ярких картин начертал М. П. Погодин:

«Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков последними волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни с одной пуговицей, застегнутой, как надо, вот он входит в ярко освещенную залу. Музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердою поступью вдоль стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает всё собрание»¹⁴.

М. С. Сабина описывает его сходными словами:

«Он был маленького роста, худое лицо его бледное, с тонкими чертами, полудлинные седые волосы в поэтическом беспорядке окружали его голову; по туалету видно было, как мало он обращает на него внимания. Походка его была походкой рассеянного человека; он останавливался, прищуривая глаза по близорукости, пристально смотрел на один предмет, но при этом было видно, что он думает о совсем другом»¹⁵.

Это описание вводит новое качество — рассеянность поэта. Она анализируется другим мемуаристом:

«Федор Иванович ... был очень рассеян и мало занимался как своим туалетом, так и прочими внешними условиями жизни... Его наружность... была самая оригинальная. Блуждающий взгляд, всегда направленный сверх его золотых очков, его огромный выпуклый лоб и непокорная прядь седых волос, которая слишком часто висела на затылке, касаясь воротника его одежды, вместо того, чтобы прикрывать лишенную волос голову, и привычный ему небрежный тон, с которым он выражался, производили престранное впечатление. Его часто можно было встретить пешком по улицам Петербурга, в шинели, спускавшейся с одного плеча, с шарфом, повязанным на одной стороне и с шляпой, надетой на затылок, гуляющим с каким-то растерянным видом»¹⁶.

К. Ф. Головину запомнились в частности глаза Тютчева:

«Ф. И. Тютчев, очень напоминавший портрет Пьера, как-то особенно блестел глазами из-под стекол очков, таких-то выполированных, как его отточенная речь. На улице он носил вечно какой-то зеленоватый плащ, постоянно соскользавший с правого плеча»¹⁷.

А. Е. Егоров придает портрету более неуловимый штрих — оттенок присущего Тютчеву величия. Он говорит про

«выразительное лицо его, с тонкими чертами и большим лбом, в очках, из-под которых выглядывали умные, но как бы утомленные глаза, которые невольно обращали на себя внимание и заставляли догадываться, что в старческом облике всей фигуры этого человека скрывается незаурядная натура»¹⁸.

Такое же впечатление получил Аксаков:

«Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокою думою; с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, — хилый, немощный по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной неутомной мысли»¹⁹.

Аксаков передает свое впечатление о человеке, имеющем мало общего с материальным миром. Мещерский пишет:

«Реальная проза жизни для него не существовала... Он жизнь свою делил между поэтическими и политическими впечатлениями и, отдаваясь им, он мог забывать время, место и давно такие прозаические вещи, как еда, сон или такие снимающие свободу вещи, как аккуратность, дисциплина, придворный этикет...²⁰, с необыкновенною даровитостью природы (он) соединял поразительную, чудовищную беспечность к самому себе»²¹.

Один анонимный мемуарист писал об «этой самой небрежности, этом полном равнодушии к себе самому, к тем ничтожным подробностям вещественного существования»²². О. Смирнова определяет Тютчева посредством любопытного образа: „Il avait l'air d'une âme qui a rencontré un corps par hasard et qui s'en tire comme elle peut“²³.

Дочь Тютчева, Анна, лучше всех понимавшая его, пишет следующее:

«Он мне представляется одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души. Он совершенно вне всяких законов и правил. Он поражает воображение, но в нем есть что-то жуткое и беспокойное»²⁴.

Таков дошедший до нас образ поэта: вдохновенный творец, погруженный в мир внутреннего созерцания, витающий над пошлой мелочностью существования, бродящий по улицам в поношенном и волочащемся по земле пальто. Хотя эта картина несколько преувеличена, она передает наиболее важную особенность Тютчева — его замкнутость. Первый биограф поэта, И. С. Аксаков, видит именно в этой замкнутости суть характера Тютчева:

«Вообще его ум, непрерывно питаемый и обогащаемый знанием, *постоянно мыслил*. Каждое его слово сочилось мыслью... выдающейся, преобладающею стихией в Тютчеве была *мысль*... жить значило для него *мыслить*, мыслительность была в нем природною, существеннейшею жизненною стихией...»²⁵.

Плоды этой долгой, постоянной умственной деятельности невелики: всего около четырехсот коротких стихотворений²⁶, четыре политических статьи, набросок неосуществленного трактата „La Russie et l'Occident“, письма и несколько острот. В основе всех этих элементов творческого наследия Тютчева лежала глубокая мысль, которая чаще всего выражалась в изумительно тонком и точном художественном образе. По словам

Аксакова, Тютчев мыслил образами²⁷. Его творческое наследие невелико потому, что писанию он предпочитал разговор (а разговору — мышление). Как сказал Аксаков, «частые беседы Тютчева... были также... своего рода *делом*»²⁸. Это мнение было повторено Погодиным: «Настоящей службой его была беседа в обществе»²⁹.

Читая строки поэта, как бы подслушиваешь салонную беседу. Прошло сто семьдесят лет со дня рождения Тютчева и сто лет со дня его смерти, но его слова всё еще звучат как живая речь. Как верно определил Аксаков:

«Он был постоянно и естественно современен, и даже упреждал мыслью время... а (его) мысль, по самому существу своему, не то что вечно юна, но вечно зрела или точнее сказать не ведает возраста... В разговорах с этим седовласым или почти безвласым, нередко хворым, чуть не семидесятилетним стариком, почти всегда заснувшим и согревавшим спину пледом, не помнилось об его летах, и никто не относился к нему как к старику»³⁰.

Тютчев никогда не устареет.

Отмеченные выше качества — добродушие, остроумие, талантливость, рассеянность, задумчивость, замкнутость — очевидны также в стихотворениях, посвященных Тютчеву русскими поэтами. В строках лично знавшей Тютчева Ростопчиной, содержащихся в 76—77 строфах сатирического «Дома Сумасшедших» (см. ниже), ощущается сочувствие поэтессы к «тощему, посделому, жизнью сломанному поэту». Слова «в ком душа убила тело» могли бы служить эпитафией Тютчеву. Подобно «Дому Сумасшедших», стихи Апухтина изображают Тютчева — салонного остряка. Многие подробности перекликаются с данными в вышеприведенных отрывках. Стихи Полонского подчеркивают идеалистическую натуру Тютчева. Они напоминают многие проникновенные некрологические стихи, написанные самим Тютчевым в последние годы жизни. Полон-

ский и Майков говорят о патриотизме поэта. В стихотворении «Ф. И. Тютчеву» Майков употребляет образ: «зрячий», который «бродит между слепых», — образ весьма уместный в применении к Тютчеву. Майков также уделил своему другу восемь строф (40 строк) в «Княжне***», длинной «Трагедии в октавах». Пророчески-политическая речь, влагаемая в уста Тютчева, занимает семь строф. В воспроизведенной ниже восьмой строфе Майков дает ясную картину Тютчева, «полного видений существа». В своем стихотворении Яхонтов обращается прямо к Тютчеву. Его предсмертное состояние описывается идеалистично, поэтично, возвышенно. Всем известны строки Фета в стихотворении «Вот наш патент на благородство...». Как и Тургенев, Фет считал Тютчева «поэтом для немногих», и его предсказание «К зырянам Тютчев не придет» гордо отвергают в книгах о просвещении народа Коми. Заключительные слова Фета о весомости и качестве скудного поэтического наследия Тютчева часто цитируются.

Стихи Иваненко (см. ниже) отметили столетний юбилей рождения Тютчева. Теперь, семьдесят лет спустя, первая строфа имеет не менее актуальное значение:

Сто лет прошло со дня рожденья,
Но он нам близок: каждый раз
Его прекрасные творенья
И мысль, и чувство будят в нас.

СТИХОТВОРЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Е. П. Ростопчина

...С ними тощий, поседелый,
Жизнью сломанный поэт,
В ком душа убила тело,
И горит духовный свет...

На лице, умно-прекрасном,
На измученных чертах
Есть рассказ о горе страстном,
О мучительных борьбах...

Потому всегда готово
Для страданий, слез чужих
У него участия слово,
Дань святая чувств святых...
Кроткий духом, мягкий нравом,
Как-то дипломат-певец
Сладит с цензорским уставом,
От волков спасет овец?..

(«Дом сумасшедших», 1856 г., строфы 76—77. «Русская Старица», т. 45 стр. 709. 1885).

А. Н. Апухтин

Ни у домашнего, простого камелька,
Ни в шуме светских фраз и суеты салонной
Нам не забыть его, седого старика,
С улыбкой едкою, с душою благосклонной!
Ленивой поступью прошел он жизни путь,
Но мыслью обнял всё, что на пути заметил,
И перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть,
Он был как голубь чист и как младенец светел.
Искусства, знания, события наших дней, —
Всё отклик верный в нем будило неизбежно,
И словом, брошенным на факты и людей,
Он клейма вечные накладывал небрежно...
Вы помните его в кругу его друзей?
Как мысли сыпались нежданные, живые,
Как забывали мы под звук его речей
И вечер длившийся, и годы прожитые!

В нем злобы не было. Когда ж он говорил,
Язвительно смеясь над жизнью или веком,
То самый смех его нас с жизнью мирил,
А светлый лик его мирил нас с человеком!

(«Памяти Ф. И. Тютчева», 1873 г. Стихотворения, стр. 156.
Л., 1961).

Я. П. Полонский

Оттого ль, что в Божьем мире
Красота вечна,
У него в душе витала
Вечная весна;
Освежала зной грозою
И, сквозь капли слёз,
В тучах радугой мелькала, —
Отраженьем грёз!..
Оттого ль, что от бездушья,
Иль от злобы дня,
Ярче в нем сверкали искры
Божьего огня, —
С ранних лет и до преклонных,
Безотрадных лет,
Был к нему равнодушен
Равнодушный свет!
Оттого ль, что не от света
Он спасенья ждал,
Выше всех земных кумиров
Ставил идеал..
Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И, как звездный луч, тянула
В бесконечный путь!..
Оттого ль, что он в народ свой
Верил и — страдал,

И ему на цепи братьев
Издали казал, —
Чую, — дух его то верит,
То страдает вновь,
Ибо льется кровь за братьев,
Льется наша кровь...

(«Памяти Ф. И. Тютчева», 1873 г. Стихотворения. Л., 1957).

А. Н. Майков

Народы, племена, их гений, их судьбы
Стоят перед тобой своей идеи полны,
Как вдруг застывшие в разбеге бурном волны,
Как в самый жаркий миг отчаянной борьбы
Окаменевшие атлеты...
Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг,
И ясен для тебя и настоящий миг
И тайные грядущего обеты...
Но грустно зрячему бродить между слепых!
«Поймите лишь — твердит — и будет вам прозренье!
Поймите лишь, каких носители вы сил, —
И путь осветится, и все падут сомненья,
И дастся вам само, что жребий нам судил!»

(«Ф. И. Тютчеву», 1873 г. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 186, СПб, 1914).

А. Н. Майков

...Другой поэт — он, голову понуря,
Сидел и слушал, но в душе его
Уж видимо накапливалась буря...
О, полное видений существо!

Я как теперь гляжу: глаза зажмуря,
Как бы помимо зримого всего,
Ты в глубь веков уносишься душою
И говоришь как будто сам с собою...

(«Княжна***». Трагедия в октавах, 1877 г. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 252—254, 1914).

А. Н. Яхонтов

От мира в бытие иное
Ты светлым духом отлетел,
Переступил, свершив земное,
Существования предел.
Ты угасал, но сердце жило,
И ум сиял, как Божий день,
Роскошной прелестью и силой...
Не весь исчез ты за могилой
И не сошел в немую тень —
Нет, с ореолом вдохновенья
Под говор жизни ты уснул,
Ты слился с вечностью творенья,
В любви и свете утонул.
И словно отблеск сфер блаженных,
Оставил здесь лучистый след
Умом твоим запечатленных
Идей изящных и бесед.
Да, полные благоуханья
Цветы и перлы прежних дней —
Твоей поэзии созданья —
Бледнеют в творчестве сиянья
Маститой старости твоей!

Поэт, тебя переживая,
Молва венец тебе сплела...
И мощь и речь твоя живая
В предсмертном вздохе замерла.

(«Памяти Ф. И. Тютчева», 1874 г. Литературное наследство, тт. 51—52, стр. 420, 1949).

А. А. Фет

Вот наш патент на благородство, —
Его вручает нам поэт:
Здесь — духа мощного господство,
Здесь — утонченной жизни цвет.
В Сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.
Но муза, правду соблюдая,
Глядит, — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

(«На книжке стихотворений Ф. И. Тютчева», 1883 г. Полное собрание сочинений А. А. Фета, т. I, стр. 97, СПб, 1912).

С. Иваненко

Сто лет прошло со дня рожденья,
Но он нам близок: каждый раз
Его прекрасные творенья
И мысль, и чувство будят в нас.

Любил он родину, и выи
Пред гордым западом не гнул,
В сердца разбитые, больные
С участием брата заглянул.

«День пережит — и слава Богу»,
Он говорил на склоне лет,
И жизни трудную дорогу
Прошел безропотно поэт.

И, осудив насилье строго,
Любовь и мир нам завещал,
Велик перед престолом Бога
Его заветный идеал.

И мысль его в полете смелом
Мир человека обняла...
Бессмертье будет пусть уделом
Его высокого чела.

Я, века прошлого обломок,
Хвалю Всевышнего Творца
За то, что Тютчевский потомок
Чтить в силах славного певца.

(«Памяти Ф. И. Тютчева», 1903 г. Русский Архив № 1, стр. 512, т. I, 1904).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Письмо к А. А. Фету от 21 августа 1873 г. А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, стр. 279. М., 1890.

² Уралия. «Тютчевский альманах». 1803-1928, стр. 247. Л., 1928.

³ Выражение Тургенева.

⁴ Курсив Вяземского. Письмо П. А. Вяземского к П. И. Бартеневу, конец июля 1873 г. См. И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева, стр. 179. М., 1886. В следующих цитатах мы воспроизводим самобытный, а иногда и безграмотный язык современников Тютчева.

⁵ В. А. Соллогуб. Воспоминания, 1887, стр. 215. СПб. См. также Д. Д. Благой. Три века, стр. 250. М., 1933.

⁶ «Русский архив», № 38, 1900, ч. I, стр. 414.

⁷ А. В. Никитенко. Ф. И. Тютчев. «Русская старина», т. 8, стр. 1. 1873.

⁸ В. П. Мещерский. Ф. И. Тютчев. «Гражданин», 24 авг., 1873.

⁹ И. С. Аксаков. Цит. изд., стр. стр. 50, 41. Курсив Аксакова.

¹⁰ E. Smirnoff. Etudes et souvenirs. „La Nouvelle Revue“, vol. 37, 1885, p. 408.

¹¹ Выдержки из частного письма по поводу кончины Ф. И. Тютчева, «Русский архив», № 5, стр. 1375. 1874.

¹² См. Ф. И. Тютчев. Лирика. Издание подготовил К. В. Пигарев, т. II, стр. стр. 48-49. М., 1965.

¹³ Там же, т. I, стр. стр. 64-65.

¹⁴ «Русский архив», № 38, ч. I, стр. 414. 1900.

¹⁵ Из записок Марфы Степановны Сабининой, «Русский архив», № 39, ч. I, стр. 274. 1901.

¹⁶ «Русский архив», № 33, ч. III, стр. 474. 1895.

¹⁷ К. Ф. Головин. Мои воспоминания, 2 тт. Т. I, стр. 68. СПб. 1908-1910.

¹⁸ А. Е. Егоров. Страницы из моей жизни. «Исторический вестник», т. 127, стр. 60. 1912.

¹⁹ Аксаков, цит. изд., стр. 50.

²⁰ В. П. Мещерский. Мои воспоминания, ч. I, стр. 324. СПб., 1897.

²¹ В. П. Мещерский. Федор Иванович Тютчев, «Гражданин», № 49, стр. 1252. 1874.

²² Выдержки из частного письма по поводу кончины Ф. И. Тютчева. «Русский архив», № 5, стр. 1374. 1874.

²³ Smirnoff, op. cit., p. 480.

²⁴ Письмо А. Ф. Тютчевой к сестре Дарье от 17 июня 1854 г. См. Федор Иванович Тютчев в письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову (1866-1867 гг.), стр. 3. Л., 1926.

²⁵ И. С. Аксаков, цит. изд., стр. стр. 45, 292, 319. Курсив Аксакова.

²⁶ В 1833 г. Тютчев случайно уничтожил бóльшую часть своих стихов. См. Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма. Стр. 376. М., 1957.

²⁷ И. С. Аксаков, цит. изд., стр. 106.

²⁸ Там же, стр. 266. Курсив Аксакова.

²⁹ М. П. Погодин. Воспоминание о Ф. И. Тютчеве. «Московские Ведомости», стр. 3. 29 июля 1873.

³⁰ И. С. Аксаков, цит. изд., стр. стр. 299, 292.

О композиторе Б. Тищенко и советской монополии на музыкальные произведения

Кому принадлежат духовные ценности народа? Кто вправе ими распоряжаться в демократическом государстве? Мы неоднократно слышали заверения советских властей о том, что «искусство принадлежит народу». Поэтому народ и должен быть судьей и верным хранителем художественных сокровищ. Запрет исполнять в публичных местах произведения музыкального искусства только по той причине, что оно не по вкусу верховному цензурному жандарму, можно рассматривать как акт произвола и глумления над демократией.

В данном случае я задал вопрос относительно музыкального произведения большого русского композитора Бориса Ивановича Тищенко. Речь идет о его «Реквиеме». Это произведение было создано в Ленинграде в 1966 году, но до сих пор оно не издано в СССР и не исполняется. А между тем это произведение Тищенко могло бы доставить слушателям истинное наслаждение и вызвать чувство гордости, которое испытываешь, встречаясь с высокоталантливым опусом композитора. И не только в СССР оно произвело бы неотразимое впечатление, но и далеко за пределами страны. Причиной тому в первую очередь высокие эмоциональные переживания, искренние чувства, ярчайшее проявление таланта творца звуков.

Главная причина отсутствия этого произведения в концертных программах: «Реквием» написан на текст одноименной поэмы Анны Ахматовой. Мне рассказывали, что в СССР опасно хранить в личной библиотеке «Реквием» Ахматовой. В случае обыска эта книга уже становится вещественной уликой, свидетельствующей о свободомыслии ее обладателя. Создание музыкального произведения на стихи, которые считаются запретными, вероятно, двойной «грех». Но этот «грех» еще усугубляется тем, что музыкальное произведение — очень ярко по своему талантливому воплощению.

Если говорить о новом поколении русских композиторов, которые должны прийти на смену умерших Прокофьева, Стравинского, ныне здравствующего Дмитрия Шостаковича, в первую очередь хочется назвать Бориса Ивановича Тищенко. Его творчество явно вышашается над художественным уровнем современных русских композиторов. И в этой оценке нет никакого преувеличения. Другое дело, что в СССР всеми силами стараются преградить путь Борису Тищенко к его заслуженному признанию. Нельзя сказать, что бы его произведения совсем не появлялись в концертных программах в СССР. Некоторые произведения исполняются. Некоторые издаются и звучат по радио. К примеру, недавно в Ленинграде с огромным успехом был исполнен «Двойной концерт» Тищенко для флейты и фортепиано с оркестром. Конечно, в этом сугубо инструментальном произведении отсутствуют «крамольные» слова, и придаться не к чему. Время покажет, с какой заинтересованностью это произведение будут пропагандировать и дальше. Но в данном случае я хочу снова вернуться к судьбе «Реквиема» Бориса Тищенко.

Небольшая биографическая справка. Борис Иванович Тищенко родился 23 марта 1939 г. в Ленинграде. Лишь в двенадцатилетнем возрасте он смог приступить к систематическим музыкальным занятиям. Возможно,

это было результатом военных потрясений, а также и трудностей, что касается избрания музыкального пути. Сперва систематические занятия проходили в одном из ленинградских Дворцов пионеров и школьников, где занимаются музыкой лишь в плане детской художественной самодеятельности. Более целеустремленные музыкальные занятия в советской системе образования ведутся в специальных музыкальных школах.

Мальчик настолько пристрастился к музыке, что его успехи в занятиях были поистине поразительны. Спустя три года, в 1954 г., он оказался вполне подготовленным для поступления в музыкальное училище при Ленинградской консерватории.

После успешных конкурсных экзаменов (желающих попасть в это училище слишком много!) его приняли в класс фортепиано к педагогу Вере Леонтьевне Михелис. Здесь же, в училище, развернулись и композиторские способности мальчика; его наставником в области сочинения музыки стала композитор Галина Ивановна Уствольская, ученица Дмитрия Шостаковича. Спустя два года после поступления в музыкальное училище Борис Тищенко создает «Вариации» для фортепиано (1956 г.) — солидное произведение, глубоко заинтересовавшее музыкальные круги. В том же году семнадцатилетний композитор пишет «Рондо» для скрипки и фортепиано, в котором уже чувствуется свежесть мысли, собственный композиторский почерк.

В восемнадцатилетнем возрасте Борис Тищенко становится плодовитым композитором. К 1957 году относятся следующие сочинения: Первая сюита для фортепиано, Соната для скрипки соло, Вторая сюита для фортепиано, Первый струнный квартет и другие композиции. В 1957 году Тищенко был принят в Ленинградскую консерваторию. Здесь он стал заниматься одновременно по двум специальностям. Игру на фортепиано он изучает под руководством А. Д. Логовинского — ученика знаменитого профессора Г. Г. Нейгауза. Его педа-

гонами по композиции стали В. Н. Салманов, В. В. Волошинов и ученик Дм. Шостаковича — Орест Александрович Евлахов. С педагогами у него быстро устанавливаются дружеские взаимоотношения; становится ясным, что необычайное дарование Тищенко требует чуткого отношения. Иначе и не могло быть: педагоги понимали, что их ученик создает вполне зрелые композиции. Так, в консерваторские годы Тищенко сочинил «Концерт» для скрипки с оркестром (1958), «Французскую симфонию» для большого оркестра (1958), вокальный цикл «Белый аист» на стихи О. Шестинского (1958), Второй струнный квартет (1959), Первую симфонию (1960), Концерт для фортепиано с симфоническим оркестром (1961) и другие композиции. Отдавая дань идеологическим требованиям, которые ставятся перед всеми советскими композиторами, Тищенко пишет в 1959 г. кантату «Ленин жив» на стихи В. Маяковского. Это произведение в свое время широко рекламировалось, но оно не стало заметным явлением в творчестве Тищенко.

Молодой композитор многими художественными нитями был связан с эстетическими принципами Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это была не только симпатия к творчеству большого музыканта, но и явное стремление глубже познать его композиторский опыт. Окончив в 1962 г. Ленинградскую консерваторию, Борис Тищенко поступает в аспирантуру в класс Д. Д. Шостаковича. В 1962 г. его приняли в члены ССК (Союза советских композиторов), что означало признание его композиторской зрелости. Но сам Тищенко, несмотря на это, считал необходимым усовершенствовать свое композиторское мастерство у Шостаковича и занимался под его руководством — в аспирантуре — до 1965 года.

К этому периоду относится создание монументального произведения Тищенко — Первый концерт для виолончели в сопровождении семнадцати духовых, ударных и фисгармонии (1963). Этот опус вызвал оживленные споры. В принципе никто не мог не отметить высо-

кую художественность этого произведения. Композитор нарушал в нем установившиеся каноны, проявлял свободомыслие. Исполнение этого произведения пугало догматиков, но сторонники свежей мысли, внимающие истинному проявлению таланта, восторженно встретили виолончельный концерт. Ожесточенный спор предстояло решить за пределами СССР, в данном случае в Праге. На международном фестивале музыки «Пражская весна» в 1966 году были представлены знаменитые деятели современной музыкальной культуры. Это был период относительной независимости в оценке художественных явлений, независимости (относительной!) от партийных регламентаций в области литературы и искусства, когда в Чехословакии допускалось торжество реабилитации невинных жертв сталинизма. Во время фестиваля «Пражская весна» был организован международный конкурс молодых композиторов. Строгое и беспристрастное жюри конкурса присудило произведению Бориса Тищенко первую премию.

Но в официальных кругах партийного руководства Союза советских композиторов к творчеству Тищенко относились с явным предубеждением. Причиной тому был его вокальный цикл «Грустные песни» для голоса (сопрано) в сопровождении фортепиано. Среди авторов стихов оказался поэт Иосиф Бродский. Его имя стояло рядом с именами М. Лермонтова и П. Шелли. Так получилось, что из советских поэтов Тищенко избрал только Бродского. Это пришлось не по вкусу «вышестоящим инстанциям».

В 1963 г. Борис Тищенко сочинил музыку балета «Двенадцать» по мотивам поэмы А. Блока (либретто хореографа Леонида Якобсона). Этот балет был поставлен на сцене Ленинградского оперного театра им. С. М. Кирова (премьера состоялась 31. 12. 1964). Дирижировал талантливый Игорь Блажков, активный пропагандист современной музыки. Напомним, что официальная советская пресса резко выступала против концертных

программ Игоря Блажкова, где широко была представлена современная зарубежная музыка, в результате чего он был освобожден от работы в Ленинграде. В настоящее время этот замечательный дирижер живет в Киеве и руководит там камерным оркестром. Талантливому произведению Тищенко (я имею в виду балет «Двенадцать») не предоставили условий для широкой популяризации, о чем можно говорить с глубоким чувством сожаления.

В 1964 году Борис Тищенко сочинил свою Вторую симфонию. Эта симфония написана для смешанного хора и большого оркестра. В качестве автора текста Тищенко избрал поэта Марину Цветаеву. Сама симфония носит название «Марина». Это превосходное произведение монументального склада (длительность симфонии 50 минут) с драматической глубиной, трагической выразительностью и конкретностью рассказывает о судьбе большого поэта — Марины Цветаевой.

Можно подумать, что такое «вольномыслие» было данью времени — «оттепели» в литературе, в кинематографии и в изобразительном искусстве СССР. Действительно, «оттепель» коснулась и советского музыкального искусства. Стало возможным говорить об исправлении ошибок в партийной оценке некоторых советских опер. На сцену вернулась опера Шостаковича «Катерина Измайлова». С имени многих советских композиторов была снята зловецкая кличка «формалиста». Среди таких «формалистов» числился даже Сергей Прокофьев. Этот позорный факт, как известно, раскрыл виолончелист Мстислав Ростропович в своем письме в защиту Солженицына.

Но не только «оттепелью» определяется обращение Бориса Тищенко к поэзии Марины Цветаевой. И доказательством тому служит факт, что в 1970 году Борис Тищенко создает «Три песни» для сопрано в сопровождении рояля на стихи Марины Цветаевой. Нельзя не обратить внимание и на то, что Вторая симфония («Ма-

рина») и «Три песни» на стихи Цветаевой до сегодняшнего дня не изданы.

А теперь снова о «Реквиеме». Увлечение Бориса Тищенко поэзией Анны Андреевны Ахматовой вполне закономерно. Уместно напомнить, что многие русские и советские композиторы обращались к поэзии Анны Ахматовой, в том числе и Сергей Прокофьев. Но Борис Тищенко избрал самое трагическое произведение Ахматовой, в котором правда дана без прикрас, в котором на место социалистического реализма стал реалистический социализм.

«Реквием» Бориса Тищенко написан для сопрано, тенора и симфонического оркестра. Он длится в исполнении шестьдесят минут!

Это произведение известно узкому кругу советских музыкантов, и по единодушному мнению их считается выдающимся. В такой оценке сходятся все, кому довелось его услышать. В числе слушателей был композитор Дмитрий Шостакович.

В моих руках находится небольшая книжечка «Молодые композиторы Ленинграда». Ее автор — музыковед С. Волков. Она издана в Ленинграде в 1971 году. В ней рассказывается о творчестве композиторов В. Арзуманова, С. Баневича, Г. Банщикова, Г. Белова, В. Гаврилина и Бориса Тищенко. Объем книги шесть с половиной печатных листов, тираж — 6500 экземпляров.

С. Волков ухитрился рассказать в этой книжке о различных аспектах творчества Бориса Тищенко и не обошел молчанием крамольный его «Реквием». Более того, он опубликовал мнение Шостаковича об этом произведении. Цитирую:

«Довольно давно знаю я Бориса Тищенко, композитора большого таланта. Он весь в музыке: основательно знает и старинных композиторов, и сочинения современных авторов, и народное творчество, прекрасно играет на рояле. Тищенко — человек, убежденный в правоте своего творчества. Мне нравится, что он так уверенно высказывается в разных жанрах. Много

хорошей музыки в балете Тищенко «Двенадцать», очень сильное сочинение «Реквием» на слова Анны Ахматовой. Или взять, к примеру, Третий квартет, — по-моему, это удивительный квартет. Первый виолончельный концерт Тищенко я знаю наизусть. Я люблю все его сочинения, но хотелось бы выделить Третью симфонию, в которой привлекают насыщенная эмоциональность, ясность мысли, конструктивная логика. Радует, что Тищенко в своем творчестве антидогматичен: он не идет в «плен» ни к хроматике, ни к диатонике, ни к додекафонии, но свободно пользуется теми средствами, которые ему крайне необходимы в каждом случае» (стр. 17-18).

По вполне понятным причинам С. Волков не имел практической возможности сделать аналитический разбор «Реквиема» Бориса Тищенко. Ведь это уже значило бы сосредоточение интереса на произведении, которое в открытых концертных программах не исполнялось и не публиковалось. Поэтому вполне ясно, что Волкову пришлось лишь ограничиться смелым и честным отзывом Дмитрия Шостаковича, обладающего международным авторитетом. Одно лишь определение Дмитрия Шостаковича «Реквиема» Тищенко как *«очень сильного сочинения»* уже достаточно, чтобы судить о его художественной значимости. Известно, что многие советские исполнители искренне желали быть интерпретаторами «Реквиема». Но просить разрешения у советской цензуры на исполнение высокохудожественного произведения большого русского композитора — бесполезно и опасно.

Хороший урок мести за свободолюбивые высказывания преподали Мстиславу Ростроповичу — гениальному музыканту нашего времени. В самом деле, как могло случиться, что выдающемуся виртуозу, чье имя всегда украшало концертные сезоны во всех музыкальных центрах мира, могли запретить его триумфальную деятельность большого художника, воспрепятствовать его замечательной деятельности! Можно смело сказать, что отсутствие имени Ростроповича в концертной жиз-

ни Европы и Америки весьма заметно, концертные эстрады буквально осиротели, люди лишились истинного счастья общения с гениальным музыкантом. Словом, месть оказалась жесточайшей.

В новых условиях международного контроля советской власти над каждым произведением каждого советского автора значительно усложняется проблема вызволения «Реквиема» Бориса Тищенко из тисков советской диктатуры, накладывающей свое «табу» на неудобные режиму произведения искусства и литературы. Можно ли спокойно взирать на такой произвол? Об этом хочется спросить международный орган по защите авторских прав. Незаконное присвоение авторских прав теми лицами, которые используют это во вред демократии, во вред свободе личности, во вред международным культурным контактам, наконец во вред справедливости, — должно наказываться со всей строгостью законов цивилизованного общества.

Рассказывают, что после сооружения в Москве на Красной площади знаменитого собора в честь победы и разгрома татар русскими войсками в Казани, царь Иван Грозный приказал ослепить гениальных строителей, чтобы их талант никому из иностранцев не достался. Насколько правдива эта трагедия, пусть судят историки. Еще есть обиходное выражение «собака на сене». Оно навеяно знаменитой пьесой испанца Лопе де Вега «Собака садовника», поставленной на русской сцене под названием «Собака на сене». Но случается, особенно в наши дни, видеть своими глазами «собаку на политической сцене». Конечно, не в здании театра, а в самой советской жизни. В данном случае роль Дианы исполняют политические вожди СССР, когда распоряжаются талантами своих граждан в корыстных целях, слишком далеких от интересов гуманитарной культуры. Это относится к советской литературе, к театру, киноискусству, музыке.

Вступление СССР в конвенцию по охране автор-

ских прав, утвержденную международной организацией, на практике обозначило спекулятивную монополию на талантливые произведения подневольных советских граждан. Это хищничество обусловлено желанием ограничить распространение произведений, которые могли бы оказаться неудобными советскому режиму.

Перед устроителями международных музыкальных фестивалей в разных странах образовалась сложная проблема. В самом деле, можно ли включать в программы музыкальных фестивалей произведения талантливых советских композиторов только лишь на основе желания самого автора? По советским понятиям, оказывается, сами авторы не имеют никаких собственных прав на свое творение, оно «национализировано» в худшем смысле этого слова. Оно является собственностью «коммунистических помещиков». Захочет такой помещик разрешить исполнять музыкальное произведение за границей, тогда можно его публично исполнять. А если исполнить его без разрешения рабовладельца талантов, тогда возбуждается судебное дело со всеми вытекающими последствиями.

Вероятно, нарушение советских рабовладельческих законов в отношении монопольного права собственности на творчество граждан СССР будет иметь место. В отдельных случаях рабовладельцы побоятся показать себя в роли «собаки на сене» (так сказать, сам не исполню и другим не позволю играть эту музыку!) и сделают вид, что не обратили внимание на факт нарушения конвенции в советской интерпретации. Но кто знает, а вдруг и судебное дело затеют?

В данном случае мне хочется обратить внимание на один из фактов нарушения советской рабовладельческой монополии. Речь идет о музыкальном фестивале в Загребе, который происходил в мае-июне 1973 г. Сюда съехались самые знаменитые музыканты Европы, чтобы показать публике новые произведения, заслуживающие международного внимания. Западногерманский му-

зыкальный исследователь д-р Детлеф Гойовы в газете «Франкфуртер альгемайне» (15 июня 1973 г.) рассказал об исполнении на фестивале в Загребе целого ряда самиздатовских музыкальных произведений советских композиторов. Его статья «Полуоткрытое окно» освещает исполнение произведений замечательных композиторов Валентина Сильвестрова (он даже не принят в члены Союза советских композиторов!), Софьи Губайдуллиной, Эдисона Васильевича Денисова, Леонида Александровича Грабовского, Люциана Пригожина, Витаутаса Баркаускаса, Тиграна Мансуряна. Если спросить советских музыкальных слушателей относительно произведений перечисленных композиторов, можно будет обнаружить полную неосведомленность. Официальные советские учреждения широко используют свою власть для преследования свободомыслящих композиторов и в то же время предоставляют все блага жизни для «прирученных» догматиков и пропагандотворцев. В целях поощрения послушных существуют почетные звания, денежные стимулы, выгодные должности, наилучшие бытовые условия и т. п. Так же происходит активная популяризация творчества «дрессированных» композиторов.

Но маломощные в художественном отношении советские музыкальные агитки не могут представлять никакого интереса за пределами СССР. Этим и объясняется, что для программ международных музыкальных фестивалей выбирают подлинные произведения в полном смысле этого слова.

Будут ли советские власти препятствовать популяризации творчества своих свободомыслящих композиторов? В этом не приходится сомневаться. Но не исключается возможность, что разными путями все-таки будут проникать недозволенные советской цензурой произведения. Возможно, будут они размножаться самиздатовским способом. Но это не выход из положения. Нельзя спокойно взирать на губительную деятельность

тех, кто облечен властью распоряжаться судьбами русских талантов. Можно ли оказать давление на душиителей свободы? Об этом должны подумать международные организации, в ведении которых защита авторских прав. Есть много способов воздействия: громогласные требования общественного мнения, ответные меры в отношении гастролей советских артистов в зарубежных странах, наконец, мнение культурных центров Организации Объединенных Наций, призванных защищать права человека.

Мысли, высказанные мною здесь, являются пересказом мнения многих советских граждан, с которыми я имел возможность лично беседовать.

Зарождение криминального течения в большевизме («эксы»)

Чтобы лучше понять дальнейшее развитие большевизма — от триумфа ленинского ЦК в Октябрьской революции и до его гибели после смерти Ленина, чтобы документально проследить генеалогию будущего сталинского большевизма, — надо остановиться на истории зарождения криминального течения в большевистской партии — на истории кавказских «экспроприаторов», которых на партийном языке называли сокращенно «эксами». Здесь впервые в истории политической мысли и политических движений мы присутствуем при рождении политико-уголовного «гибрида», когда для осуществления политической цели программы (захват власти) проповедаются и применяются чисто уголовные методы (убийства, грабежи, поджоги, фальшивомонетничество). Вот этот гибрид и родился в революции 1905 года в качестве «боевых дружин» рабочей самообороны. Однако Ленин решил сохранить их и после поражения революции для двух целей: 1) добывать для партии деньги путем «экспроприации экспроприаторов» и 2) убивать шпионов, «черносотенцев» и «начальствующих лиц полиции, армии и флота».

Формулу Маркса, что во время пролетарской революции происходит лишь «экспроприация экспроприа-

торов», Ленин перевел на понятный русский язык — «грабь награбленное» (через год после установления большевистской власти Ленин суть большевизма как раз и свел к этому. Ленин сказал:

«Прав был старый большевик, объяснивший казаку, в чем заключается большевизм. На вопрос казака: 'а правда ли, что вы, большевики, грабите?', — старик ответил: 'Да, мы грабим награбленное'»), (Ленин, Собр. соч., т. XXII, стр. 251).

Оправдывает ли цель любые средства, допустимо ли в борьбе против самодержавия применение метода политического бандитизма, чтобы «грабить награбленное» в пользу партии и убивать противников для развязывания новой революции? На эти вопросы обе фракции РСДРП отвечали по-разному.

Мартов и меньшевики отвергали всякие уголовные и аморальные средства в борьбе с врагом, не отрицая в принципе организованное насилие от имени партии и рабочего класса, если страна находится в полосе революции.

Напротив, Ленин и некоторые из большевиков считали уже одну постановку вопроса о средствах моральных и аморальных, о методах и формах, допустимых и недопустимых в политике не только «оппортунистической», но и преступной. Ленин впоследствии обобщил свой взгляд на этот счет в следующих словах:

«Революционный класс для осуществления своей задачи должен уметь овладеть всеми, без малейшего исключения формами и сторонами общественной деятельности... Всякий согласится, что неразумно или даже преступно будет поведение той армии, которая не готовится овладеть всеми видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы... К политике это еще более относится, чем к военному делу» (Ленин, Собр. соч., т. XXV, стр. 232, 3-е изд.).

Вопрос о «боевых дружинах», о «партизанской войне» (то есть об «эксах») обсуждался на двух совместных

съездах большевиков и меньшевиков. Разбор позиции сторон на этих съездах по данному вопросу проливает свет не только на дальнейшую эволюцию уголовного крыла в самой большевистской партии, но и на глубокую пропасть, которая образовалась между большевизмом и меньшевизмом как раз в области «моральной философии» самой революции. По существу обе фракции исходили из диаметрально противоположных этических принципов в политической борьбе. Ничто так ярко и в то же время так документально не характеризует этики двух фракций РСДРП, как сравнение двух проектов резолюций большевиков и меньшевиков «О партизанских выступлениях» на IV съезде, решение самого съезда по данному вопросу против Ленина, а также борьба Ленина с неудобным ему решением в его органе «Пролетарий».

Ленин представил съезду проект, который, исходя из того, что революция в России продолжается в виде «партизанских нападений на неприятеля», предлагал: во-первых, «партия должна признать партизанские боевые выступления дружин, входящих в нее и примыкающих к ней, принципиально допустимыми»; во-вторых, «допустимы также боевые выступления для захвата денежных средств» («Четвертый (объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», 1959, стр. 481, 482).

Меньшевики внесли проект резолюции, в котором говорилось:

«Принимая во внимание, что деклассированные слои общества, уголовные преступники и подонки городского населения всегда пользовались революционными волнениями для своих антисоциальных целей и революционному народу приходилось принимать суровые меры против вакханалии воровства и разбоя; наконец, что важнейшая сила революции заключается в ее морально-политическом влиянии на революционные массы, на общество и на всю армию, что, дезорганизуя государственную власть, она ставит целью не общест-

венную анархию, а организацию общественных сил, — съезд постановляет:

а) бороться против выступлений отдельных лиц или групп с целью захвата денег под именем или девизом с.-д. партии;

б) избегать нарушения личной безопасности или частной собственности мирных граждан;

в) разрушение и порчу казенных зданий, железных дорог и других сооружений, казенных и частных, производить только в тех случаях, когда с этим сопряжена непосредственная боевая цель;

г) капиталы Государственного банка, казначейства и других правительственных учреждений не захватывать, кроме как в случае образования органов революционной власти и по их указанию; при этом конфискация народных денег, собранных в казенных учреждениях, должна происходить гласно и при полной отчетности. Оружие и боевые снаряды, принадлежащие правительству, захватывать при всех представляющихся возможностях» (там же, стр. 528).

Сначала оба проекта обсуждались на комиссии съезда. К немалому огорчению Ленина, большинство большевистской фракции на комиссии отвергло резолюцию Ленина «о партизанских выступлениях» и присоединилось к проекту меньшевиков. Об этом докладывал съезду меньшевик Н. Череванин:

«Представляя съезду проект резолюции по поводу 'партизанских действий', я должен заявить, что работа комиссии по этому вопросу весьма упростилась, так как товарищи из большинства (то есть из большевистской фракции. — А. А.) пришли к соглашению с нами» (там же, стр. 401).

Тяжесть поражения Ленина в его собственной фракции выявилась при голосовании. На съезде присутствовало 62 меньшевистских и 46 большевистских делегатов. Первая важнейшая часть меньшевистской резолюции до пункта «г» была принята 68 голосами против

четырех большевиков, в том числе и Ленина, 20 человек воздержалось при голосовании (там же, стр. 462).

Разумеется, Ленин и не думал подчиниться этому решению верховного органа партии, несмотря на то, что в данном вопросе его дезавуировала его собственная фракция. Через пять месяцев после съезда Ленин писал в «Пролетарии»:

«Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понимают ли эти люди, что они говорят?..» (Ленин, Собр. соч., т. X, стр. 86).

Ленин определенно этого не «понимал». Он добавлял:

«Говорят: партизанская война приближает сознательный пролетариат к опустившимся пропойцам, боснякам. Это верно. Но отсюда следует только то, что никогда партия пролетариата не может считать партизанской войны единственным или даже главным средством борьбы» (там же, стр. 86).

Кончая статью, Ленин как бы нечаянно обмолвился, что спор тут идет, собственно, о возникновении нового *направления* в его же собственной фракции, хотя факт такого направления он отрицает. Вот слова Ленина:

«Мы далеки от мысли видеть в конкретной оценке тех или иных партизанских выступлений вопрос *направления* в социал-демократии» (там же, стр. 88, выделено Лениным. — А. А.).

В том-то и суть спора, что под духовным водительством Ленина в самой фракции большевиков начало зарождаться новое политико-уголовное направление, над которым он скоро потеряет всякий контроль, находясь за границей.

Когда 15 августа 1906 года, по решению Польской Партии Социалистов, в ряде городов Польши (в Варшаве, Лодзи, Радоме и Плоцке) была совершена серия тер-

рористических актов и убиты десятки городских и русских солдат, что вызвало протест ЦК РСДРП против действий польских социалистов, Ленин выступил по этому вопросу со специальной статьей «К событиям дня». В ней Ленин писал:

«Безусловно ошибается и глубоко ошибается ЦК нашей партии, заявляя: 'само собой разумеется, что так называемые 'партизанские' боевые выступления, по-прежнему отвергаются партией'. Это неверно... Мы советуем всем многочисленным боевым группам нашей партии прекратить свою бездеятельность и предпринять ряд партизанских действий на точном основании решений съезда... с наименьшим 'нарушением личной безопасности' мирных граждан и с наибольшим нарушением личной безопасности шпионов, активных черносотенцев, начальствующих лиц полиции, войска, флота и так далее, и тому подобное» (Ленин, Собр. соч., т. X, 3-е изд., стр. 45-47, последние слова выделены Лениным. — А. А.).

Между прочим, эти слова Ленина решительно опровергают содержащуюся во всех учебниках легенду, что Ленин и большевизм в отличие от народников и эсеров якобы выступали против индивидуального террора. Депутат Второй Государственной Думы от большевиков, в то время близкий соратник Ленина — Григорий Алексинский — сообщает историю возникновения «экспроприаторов»:

«В период времени 1906-1910 годов большевистская фракция управлялась малым комитетом, существование которого было скрыто не только от глаз полиции, но также и от членов партии. Этот малый комитет, в который входили Ленин, Красин и еще одно лицо, которое держится теперь в стороне от политики (написано в 1921 г., третьим лицом был А. Богданов. — А. А.), особенно занимался финансами партии. В постоянных поисках денежных ресурсов комитет избрал простое средство пополнения кассы. Это средство то самое, которое

много позже употреблял Бонно... но Бонно оперировал лично, тогда как большевистская «троица» ограничивалась общим руководством... Грабили почтовые отделения, вокзальные кассы, поезда, устраивая предварительно крушения (Le Matin, 9 Septembre, 1921).

На пятом съезде партии (апрель-май 1907 г.), где фракция большевиков имела большинство делегатов, вновь обсуждался вопрос об «эксах». Докладчик ЦК Мартов доложил съезду:

«Так называемый партизанский террор и экспроприации разлились широкой рекой... Усиливая репрессии правительства, терроризируя буржуазное население и тем толкая его в сторону реакции, террор и экспроприации в то же время дезорганизовывали революционные элементы пролетариата и примыкающей к нему молодежи, внося зачастую крайнюю деморализацию в их ряды...» («Лондонский съезд РСДРП. Полный текст протоколов», 1909, стр. 71).

После революции большевистский историк Ем. Ярославский авторитетно засвидетельствовал по этому поводу:

«Отношение к экспроприациям в партии было различное. В то время, как большевики признавали частичную экспроприацию, меньшевики лицемерно заявляли, что они против экспроприации... Была опасность, что экспроприации могут выродиться и иногда *вырождались* в анархические выступления и даже *бандитизм*, когда группа эксков тратила добытые экспроприацией средства на свои личные нужды...» (Ем. Ярославский, «Очерки по истории ВКП(б)», Москва, 1938, стр. 194).

По этим причинам пробольшевистский съезд, который принял все резолюции в духе Ленина, одну резолюцию принял и против Ленина: «о партизанских выступлениях». По данному вопросу съезд решил:

«В настоящий момент сравнительного затишья партизанские выступления неизбежно вырождаются в

чисто анархистские приемы борьбы... Боевые дружины, существующие при партийных комитетах... неизбежно превращаются в замкнутые заговорщические кружки, деморализуясь, вносят дезорганизацию в ряды партии, — принимая все это во внимание, съезд признает... партизанские выступления нежелательны и съезд рекомендует идейную борьбу с ними» («КПСС в рез.», 1953, стр. 162).

Разумеется, Ленин не посчитался и с этим решением своего собственного большевистского большинства V съезда. Сейчас же после съезда он приступил к подготовке новой «экспроприации», наиболее знаменитой из всех большевистских «экспроприаций» до революции. Проведение данной «экспроприации» Ленин поручил неизвестному делегату V съезда, но весьма известному в Тифлисе «боевику» и «экспроприатору» — Коба-Сосо Джугашвили, который в результате выполнения этого ленинского задания, собственно, и стал Сталиным.

Прежде чем приступить к изложению событий, связанных с выполнением задания Ленина, расскажем в изложении самого Сталина о его первом знакомстве с Лениным и о том впечатлении, которое произвел Ленин на Сталина. В речи о Ленине на вечере кремлевских курсантов через неделю после смерти Ленина Сталин сообщил, что его первая заочная встреча с Лениным произошла в 1903 году. Эта дата была избрана не случайно. В РСДРП было известно, что после раскола партии на меньшевиков и большевиков в 1903 году Сталин до конца 1904 года примыкал к грузинским меньшевикам. Если вы заглянете в его «Сочинения» (т. 1), то вы не найдете не только за 1903 год, но и за 1904 и 1905 годы ни одной статьи или документа, подписанного каким-нибудь псевдонимом Сталина, из которого была бы видна позиция Сталина по вопросу о расколе. Там приведены два «Письма из Кутаиси», помеченные сентябрем и октябрём 1904 года, в которых Сталин защищает Ленина против Мартова — и то через год! Но достовер-

ность и этих писем приходится брать под сомнение, ибо, во-первых, к этим письмам сделано примечание: «публикуются впервые», во-вторых, они пущены в «научный оборот» таким известным «ученым», как Берия в его «К истории большевистских организаций в Закавказье». Советский журнал «Вопросы истории» так охарактеризовал «труд» Берия: «Культ Сталина вел к прямому извращению исторической правды», работа Берия была «построена на натяжках и прямых фальсификациях» («Вопросы истории», № 3, 1956, стр. 4).

Тем не менее надо считать вероятным, что после осторожного оглядывания вокруг и терпеливого изучения ситуации в партии в течение целого года Сталин открыл в Ленине самого себя и присоединился к нему к концу 1905 и началу 1906 года. Если не говорить о сомнительных «документах» Берия, приписываемых Сталину, то первая статья в грузинской социал-демократической газете на грузинском языке, приписываемая Сталину, появилась 8 марта 1906 года. В ней Сталин защищает ленинскую тактику бойкота Думы против меньшевиков.

Теперь вернемся к впечатлению, которое произвел на Сталина Ленин. Сталин говорил на упомянутом вечере:

«Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году... в порядке переписки... Знакомство с революционной деятельностью Ленина привело меня к убеждению, что мы имеем в лице Ленина человека необыкновенного... Когда я сравнивал его с остальными руководителями нашей партии, мне все время казалось, что соратники Ленина — Плеханов, Аксельрод, Мартов — стоят ниже целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто руководитель, а руководитель высшего типа, горный орёл, не знающий страха» (Демьян Бедный писал, что Сталин, как житель Кавказа, сравнивал Ленина с «горным орлом», но житель севера, вероятно, сравнил бы Ленина с «северным сиянием»).

Дальше Сталин говорит, что об этом своем впечатлении о Ленине он написал одному эмигранту, а последний показал письмо Ленину. Вот тогда Ленин написал Сталину письмо программного характера, в котором «каждая фраза не говорит, а стреляет». Сталин сообщает, что по привычке старого подпольщика он письмо Ленина «предал сожжению» (но до педантичности аккуратный в письменных делах Ленин тоже не сохранил копии столь важного письма).

Первая личная встреча Сталина с Лениным произошла в декабре 1905 года на конференции в Таммерфорсе. Второй и третий раз Сталин видел и слушал Ленина на IV и V съездах партии, где Сталин присутствовал как делегат с совещательным голосом от Тифлиса. На V съезде Сталин присутствует под кличкой «Иванович», но на Кавказе он известен под кличкой «Коба». (Сталин взял эту кличку из повести «Отцеубийство» грузинского классика князя Казбеги, главный герой которой — Коба — воплощает в себе не только бесстрашный личный героизм, но и беспрецедентную верность идеалам гуманизма и дружбы!)

Однако самая важная встреча, которая, в конечном счете, привела Сталина на верхний этаж партии, произошла у Сталина с Лениным в 1907 году в Берлине. Об этой встрече пишет коммунистический биограф Сталина Анри Барбюс в своей книге «Сталин». После беседы с Лениным Сталин уехал в Тифлис, но в том же году еще раз приезжал в Берлин, чтобы вновь встретиться с Лениным. Сам Сталин упомянул однажды в интервью с немецким писателем Людвигом, что он бывал в Берлине, однако в официальной биографии Сталина никогда не разрешалось писать о столь важнейшем факте его двух встреч с Лениным в Берлине, хотя сообщения об этих встречах Барбюс приводит со слов грузинских старых большевиков и с ведома Сталина. В чем же тогда дело? Если свидание Сталина с Лениным в Берлине накануне или сейчас же после V съезда (съезд

закрылся 19 мая 1907 г.) можно считать фактом достоверным, то содержание беседы между ними навсегда осталось секретным. Это можно объяснить только тем, что предметом беседы был как раз вопрос об организации «экспроприации», которую запретил V съезд. Хорошо информированный Троцкий писал:

«Если Ленин совершил специальное путешествие в немецкую столицу для такой встречи, то во всяком случае не ради теоретических 'бесед'. Встреча могла состояться либо до или еще более вероятно сейчас же после съезда партии, и почти несомненно, что она была посвящена предстоящей экспроприации, добыче денег и т. д.».

Почему же встреча произошла не в Лондоне, а в Берлине? — спрашивает Троцкий. Отвечая на этот вопрос, Троцкий говорит, что весьма вероятно, что Ленин не хотел встречаться с «Ивановичем» на глазах царских и других шпионов, присутствовавших на съезде в Лондоне, к тому же, возможно, что на встрече присутствовало и третье лицо, не имевшее никакого отношения к съезду партии (L. Trotsky, Stalin, p. 108). Троцкий не называет его имени. Но мы знаем, что это «третье лицо» — Камо — через месяц прославился на весь мир как возглавитель самого дерзкого в истории царской России бандитского налета.

Встреча между Лениным, Коба и Камо произошла, по всей вероятности, после 19 мая. Через месяц — 26 июня 1907 г. — произошла и знаменитая тифлисская «экспроприация».

Прежде всего, кто такой Камо? Камо — грузинский армянин, его настоящая фамилия Тер-Петросян. Он, как и Сталин, родился в г. Гори, почти его ровесник (Камо моложе Сталина только на два года). В его официальной биографии, которая вышла в БСЭ в 1973 году, сказано:

«Камо — большевик, активнейший кавказский боевик. Герой партизанских выступлений. Камо — ученик

Сталина... Камо организовал ряд крупных экспроприаций... В 1907 г. принял участие в известной экспроприации в Тифлисе на Эриванской площади. В связи с этой экспроприацией был арестован 22. 11. 1907 г. в Берлине...» (БСЭ, т. 31, 1-е изд., 1937, стр. 133).

Однако во втором издании БСЭ, которое было подготовлено к изданию еще при жизни Сталина и вышло в 1953 году, в биографии Камо нет ни одного слова об «экспроприациях», в том числе и о такой знаменитой, как тифлисская, хотя самой биографии Камо уделено в два раза больше места, чем в первом издании. В новой биографии, как и в старой, указано, что учитель Камо — Сталин: Камо «в 1901 г. познакомился со Сталиным и под его руководством начал нелегальную партийную работу...» (БСЭ, т. 19, 2-е изд., 1953 г., стр. 543). Далее говорится, что в марте 1906 года Камо приезжал в Петербург, где лично познакомился с Лениным, доставлял из Петербурга оружие на Кавказ, организовал в Тифлисе мастерскую по производству бомб, «занялся формированием, вооружением боевых групп и дружин, участвовал в вооруженных столкновениях с царскими войсками, полицией и черносотенцами... В ноябре 1907 года был арестован в Берлине, в конце 1909 года выдан царским властям» (там же, стр. 543-544).

За что арестован, за что выдан? Об этом во второй биографии Камо нет ни слова. Почему это так, мы увидим дальше, но сейчас важно запомнить две вещи из первой биографии Камо: во-первых, Камо — непосредственный «ученик Сталина», во-вторых, главная революционная профессия Камо, которой его учил Сталин, начиная с 1905 года — это «экспроприации».

Наиболее опасной экспроприацией из всех «эксов» 1906 года было ограбление в Чиатури группой Коба-Камо почтового поезда в ноябре 1906 года; из награбленных 21 тыс. рублей «экссы» направили большевистскому центру только 15 тыс. рублей (Суварин, там же, стр. 100). Значительные деньги к Ленину пошли и от

других «экспроприаций» — на корабле «Николай I» и в Бакинском порту.

Разрабатывая доктрину о «партизанской войне», о «боевых дружинах» и об «экспроприациях», Ленин недаром обратил свои взоры именно на Кавказ, а из среды своих кавказских учеников особо выделил для этой цели двух «боевиков» — Коба и Камо. На это были исторические и персональные причины. На одну из исторических причин указывал еще Троцкий:

«На Кавказе, с его романтической традицией грабежей и кровавой междоусобицы, которая все еще живуча и сейчас, партизанская война находила любое число бесстрашных практиков. Более тысячи террористических актов всех видов было совершено в Закавказье только за время первой русской революции 1905-1907 гг.» (L. Trotsky, Stalin, p.96).

Персональные причины были не менее важные. Из всех кавказских большевиков Коба и Камо не только беспрекословно поддержали доктрину Ленина об «эксах», но и сама эта доктрина родилась в голове Ленина как результат практического опыта по проведению «ряда экспроприаций» на Кавказе «боевой дружиной» Камо под непосредственным руководством Коба, как его учителя, о чем так подчеркнуто сказано в БСЭ. Тифлисская «экспроприация» 1907 года и явилась прямым результатом берлинской встречи.

Автор классической биографии Сталина — Борис Константинович Суварин — так оценил значение Тифлисской «экспроприации» в карьере Коба:

«Тифлиссский 'экс', самый грандиозный из всех, был своего рода шедевром, затмившим все предыдущие акции по своей драматичности и абсолютному успеху. Он явился подтверждением принципиального права Сталина подбирать руководителей дела. Малоизвестный провинциальный боевик, действующий под руководством мистического 'триумvirата' (Ленин-Богданов-Красин. — А. А.), 'профессиональный революционер' par

excellence, неспособный продвинуться в иерархии партии интеллектуальной силой ума, но готовый служить ее делу, играя постоянно возрастающую роль, Коба нашел обстоятельства, при которых он покажет свой стальной характер» (В. С. Souvarine, Stalin, p. 94).

Он его и показал, что мы увидим дальше. Ученик Сталина — Камо (Тер-Петросян, слабо знавший русский язык, слово «кому» произносил всегда как «камо», отсюда Сталин дал ему прозвище «Камо», которое и закрепилось за ним навсегда) являл органическую смесь социального бунтаря, выдающегося авантюриста и героического бандита с умом непостижимой силой воли. Все эти качества Камо сказались как раз в тифлисской «экспроприации». Вкратце ее история следующая.

Вернувшись в Тифлис после свидания с Лениным в Берлине, Коба создал из наиболее смелых «экспроприаторов» нечто вроде свободной банды числом, по показаниям свидетелей, около пятидесяти человек. Цель банды — вооруженное нападение и «экспроприация» денег Государственного банка в Тифлисе во время их перевозки. Руководителем банды Коба назначил Камо, переодев его в форму храброго офицера, ему была придана «разведка», в которой участвовали и две грузинки-большевички. Банда была разбита на мелкие группы и «расквартирована» вокруг Эриванской площади, на которой было намечено нападение. Явился ли сам Коба на площадь, чтобы лично руководить «операцией»? Троцкий пишет, что «в партийных кругах личное участие Коба в тифлисской экспроприации считалось бесспорным» (L. Trotsky, цит. пр., стр. 106). Троцкий добавляет, что и он был этого мнения до 1932 года, но что дополнительное изучение вопроса убеждает его, что лично сам Сталин не участвовал в «экспроприации», а только был «советником» Камо. Аргументация? Ссылки на ряд советских книг, в которых нет никаких ссылок на личное участие Сталина плюс молчание самого Сталина. Но само «убеждение» Троцкого не убедительно. Об участии

Сталина в тифлисской «экспроприации» никогда не писали в СССР только потому, что сам Сталин это запретил. Став во главе великого государства, Сталин не хотел выглядеть «кавказским бандитом», хотя бы и героическим (бывший американский посол в Москве Буллит: «Рузвельт думал, что в Кремле сидит джентльмен, но там сидел бывший кавказский бандит»). Есть у Троцкого тут и некая личная «корысть» — он не хочет признать в Сталине героя, хотя бы и уголовного. Он для него всего лишь «кинто», а не Аль-Капоне. Более объективный Суварин констатирует, что в доктрине Ленина об «эксах» «Сталин нашел применение своему дару» (В. С. Souvarine, там же, стр. 88), что, конечно, включает и личное мужество.

Вернемся к тифлисской «экспроприации». Она произошла около 11 часов дня 26 июня 1907 г., когда Эриванская площадь была полна людей. В это время на площадь въехали два экипажа, которые везли большую сумму денег Государственного банка, в сопровождении эскорта казаков. Немного ранее на площади были замечены два фаэтона — в одном сидели две женщины, в другом — мужчина в офицерской форме. Как только экипажи с деньгами показали на площади, лицо в офицерской форме подало команду — как из-под земли выросла банда около полусотни людей и на экипажи и на казачий эскорт посыпались бомбы огромной взрывной силы, в том числе из той подводки, на которой сидели женщины. Бомб было брошено около десяти штук. Результат: три человека было убито, более 50 человек ранено. Бандиты, захватив, по одним сведениям 340 тысяч, по другим — 250 тысяч рублей, исчезли с такой же молниеносной быстротой, с какой и появились.

Описывая эти подробности грабежа, газета «Новое время» свою корреспонденцию «Герои бомб и револьверов» кончила восклицанием: «Только дьявол знает, как этот грабеж неслыханной дерзости был совершен».

Тотальная мобилизация всех войск, полицейских

сил, агентурной сети, повальные обыски, закрытие границ, сотни арестов, — но ни одного бандита не поймали ни в тот день, ни после него, ни одной копейки денег тоже не нашли.

Куда же бандиты делись, где же деньги очутились? Бандиты вернулись к «мирной» работе, которую они так великолепно сочетали со своей основной профессией (ленинское «сочетание легальной работы с нелегальной»), а деньги очутились под диваном бюро директора Тифлисской обсерватории, где Коба-Сосо Джугашвили тоже занимался «мирным трудом» в качестве счетчика-наблюдателя. Через непродолжительное время деньги очутились в руках Ленина.

Вот этой «экспроприацией» и руководил Коба. Его обвиняли также, что он принял косвенное участие в убийстве тифлисского губернатора генерала Грязнова, князя Чавчавадзе, даже одного своего сотоварища в бакинской тюрьме, о чем еще будет речь впереди. Вот после этой тифлисской «экспроприации» оба — и Коба, и Камо — сумели пробраться за границу, где встретились с Лениным, надо полагать, для доклада о проведенной операции. Тем временем поставленные в известность русским правительством заграничные органы уголовной полиции начали аресты среди большевиков-эмигрантов, когда те пытались обменивать награбленные рубли на иностранную валюту. Такие аресты были проведены в Париже, Мюнхене, Стокгольме и Женеве. Среди арестованных были будущие наркомы Литвинов и Семашко. Только после этих арестов партия, в том числе и ее большевистская фракция, узнала, что вооруженный тифлисский грабеж — дело рук учеников Ленина: Коба и Камо. Поскольку каждая попытка обменять рубли на валюту кончалась арестами, ЦК постановил сжечь оставшуюся сумму денег.

По требованию меньшевиков, ЦК, в котором после V съезда преобладали большевики, вынужден был обсудить вопрос и о самой тифлисской «экспроприации».

Создается комиссия во главе с будущим наркомом иностранных дел Чичериным (тогда меньшевик), которая должна была произвести подробное расследование. Комиссия Чичерина очень скоро установила, что ученики Ленина не только организовали кровопролитное ограбление в Тифлисе, но что Камо подготавливает взрыв известного банка Мендельсона в Берлине, чтобы экспроприировать для Ленина на этот раз иностранную валюту. Комиссия Чичерина установила также, что большевики дали указания своим агентам приобрести специальную бумагу для производства фальшивых банкнотов. Некоторое количество такой бумаги уже было направлено через экспедицию германской социал-демократической газеты «Форвертс» (о чем, конечно, руководство газеты ничего не знало) в Куоккала (Финляндия), где жили тогда нелегально Ленин и Зиновьев. Курьер вручил бумагу председателю «Технического бюро ЦК» Красину (члену «триумвирата»), которого он узнал по фотографии, предъявленной ему.

Ленин, пользуясь своим большинством в ЦК, сумел положить конец этим разоблачениям, предложив Центральному Комитету передать дело на доследование «Бюро иностранных сношений». (Троцкий потребовал, чтобы всем этим делом занимался II Интернационал, но это предложение не было принято.) Кроме того, изучением и расследованием дела об «экспроприации» в Тифлисе занялся и Кавказский союзный комитет РСДРП. Установив, что «экспроприацию» провели, в нарушение решений IV и V съездов, Коба и Камо, Кавказский комитет постановил исключить их из партии, как и всех остальных ее участников — социал-демократов. Имена не были названы публично, чтобы не выдавать их полиции (В. С. Souvarine, там же, стр. 99-100).

Уже в Советской России в своей «Рабочей газете» от 18 марта 1918 года Мартов напомнил Ленину, что в состав его правительства входит «некий гражданин Сталин», хорошо известный из-за своего участия во всяких

сомнительных предприятиях и исключенный из партии за тифлисскую «экспроприацию» (L. Trotsky, цит. пр., стр. 101). Скоро «Бюро иностранных отношений» ЦК «законсервировало» свое расследование, так как главный исполнитель тифлисской «экспроприации» Камо был арестован берлинской полицией по доносу видного большевика Житомирского, оказавшегося агентом русской полиции. Поскольку дело Камо могло привести не только к раскрытию всей кавказской сети «эксов», но иметь и катастрофические политические и уголовные последствия для всего большевистского руководства ЦК, Красин, через немецкого адвоката Камо, предложил Камо играть роль душевнобольного.

Камо эту роль так гениально сыграл, что превзошел действительно душевнобольных не только по симптомам самой болезни, но и по естественности ее проявления в поступках. Он топчет ногами, кричит, рыдает, бушует, рвет на себе одежду, отказывается от пищи, бьет надзирателей, бьется об стенку... Его сажают в ледяную камеру, но это не производит на него никакого впечатления. Его переводят в специальное отделение больницы, подвергают там в течение четырех месяцев самым различным испытаниям от тонких научных и до тяжелых физических, но он не сдается. Он вновь отказывается от пищи, тогда его подвергают принудительному кормлению не по очень тонкому методу — во время такого кормления ему ломают несколько зубов. Он бушует дальше, рвет волосы, бьется об стенку, и вдруг гробовая тишина: удивленные надзиратели бросаются в камеру — его находят повесившимся, прямо в предсмертных судорогах его снимают с оконной решетки и приводят в себя. Новые «испытания», новые муки. Ему не дают жить, но не дают и умереть. Он пробует последний раз «перехитрить» и жизнь, и немецких «психоаналитиков»: заостренным куском кости он режет себе вену, и его находят без сознания в луже крови. Его опять приводят в себя. Он не сдается, но сдаются врачи.

Тогда его переводят в дом для умалишенных, где испытания продолжают дальше, но на этот раз уже при помощи исключительно физических пыток, которых действительно нормальный человек никогда не выдержит. Чтобы убедиться, что Камо не симулирует бесчувственность, ему под ногти закалывают иголки, выжигают тело каленым железом, — всё это он переносит стоически, без всякой внешней реакции, словно он сам из железа.

Ученые авторитеты немецкой медицины засвидетельствовали, что Камо не симулирует, а безнадежный сумасшедший. Вот тогда, в конце 1909 года, немецкое правительство его выдало русскому правительству, которое направило его по месту преступления в тифлисскую тюрьму (в Метехский замок). Начались новые испытания, новые пытки, более жестокие и менее церемонные, чем у немецких педантов. Конечно, не такие жестокие методы, чтобы от них можно было умереть, но, как выражается Суварин, вполне достаточные, чтобы «сделать здорового человека сумасшедшим». Однако Камо не сдается и на этот раз. Тем не менее его отдают под военный суд в Тифлисе. На заседаниях суда он сидит совершенно безучастно и спокойно кормит крошками хлеба птичку, которую он приручил в камере. Он убедил суд, что судить его бессмысленно, как бессмысленно судить птичку, которую он кормит. Суд отменяется, и его переводят в больницу, в отделение душевнобольных для продолжения испытания.

В августе 1911 года при помощи члена группы «экс-сов» Коте Цинцадзе он подготавливает побег. Побег из Метехского замка считался делом абсолютно безнадежным. Камо решил доказать обратное. Он распилил свои кандалы и оконные решетки, спустился по тонкой веревке, сплетенной на скорую руку, в реку Кура, но веревка сорвалась, и он упал на скалу с такой силой, что потерял сознание. Однако сказалась долголетняя «закалка» «сумасшедшего», он быстро пришел в себя, пе-

рехитрив погоню, бежал в Батум, а там пробрался на один из пароходов, залез в трюм и «зайцем» отплыл за границу. Через неделю — две он был гостем Ленина в Париже. Ленин его накормил, передел, проинструктировал и направил на Балканы для выполнения нового задания — переправлять оттуда оружие на Кавказ для новых «экспроприаций». Его арестовывают в Константинополе, но из-за поручительства грузинских монахов освобождают. Камо переезжает в Софию, но и там он «попался», был арестован, однако благодаря помощи известного болгарского революционера и друга Ленина Благоева ему удается бежать. При проведении очередной «операции» турки задерживают его вновь на небольшом судне, весь багаж которого состоял из бомб разных калибров. Но он опять выкрутился или откупился и переехал в Грецию. Когда касса партии начала пустовать, Ленин отозвал Камо с Балкан и отправил на Кавказ для организации новой «экспроприации». Камо благополучно прибывает в Тифлис, собирает старую банду на новое дело. В сентябре 1912 года Камо и его банда совершают новое смелое нападение на денежную почту на Коджарском шоссе. Почту сопровождал чуть ли не целый эскадрон казаков, завязался жаркий бой, в результате которого были убиты семь казаков, перебита почти вся банда, а ее главарь Камо, хотя и остался невредим, но вновь очутился в том же Метехском замке. Военный суд четырежды приговаривал его к смертной казни. Своему соседу по камере и соратнику К. Цинцадзе он пишет записку, что он абсолютно спокойно встретит смерть... «На моей могиле уж давно должна была вырасти трава в несколько аршинов. Смерти никому не миновать, но я попробую еще раз мое счастье. Старайтесь любыми средствами организовать побег. Быть может, нам удастся еще раз посмеяться над нашими врагами. Поступайте по собственному разумению. Я готов на всё». (В. С. Souvarine, там же, стр. 103). Побег не состоялся. Но как замечает Суварин, начальство

питало скрытую симпатию к Камо за его беспримерные по храбрости, дерзости и хитрости криминальные подвиги и поэтому умышленно затягивало оформление формальностей, связанных с казнью Камо. Оно ожидало всеобщей амнистии в связи с предстоящим через год трехсотлетием дома Романовых, чтобы подвести Камо под эту амнистию. Так и случилось. Камо был в следующем, 1913 году амнистирован с заменой смертной казни двадцатилетним заключением в каторжной тюрьме, откуда его освободила революция 1917 года.

Но где же был Коба во время последней «экспроприации»? Участвовал ли он в ее подготовке? Бежавший из очередной ссылки Коба был на воле, совершал поездки между Петербургом и Тифлисом, держал тесную связь со своим учеником Камо. Трудно было бы поэтому допустить, что новая «экспроприация» произошла без его ведома. Правда, в партии все еще малоизвестный, но высоко оцененный Лениным за проведение тифлисской «экспроприации», Коба в январе 1912 года был кооптирован в члены ЦК, отозван с Кавказа и переброшен на работу в Петербург, где и началась его общерусская карьера вокруг созданной в мае 1912 года легальной газеты «Правда». Поэтому есть основание думать, что сентябрьская «экспроприация» 1912 года была проведена Камо без непосредственного руководства Коба, чем, вероятно, и объясняется её неуспех.

Вернемся к биографии Сталина после тифлисского грабежа. Исключенный из партии в Тифлисе, где преобладали меньшевики, Коба решил пробраться в Баку. Он быстро вошел в контакт с Бакинским комитетом партии, в котором большевики имели куда больше влияния, чем в Тифлисе. Коба приехал сюда не без претензии на руководящее положение в местном комитете, но «экс» и недоучившийся семинарист Коба застал здесь сильнейшего конкурента на лидерство — это бывший студент философского факультета Берлинского университета армянин Степан Шаумян. (Орджоникидзе:

«Шаумян — тяжелая артиллерия теоретического марксизма».) Поэтому с первых же дней между Коба и Шаумяном разыгралась открытая борьба за руководство, в разгаре которой Шаумян был арестован. Люди, знающие характер Коба, заподозрили его в доносе на Шаумяна в полицию, чтобы убрать конкурента. Разговоры в партийных кругах об этом получили такое широкое распространение, что одна грузинская газета осмелилась открыто обвинить Коба в доносе (газета «Брозалис Кха»), а Бакинский комитет РСДРП даже завел дело на Коба. Когда в марте 1908 года арестовали и самого Коба, дело на него прекратили (В. С. Souvarine, там же, стр. 110). Имеются очень интересные воспоминания сокамерника Коба в Баиловской тюрьме в Баку Семена Верещака о пребывании Коба-Сталина в тюрьме. Они были напечатаны в газете Керенского «Дни» 22 и 24 января 1928 года в Париже.

Поскольку большевики объявляют «клеветой» все, что о них пишет эмиграция, можно было бы и не цитировать воспоминания Верещака, но дело в том, что сама большевистская газета «Правда» 20 декабря 1929 года напечатала статью о воспоминаниях Верещака, как о воспоминаниях правдивых. Статья «Правды» об этих воспоминаниях так и называется: «С подлинным верно». Правда, газета цитирует только те места из воспоминаний Верещака, которые ей очень импонируют, но игнорирует места, которые нам показались очень интересными. Приведем и те и другие. Вот места, перепечатанные в «Правде»:

«Я был еще совсем молодым, когда в 1908 г. Бакинское жандармское управление посадило меня в Баиловскую тюрьму... Тюрьма, рассчитанная на 400 человек, содержала 1500 человек... Однажды в камере большевиков появился новичок. И когда я спросил, кто этот товарищ, мне таинственно сообщили: 'Это — Коба...' Коба, под фамилией Сосо Джугашвили, как член РСДРП (большевиков), был принят в коммуны... Среди ру-

ководителей собраний и кружков (в тюрьме. — А. А.) выделялся и Коба как марксист. В синей сатиновой кофеворотке, с открытым воротом, без пояса и головного убора, с перекинутым через плечо башлыком, всегда с книжкой... В личных спорах и дебатах Коба участия не принимал и всегда вызывал каждого на 'организованную дискуссию'. Эти 'организованные дискуссии' носили перманентный характер. Аграрный вопрос, тактика, философия чередовались почти ежедневно. Особенно аграрный вопрос вызывал жаркие споры, доходившие иногда до рукопашных схваток. Никогда не забуду одной 'аграрной дискуссии' Коба, когда его сотоварищ Серго Орджоникидзе, защищая положение Коба (как мы уже видели, на IV съезде 1906 г. Коба был и оставался «разделистом» и выступал как против ленинской «национализации», так и против плехановской «муниципализации». — А. А.), в заключение схватил за физиономию содокладчика эсера Илью Карцевадзе, за что был жестоко эсерами избит... Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим. Не было такой силы, которая бы выбила его из раз занятого положения. Под всякое явление он умел подвести соответствующую формулу Маркса. На непросвещенных в политике молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление. Вообще же в Закавказье Коба слыл как второй Ленин. Отсюда его совершенно особенная ненависть к меньшевизму (вероятно, за позицию меньшевиков в отношении «экссов». — А. А.)... Он всегда активно поддерживал зачинщиков. Это делало его в глазах тюремной публики хорошим товарищем. Когда в 1909 г., на первый день Пасхи, 1-ая рота Сальянского полка пропускала через строй, избивая, весь политический корпус (тюрьмы), Коба шел, не сгибая головы, под ударами прикладов, с книжкой в руках» (скоро в стихах советских поэтов эта книжка превратилась в «Капитал» Карла Маркса. — А. А.).

«Правде» так понравилось это место, что член ее

редакции Демьян Бедный даже написал восторженную оду:

«Разве сталинское прохождение не сюжет для героической картины. Обращаюсь к писателям — Вы не имеете героических тем? Нател!!... Но скромна большевистская братва... Строгий большевик о себе ни гу-гу, но не станем же мы шикать врагу за то, что сказал он правду случайно» («Правда», 20. 12. 1929 года, Д. Бедный, «С подлинным верно», но статья написана 7 февраля 1928 года).

Однако даже в цитированных ею местах «Правда» делает серьезные пропуски, которые совершенно искажают портрет Коба, нарисованный Верещаком. Восстановим эти места в пересказе. Верещак сидел с Коба восемь месяцев, время вполне достаточное, чтобы изучить характер человека, который резко и точно проявляется как раз в тюремной обстановке. Все революционеры помнили, что, когда в 1899 году Сталина исключили из Тифлисской духовной семинарии за участие в подпольном марксистском кружке, он потащил за собою и всех остальных членов кружка, сделав на них донос администрации семинарии. Верещак пишет, что когда возмущенные семинаристы начали стыдить Сталина за донос, Сталин оправдывал свое действие таким аргументом: потеряв право быть священниками, семинаристы сделаются «хорошими революционерами». В тюрьме существовал неписанный закон революционеров: не общаться с уголовными преступниками, но Коба всегда можно было видеть в компании убийц, разбойников, шантажистов. На него производили впечатление только люди «дела», требующего ловкости. Его грубость в спорах и непрезентабельная личность делали его несимпатичным спорщиком. Его речам не доставало остроумия, они были сухие, но его механическая память была удивительна. Отсутствие принципов и природная хитрость делали его мастером тактики. Против врагов «все средства хороши», — говорил он. Бывало, что ког-

да вся тюрьма начинала нервничать в ночь приведения в исполнение очередных смертных приговоров во дворе тюрьмы, Коба спокойно спал или изучал эсперанто, который, по его мнению, явится будущим языком Интернационала. Он никогда не протестовал против несправедливых порядков в тюрьме, не подстрекал к бунту, но поддерживал подстрекателей. Почему Коба так долго оставался неизвестным в партии, объясняется его способностью «секретно подстрекая других, самому оставаться в стороне». Эту свою способность Коба успел продемонстрировать и в тюрьме. Верещак приводит некоторые примеры. Однажды одного молодого грузина избили до полусмерти по обвинению, что он «агент-provокатор». Никто ничего не знал ни о нём, ни о причинах обвинения против него. Потом выяснилось, что «дело» это было сфабриковано Коба. Другой раз большевик Митка Г. убил молодого рабочего по обвинению в шпионаже. Долгое время это дело оставалось не выясненным. Во всех революционных партиях существовало правило, в силу которого шпионы могут быть убиты только по решению группы или суда чести, а не по приказу одного человека. Впоследствии Митка признался в своей ошибке — он убил этого рабочего по подстрекательству Коба. Верещак сообщает, что во многих делах на воле — в известных грабежах государственных денег («экспроприациях»), в фабрикации фальшивых денег — всегда чувствовалась рука Коба, а теперь он сидел в тюрьме вместе с этими грабителями («эксами») и фальшивомонетчиками, но следственным органам никак не удавалось найти нити к нему. И это не удивительно: Коба был не только искусным конспиратором, но сама его осторожность была «активной» осторожностью. Это явствует из замечания Верещака: руководя сам террором и «экспроприациями», Коба громко обвинял эсеров в том и другом!

Анализируя историю карьеры раннего Коба, Суварин находит, что в характере Сталина еще тогда преоб-

ладали следующие, ярко бросающиеся в глаза черты: 1. «воля к власти»; 2. узкий реализм; 3. вульгарный марксизм, воспринятый Сталиным как катехизис элементарных формул; 4. восточная ловкость в интриге; 5. недобросовестность; 6. отсутствие чувствительности в личных отношениях; 7. презрение к людям и к человеческой жизни (В. С. Souvarine, там же, стр. 115).

Тем не менее Суварин, как и Троцкий, думает, что Сталин того периода «профессиональный революционер», тогда как он был с самого начала своего появления на кавказской арене человеком, в котором «профессиональный революционер» органически уживался с профессиональным бандитом-«эксом» и бесчувственным убийцей-террористом. Как таковой Сталин был основоположником уголовного течения в самом большевизме.

Хотя духовным отцом «эксов» надо считать Ленина, как мы это уже видели, но он предоставлял «эксам»-партизанам широкую «автономию». Он писал в уже цитированной нами статье «Партизанская война»:

«Мы не имеем ни малейших претензий на то, чтобы навязывать практикам какую-нибудь сочиненную форму борьбы, или даже на то, чтобы решать из кабинета о роли тех или иных форм партизанской войны» (Ленин, Собр. соч., т. X, стр. 88).

Ленину были важны не «формы борьбы», а деньги, которые Коба и Камо доставляли ему для дела революции, совершенно так же Ленин поступит в будущем, когда к нему потекут уже миллионы денег для той же цели без всяких грабежей: немецкие деньги. Однако перед немцами Ленин ни в чем не обязывался, кроме того, чем он занимался и без них — организацией революции в России, но Коба и Камо он был обязан содержанием своего штаба и своих изданий в самые тяжелые годы в жизни партии: 1905—1912 гг.

Ленин нес полную политическую и моральную ответственность за кавказские «экссы», о чем он публично заявлял. Он нес личную ответственность за все дейст-

вия — уголовные и террористические — Коба и Камо тем, что, благословляя их на «подвиги», предоставлял им «автономию». Но самая большая ответственность Ленина перед историей и перед его собственной партией заключается не столько в том, что он добывал деньги через бандитов, сколько в том, что самого верховного «экса» он ввел именно за эти вооруженные грабежи в состав законодательного органа партии — в ЦК. Провокатор Малиновский, который сидел рядом со Сталиным в ЦК 1912 г., отправил в вольную ссылку только какой-нибудь десяток большевиков, а «экс» Сталин убил впоследствии всю партию Ленина и методами «экс» превратил советскую Россию в страну перманентной инквизиции. Семена перерождения ленинского политического большевизма в сталинский уголовный большевизм после смерти Ленина посеял сам Ленин именно в годы «экспроприаций».

После ареста Камо и перевода Коба на «акции» в Петербург кавказские «экспроприации» прекратились. Ленин начал изыскивать другие «формы» для добывания денег. (В двадцатых годах один из старых большевиков рассказывал в печати такой случай: некий член большевистской партии жил с очень богатой московской купчихой, и эта купчиха регулярно вносила в кассу партии значительные суммы пожертвования, но «жених» по какому-то пустяковому случаю поссорился с купчихой, ушел от нее, и пожертвования прекратились. Когда Ленин предложил ему вернуться к купчихе, «жених» заупрямился, ссылаясь на моральные соображения, и спрашивал Ленина, согласился бы он сам добывать партии деньги таким образом? Но невозмутимый Ленин отвечал:

«Я лично определенно не мог бы, но ты ведь можешь, так будь любезен, вернись к ней». Этот рассказ я привожу на память, не имея под рукой журнала, кажется, «Красный архив», в котором он печатался, но за смысл рассказа старого большевика я ручаюсь.)

Начала помогать большевикам даже либеральная русская буржуазия, начиная от известного фабриканта Морозова и до малоизвестных фабрикантов В. А. Тихомирова (субсидировал издание «Правды») и Н. П. Шмидта (последний завещал партии большевиков около 280 тысяч рублей, которые большевики и получили через его сестер — см. Ем. Ярославский, цит. пр., стр. 195). Много отчислений в кассу партии от своего гонорара делал и писатель Максим Горький, он же совершил большое турне по Америке и всю собранную сумму денег отдал партии. Поскольку даже «профессиональные революционеры» в России получали от ЦК очень небольшое жалование (по данным Ярославского — 3, 5, 10, максимум 25-30 рублей в месяц), то главная часть средств партии шла на содержание ЦК и его печатных органов за границей и внутри страны.

После ареста и осуждения Камо Ленин потерял всякую связь с уцелевшими «эксами» на Кавказе, но Коба встретился до революции еще два раза с Лениным. Оба раза встречи происходили во время заседаний ЦК в Кракове в ноябре и декабре 1912 года. При последней встрече Коба, вероятно, сообщил Ленину, что он хочет менять профессию «экса» на «теоретика», правда, по очень узкому, но для будущей России очень важному вопросу — по «национальному вопросу».

Как бы там ни было, но Коба действительно отходит от каких бы то ни было акций, связанных с «экспроприациями», и даже отказывается от своей клички «Коба», под которой он сделал всю свою карьеру вплоть до членства в ЦК. У Сталина было много революционных кличек: «Давид», «Нижерадзе», «Чижиков», «Иванович», «Коба» и др. Много было у него и литературных псевдонимов, когда он писал по-грузински. Первый его псевдоним звучит почти символически: «Бесошвили» (по-русски — «Бесов»!). Наиболее частый псевдоним все-таки «Коба», потом «Като». С 1909 года, когда он начал писать и по-русски, он усиленно занят по-

дыскиванием себе оригинального, но русского псевдонима. Уже одно перечисление его чередующихся псевдонимов показывает, как трудно было найти псевдоним, отвечающий его «воле к власти»: статьи его конца 1909 года подписаны — «К. Стефин». Статья его в газете «Звезда» 15 апреля 1912 года подписана: «К. Салин». Уже через три дня в той же газете он подписывается как «К. Солин». Только 12 (25) января 1913 года в центральном органе «Социал-Демократ» впервые появляется новый и последний псевдоним под большой корреспонденцией «Выборы в Петербурге»: «К. Сталин» (см. Сталин, «Сочинения», т. 2).

Желание Коба, еще не Сталина, стать теоретиком по национальному вопросу, видно, Ленин одобряет: он поручает ему написать соответствующую работу, даже дает ему в помощники Бухарина для подбора и перевода цитат из трудов по национальному вопросу австромарксистов (Карла Реннера, Отто Бауэра). Сталин переезжает из Кракова в Вену и садится за свой первый серьезный литературный труд «Национальный вопрос и социал-демократия». Об этом в феврале 1913 года Ленин писал М. Горькому:

«У нас один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» (большевистский легальный журнал в Петербурге. — А. А.) большую статью, собрав все австрийские и др. материалы» (Сталин, там же, стр. 403).

Когда редакция журнала хотела напечатать статью как дискуссионную, Ленин возразил:

«Мы абсолютно против. Статья очень хороша... Мы не сдадим ни на йоту принципиальной позиции против бундовской сволочи» (там же, стр. 403).

Статья вышла в трех номерах «Просвещения» за подписью «К. Сталин». Коба стал Сталиным. Он доказал Ленину, что он не только «экс», но и «теоретик». Однако для Ленина он все-таки остался «эксом» «Коба». Когда по возвращении в Петербург в конце фев-

раля 1913 года Сталин был арестован, Ленин писал: «У нас тяжкие аресты. Коба взят...» (там же).

В заключение укажем на дальнейшую судьбу ученика Сталина — Камо. Как указывалось, освобожденный Февральской революцией из харьковской каторжной тюрьмы, Камо участвует в Октябрьской революции и в гражданской войне. Рекомендуя его Реввоенсовету республики, Ленин писал, что он знает Камо лично «как человека совершенно исключительной преданности, отваги и энергии» («Ленинский сборник», XXXV, 1945, стр. 73). В другой записке Склянскому и Смильге Ленин писал, что он знает Камо «как человека совершенно исключительной отваги, насчет взрывов и смелых налетов особенно» (Ленин, ПСС, т. 51, стр. 42).

Как сообщает комментатор Ленина, «Камо с группой боевиков, с оружием, боеприпасами и литературой осенью 1919 г. был конспиративно направлен из Москвы для подпольной работы на Кавказ» (Ленин, ПСС, т. 54, стр. 708).

Камо был направлен для организации взрывов в признанную Советской Россией независимую Грузию. Советский посол в Грузии — Сергей Киров — в докладе Ленину в декабре 1919 года, пренебрегая правилами конспирации и своим положением «посла», открыто писал, что Камо все еще не прибыл на место. Такое легкомыслие Кирова настолько возмутило Ленина («дипломатический скандал!»), что он дал распоряжение своему секретарю:

«Надо послать шифровку, чтобы нигде и никогда не смели употреблять кличку Камо, а заменили тотчас иной, новой. Город, где Камо, называть шифром. Ленин» (Ленин, ПСС, т. 54, стр. 421).

Тем временем Камо прибыл в Тифлис и еще менее осторожно, чем Киров, начал «взрывать» Грузию. Его немедленно арестовали и в январе 1920 года выслали из Грузии. Камо переехал в Баку для продолжения той

же работы против другой независимой республики — Азербайджана.

После оккупации Грузии Красной армией Камо начал служить в Тифлисе в наркомате финансов (ведь Камо был в своем роде «эксперт» по финансам). Камо продолжает иметь связь с Лениным и во время болезни Ленина. Он просился в его личную охрану во время предполагаемого лечения Ленина на Кавказе, на что Ленин давал согласие при условии, что и секретарь Заккрайкома партии С. Орджоникидзе согласен с этим (Ленин, там же, т. 54, стр. 230).

Но скоро Камо накликал на себя беду, сам того не подозревая. У кавказцев и героизм не считается героизмом, если он не на виду. К тому же стареющие люди с прозаическим настоящим начинают жить воспоминаниями о романтическом прошлом. Финансовый «эксперт» из Тифлиса в каждом духане начал рассказывать, как он и дважды министр России, теперь всесильный «генсек» Коба убивали «черносотенцев», «экспроприировали экспроприаторов», какие при этом бывали героические схватки, и самое главное — как он и Коба награбленные деньги доставляли самому Ленину. Не просто рассказывал, но еще показывал документы, газетные корреспонденции, письма... Как сообщил первый биограф Камо Бибинойшвили (его Берия расстрелял), очень скоро в Тифлисе появился какой-то важный эмиссар, забрал у Камо весь его архив и отбыл обратно. Ни о своем архиве, ни об этом эмиссаре Камо больше ничего не слышал. Цитируя это место из Бибинойшвили, Троцкий спрашивает:

«Будет ли это поспешным выводом предположить, что Сталин через одного из своих агентов захватил у Камо известные доказательства, которые по тем или иным причинам находил тревожными» (L. Trotsky, цит. пр., стр. 109).

Да, ответим мы, это предположение вполне допустимо, но вывод Троцкого ошибочен: не потому Сталин

конфисковал архив Камо, что из этого архива не видна «героическая роль» Коба в «эксах», а наоборот, потому что она в них слишком хорошо видна и документирована. Сталин опасался, что если архив Камо попадет в руки врагов, то весь мир узнает из него, что генеральным секретарем ЦК большевиков стал бывший профессиональный бандит.

Все биографы Сталина жалуются, что Сталин никогда не признавал, хотя и не отрицал, своего участия в «эксах». Эти жалобы безосновательны. Сталин признавал свое руководство всеми «экспроприациями» Камо тем, что объявлял его своим личным учеником, как мы это видели выше. Он только не рекламировал «эксосов» как Камо, ибо Камо сидел в тифлисском духанчике и жил воспоминаниями, а Сталин сидел в Кремле и управлял уже не «эксами», а великим государством. Именно «государственный резон» требовал, чтобы Камо тоже замолчал. И он замолчал. В том же 1922 году, в котором у него конфисковали архив, Камо ехал на велосипеде по улице Тифлиса. Движение было небольшое, ведь люди еще ездили на повозках, а во всем Тифлисе в то время было только четыре или пять автомобилей. Но откуда ни возьмись один из этих автомобилей налетел на Камо и задавил его насмерть. «Будет ли это поспешным выводом», если предположить, что водителем этого автомобиля был агент Сталина?

«НОВЫЙ КОЛОКОЛ»

«Был замысел странно порочен»...

Георгий Иванов

«Новый колокол», — так озаглавлен литературно-публицистический сборник, изданный в 1972 году в Лондоне.

О литературной части скажу лишь вкратце: «Попытка спасения» Анатолия Кузнецова — интересный отрывок из книги, над которой работает автор; для суждения подождем появления целого. Талантливо написанная «Засада» Милована Джиласа — переводный материал. «Под гром салюта» и «Беда» Михаила Дёмина — опять-таки лишь главы книги, как и отрывок из книги «Подконвойный мир» Александра Варди, озаглавленный «Резня». Алла Кторова в рассказе-миниатюре «Нежный гад» верна себе: сжатый слог, прекрасное воспроизведение советского жаргона, натурализм «во всё полотно». «Грязные снега» Игоря Ельцова — «социалистический реализм» не в казенном, а в подлинном смысле этого слова: страшный рассказ о том, как на Крайнем Севере озверевшие от долгой изоляции солдаты засекреченного ядерного полигона забили насмерть сошедшего с ума синоптика.

И еще одно замечание вскользь по поводу в общем яркого гротеска Юрия Кроткова «Наполеон и акула. Комедия в трех действиях»: если одно из действующих лиц — француз, то он, несмотря на всё головокружение от влюбленности, никогда не скажет женщине «мон шер» («мой дорогой»), а всегда «ма шер» («моя дорогая»; французские слова печатаем русскими буквами, как в подлиннике).

В публицистической части отметим статью А. Якушева «Либерально-демократические настроения советской интеллигенции». Автор имеет в виду в первую очередь высококвалифицированную интеллигенцию, обслуживающую «закрытые» научные центры, являющиеся, по словам автора, «чем-то совершенно уникальным в советских условиях: там смотрят любые западные фильмы, читают любую литературу (кроме явно антисоветской), там организуются лекции и дискуссии на темы, невозможные в других местах. Дискуссии имеют обычно почти свободный характер. Идеологическая работа — в классическом партийном смысле — там совершенно не имеет значения. Удивительно не это, удивительны сами «духовные запросы». Логично было бы ожидать благодарности за свободу профессионального творчества и прочие блага и полной покорности правительству. Это ожидание оправдывается только частично. Ученые выполняют свои профессиональные обязанности исправно. Но и только. Примерно половина этой среды объявляет себя сторонниками глубоких демократических преобразований государственной власти. И дальше: «...самая способная, талантливая и честная часть интеллигенции не желает в настоящее время продолжать традиционную политику тоталитарного государства ни в какой области социальной жизни» (стр. 48).

Перейдем теперь к тому общему впечатлению, которое производит «Новый колокол».

Из редакционного предисловия:

«В январе 1970 года в Лондоне состоялась международная конференция, в которой приняли участие писатели, ученые и журналисты, недавно покинувшие СССР, а также западные специалисты по Советскому Союзу.

... Нас объединяет то, что мы чувствуем себя представителями советской оппозиции на Западе. Мы не принадлежим к какой-либо партии или политической группировке. Мы отрицаем любые формы диктатуры, как и такие методы борьбы, которые к диктатуре приводят.

«НОВЫЙ КОЛОКОЛ»

... Мы включили в название сборника слово, ставшее символом свободной бесцензурной печати, — *колокол*, понимая степень отличия нашего издания от его знаменитого предшественника. Герценовский «Колокол» способствовал созданию революционной ситуации в России и давал правдивую информацию о происходящих там социальных процессах. В настоящее время революционной ситуации в СССР нет, а отсутствие правдивой информации в советской официальной прессе в значительной степени возмещает Самиздат. Мы продолжаем традицию «Колокола» только в качестве вольной бесцензурной печати за пределами родной страны.

... Мы предназначаем наш сборник для оппозиционно настроенной интеллигенции Советского Союза, а также для западных читателей, знакомых с проблемами советской идеологии.

... Советская творческая интеллигенция стремится, в частности, к таким реформам в рамках существующей системы, как:

Уничтожение цензуры в области искусства и науки.

Свободные выборы руководства Союза писателей СССР и других творческих союзов.

Гарантия защиты членов творческих союзов от политических преследований.

Создание независимого издательства, свободного от политического контроля (на кооперативных началах).

Публикация рукописей, отвечающих русской традиции, которые были запрещены по политическим или произвольным причинам.

Публикация на родине русских книг, вышедших в изгнании.

Возвращение в открытый доступ книг, изъятых из библиотек.

Открытый книжный рынок для всех произведений мировой культуры.

Амнистия писателей и авторов Самиздата, которые находились или находятся в заключении (тюрьмы, лагеря, психиатрические больницы, ссылки).

Право свободного выезда из СССР и ненаказуемого воз-

вращения на родину деятелей русской культуры и искусства» (стр. стр. 5-7).

Ну что возразишь против благой цели сборника, предназначенного для оппозиционно настроенной интеллигенции в СССР? Ничего! Но вот не возражение, а, так сказать, замечание на полях: Герцен предназначал свой «Колокол» для *всех*, начиная с государя и кончая почтово-телеграфным чиновником. Сословного замыкания у Герцена и днем с фонарем не отыщешь. И выдвигавшиеся им требования касались *всех*, а не только интеллигенции, объединенной в творческие союзы. Плохи ли требования, сформулированные «Новым колоколом» от лица творческой интеллигенции? Боже нас упаси утверждать нечто подобное! Но вот опять-таки «замечание на полях»: если в материалах, доходящих к нам «оттуда», встречаешь политические требования, то они (как и у Герцена) — для *всего* народа. А иные представители творческой интеллигенции, выдвинувшие публично эти требования, даже жестоко за это поплатились, но не дали себя сломать. Имена их всем известны. Непонятно (в свете сказанного), какие именно круги творческой интеллигенции, мечтающие только о дозированной свободе для себя, имеет в виду редакция «Нового колокола»? Из самиздатовского журнала «Сеятель» № 2:

«Человек, наученный обществом мыслить и в то же время могущий в нашей ситуации сосредоточиться на личной жизни, чистой науке и чистом искусстве, на умных книгах и индивидуалистических религиозных исканиях, отгораживаясь от остального, — такой человек является нравственным калекой ничуть не в меньшей степени, чем бездушный карьерист или работяга алкоголик, дружинник и хулиган»*.

* См. «Вольное слово». Выпуск 5, стр. 78. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1972. Р е д.

К сожалению, список недоуменных вопросов этим не исчерпывается.

Вот, например, присланная из Советского Союза в «Новый колокол» статья «Трактат о прелестях кнута» Анонима, — какой-то старой большевички. В редакционной сноске сказано, что статья «печатается без ведома и согласия автора, без изменений». Но не оговорено, что, скажем, редакция не разделяет некоторых положений статьи. Может быть, не надо было? Приводим выдержки:

«Известно, что советское правительство с первых шагов своей деятельности приняло меры к охране этих памятников (русской старины. — А. Н.). И всё же многие из них были разрушены или пришли в негодность в годы гражданской войны и голода. Это обидно и горько, но понятно. Тут действовало много факторов: и веками накопившаяся злоба народных масс, переносившаяся на памятники и предметы обихода царей и помещиков; и контрреволюционная деятельность духовенства в первые годы советской власти;

...Да и почему Петр I и Суворов — при всех их талантах — должны быть «святыней» для социалистической страны?.. Но чем, скажите на милость, священен для нас Александр Васильевич Суворов (стр. 61)?

Не могу удержаться, чтобы не привести мнение ученого, право же знавшего русскую историю — Владимира Ильича Ленина... (стр. 65).

Для сравнения даю другую цитату:

«Ленин, философски и культурно был реакционер, человек, страшно отсталый, он не был даже на высоте диалектики Маркса, прошедшего через германский идеализм... Это оказалось роковым для характера русской революции. Революция совершила настоящий погром высокой культуры» (Н. Бердяев. «Самосознание»).

...Октябрьская революция не есть дело рук и достояние одного русского народа, а всех народов нашей страны» (стр. 69).

Замечание на полях: на выборах в Учредительное собрание народы России отдали большевикам — которых знали тогда только по обещаниям — одну четверть голосов!

Очень интересна статья венгерского ученого Тибора Самуэли «Интеллигенция и революция». Автор — бывший профессор и заведующий кафедрой новой истории Будапештского университета, приехавший в Венгрию из Москвы в 1953 г., проживает в Англии с 1964 года. Тибор Самуэли, — вероятно, бывший коммунист (некоммунисту вряд ли бы доверили пост проректора университета), — пишет о русской дореволюционной радикальной интеллигенции примерно так же, как писали о ней «Вехи». Но примечательно в данном случае не это: перепечатанная из «Спектэйтора» (Spectator) другая статья проф. Тибора Самуэли помещена в ноябрьском-декабрьском выпуске бюллетеня «АБН-Корреспондентс» — органе «АБН». В этой статье Тибор Самуэли, во-первых, утверждает, что русские инакомыслящие озабочены лишь «либерализацией» Советского Союза, но с сохранением его имперской целостности, и не заботятся о других народах (а как с крымскими татарами, месхами, евреями?), а во-вторых, он противопоставляет тонкому слою инакомыслящих сплоченные, горящие ненавистью к России широкие массы украинцев, белорусов, латышей, литовцев, грузин и др.

Наш недоуменный вопрос сводится к следующему: почему «Новый колокол», раз уж зашла речь о России и ее прошлом, предлагает столь узкий выбор: вот Аноним, вот Тибор Самуэли, а вот и историческая концепция, изложенная в статье покойного А. Белинкова, озаглавленная «Страна рабов, страна господ...» На ней мы остановимся. Но предварительно хочу сказать несколько слов. Я ценю А. Белинкова как литературоведа. По собственному опыту нацистских концлагерей я знаю, что значит перенесенное им. Я не виню его поэтому за сказанное им о народе и о стране, к которым я принад-

лежу. Но я понимаю и одобряю Романа Гуля (хотя, быть может, в другом и расхожусь с ним), отказавшего печатать статью «Страна рабов, страна господ...» в «Новом журнале».

А. Белинков начинает свою статью со слов:

«В России власть побеждает легко. В России, чтобы победить, нужно только поймать. Суд в России не судит, он всё знает и так. Поэтому в России суд лишь осуждает. Но для того, чтобы осудить не только того, кого поймали, но еще и тех, которых пока еще не поймали, нужно, чтобы ловила не одна полиция, а всё общество. И общество в России всегда охотно, готовно и стремительно шло навстречу» (стр. 323).

А затем следует рассказ о том, как «раскалывались», донося на допросах друг на друга, декабристы и как поносило их после неудавшегося мятежа русское общество того времени.

Да, и Рылеев, и Трубецкой, и даже Пестель «раскололись». Но нужно вникнуть в ту эпоху: истребить царскую семью не на словах, а на деле этим людям было *психологически* невозможно. Булатов подходил к государю Николаю Павловичу вплотную; застрелить царя из пистолета было легче легкого. Но у Булатова не поднялась рука. Только один из них — Кюхельбекер — пытался бежать за границу.

«Скрыться можно было только за границу, но это было очень трудно и этого не позволяли «правила» людей того поколения. Они прощали многое, простили дезертирство Трубецкого, откровенные показания на следствии, выдачу друзей; но покинуть отечество казалось им пределом нравственного падения» (Мих. Цетлин. «Декабристы. Судьбы одного поколения»).

А вот — если уж речь зашла о поведении Рылеева — выдержка из его показания:

«Я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествия 14-го декабря, ибо мог остановить оное... Если нужна казнь

для блага России, я один ее заслуживаю и давно молю Создателя, чтобы всё кончилось на мне».

О самом раскаянье их Мих. Цетлин пишет:

«Узники... заражались этим чувством, что благородно — раскаиваться, позорно — молчать и запираяться. Это была не слабость, не самообман. Это было наваждение».

Но не все декабристы раскаивались и «раскалывались». Стойко держали себя Пущин, Якушин, Борисов, Артамон Муравьев, Лунин, Левашев, Батенков. Вот отрывок из дополнительного показания Батенкова:

«Странный и ничем не объяснимый припадок, продолжавшийся во время производства дела, унизил мой характер. Постыдным образом отрекся я от лучшего дела моей жизни... Тайное общество наше... состояло из людей, коими Россия всегда будет гордиться. Чем меньше была горсть людей, тем славнее для них, ибо, хотя по несоразмерности сил глас свободы раздавался не более нескольких часов, но и то приятно, что он раздавался».

Знал ли о всем приведенном покойный А. Белинков? *Не мог не знать*. Но *этих* примеров он не привел. Зато вынес приговор:

«Декабристы начали писать первые страницы раскаяний и верноподданнических заверений. Потомки этими раскаяниями и заверениями залили российскую общественную историю, особенно в эпоху, которая объявила себя прямой наследницей декабристов» (стр. 323).

Теперь — о русском обществе эпохи декабристов в освещении А. Белинкова. Сперва его догадка, что черновая пометка Пушкина в тетради, где написана «Полтава», под рисунком виселицы с пятью телами: «И я бы мог как шут на...», сделанная в 1826 году, — свидетельство того, что Пушкин считал декабристов (в том числе, значит, и своих близких друзей Пущина и Кюхельбекера) шутами. (Как известно, в том же 1826 году, вызванный на коронацию в Москву Пушкин, отвечая госуда-

рю на заданный им вопрос, смело сказал, что если бы он был 14 декабря в Петербурге, то вышел бы на Сенатскую площадь. И кто не знает его стихотворения «Послание в Сибирь».

Затем приводятся стихи двадцатитрехлетнего Тютчева: «Декабристам». Не говорится лишь, что Тютчев писал свои стихи в Мюнхене, где находился на дипломатической службе, и о происходившем в России знал лишь по официальным сообщениям. Зато подчеркивается, что уже в молодости Тютчев был «сильно последовательным» (очевидно, намек на образ мыслей поэта, охваченного идеей величия и всемирного призвания России).

Затем идут цитаты из писем Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, Л. Ф. Воейкова, графини М. Д. Нессельроде, С. П. Свечиной (из Парижа), Е. М. Олениной и некоторых других, чтобы сделать уничтожающий вывод: «Интеллектуальная элита России отнеслась к декабризму сурово, испуганно и мстительно» (стр. 329).

В книге «Декабристы» Мих. Цетлина говорится по-другому:

«Все ушли в службу, в частную жизнь и словно по молчаливому паролю старались забыть о кучке погибших мечтателей и безумцев. Кое-кто в купеческой среде сочувствовал и понимал их. Басаргину сторож принес из фруктовой лавки прекрасные фрукты, за которые купец ни за что не хотел взять денег. Такие случаи были не единичны. Но в крестьянстве думали, что это дворяне и помещики бунтовали против батюшки-царя, потому что он хочет дать им свободу».

А вот одно показание современника. А. Н. Вульф после встречи с Пушкиным записывает в своем дневнике (запись датирована 18 февраля 1834 г.):

«Он (т. е. Пушкин. — А. Н.) говорит, что возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи» (подчеркнуто нами. — А. Н.).

Итак, через девять лет после 14 декабря среди молодежи — оппозиция!

А какая причина, кроме боязни массовых демонстраций, заставила правительство не допустить отпевания Пушкина в Казанском соборе, ограничиться его отпеванием в Конюшенной церкви придворного ведомства, куда пускали по билетам только родных и близких друзей поэта? Почему правительство приказало втайне и спешке перевезти прах поэта в Святогорский монастырь?

Теперь о «стране рабов». Бедный Лермонтов! Сколько уже цитируются его злополучные строки! А он-то, уезжая в ссылку на Кавказ, и знать не знал, конечно, про секретные сводки в Министерстве внутренних дел.

«В период времени с 1835-го по 1854-ый г., по *неполным* (подчеркнуто нами. — А. Н.) данным Министерства внутренних дел убиты были 131 помещик и 21 управляющий и сделано 62 покушения на жизнь и тех и других... Волнений крестьян (не считая убийств и покушений на убийства) с 1828-го по 1854-ый г. — 547. В среднем — 23 случая в год» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 32).

«И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ»...

А вот мнение о послушном жандармам голубым народе; его высказал А. И. Герцен.

«Пусть она (Европа. — А. Н.) узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов... об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой природы под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина» (А. И. Герцен. «С того

берега». Изд-во Академии наук СССР, т. VI, стр. 17. Москва, 1955).

Наконец о Николае Павловиче.

«А ведь как недалновидны люди и как не понимают они, что всякий мерзавец может стать великим политическим деятелем и корифеем науки чуть только он волей судьбы или безволием людей получит возможность убивать, выгонять, уничтожать, сажать в тюрьмы миллионы людей, резать книги, спускать с цепи цензуру, выкручивать руки, отрывать головы, заплевывать национальную культуру. У нас любят героев. У нас героем является любой, особенно такой, который устанавливает порядок, борется за дальнейшее искоренение сельского хозяйства и укрепляет неокрепшие умы. В связи с этим все, кто был по-настоящему заинтересован в дальнейшем улучшении дальнейшего исторического процесса нашей родины, захлебнулся от счастья, поняв, наконец, как прекрасен Николай Павлович...» (стр. 334).

Итак, император Николай Павлович — «мерзавец». Такой отзыв, признаемся, мы слышим впервые. Не нашли мы его и на страницах герценовского «Колокола», где об этом государе было сказано достаточно много горькой правды. Да, «суд» над декабристами чести ему не делает. Там было и прямое нарушение закона: по не отмененному тогда указу императрицы Елисаветы Петровны от 1754 года упразднялась смертная казнь за политические преступления, так что, действуя строго по закону, казнить смертью можно было лишь дважды убийцу Каховского. Да, император Николай I сковал развитие России цепями бюрократизма, за что она и поплатилась поражением в Крымской войне. Но миллионы людей в тюрьмы он не сажал (этим впервые занялся Ленин — «ученый» Анонима!). Шесть раз учреждал он секретные комитеты для облегчения участи крестьян и шесть раз отступал, напуганный призраком революции. Но кое-что сделал: установил минимум крестьянского надела (четыре с половиной десятины на душу), запретил делать крепостных без земли предме-

том договорных обязательств и продавать крепостных в розницу. На смертном одре взял с сына клятву: освободить крестьян. Ко власти не стремился: отказывался вступить на престол и после вскрытия манифеста Александра Первого. («Ученый» же стремился, и еще как стремился: не побрезговал запломбированным вагоном и германскими марками!). Россию император Николай любил до самозабвения: вставал рано утром и работал до поздней ночи; бывало, его из кабинета выносили замертво. («Ученый» же, по рассказу Соломона, автора книги «Среди красных вождей», как-то выразился: «На Россию, господа хорошие, мне наплевать»). В Николае было много достоинства: воля, выдержка, преданность долгу, beaucoup de прапорщик, но и «un peu de Pierre le Grand», по слову Пушкина. Была в нем и жестокость, но не жестокость характерна для него, а тяжесть, неподвижность, «недуховность», пишет о Николае Первом отнюдь не жалующий его Мих. Цетлин.

(Кстати, историки выяснили, что очень близко стоял к декабристам и едва ли не входил в Северное общество князь Александр Аркадьевич Суворов — Итальянский граф Рымникский, позднее генерал-адъютант, а в 1825 году молодой офицер двадцати одного года от роду, внук генералиссимуса. Так вот: ни его ни разу не допросили, ни арестованных декабристов о нем не спрашивали. Рюриковичей в Сибирь на каторгу ссылали, а внука неродовитого Суворова пальцем не тронули. Невольно вспоминается наивный вопрос Анонима: «Но чем, скажите на милость, священен для нас Александр Васильевич Суворов?»).

В период между двумя войнами в финский сейм поступило предложение снести памятник Александру Второму, стоящий в Хельсинки. Отнюдь не настроенный право (и уж, конечно, не русофильски) сейм это предложение всё же отклонил. Мотивировка была следующей: «Страна, не уважающая свое прошлое, недостойна своей свободы и независимости». Определение «мер-

завец» по адресу Николая Павловича режет ухо не только монархисту (к ним автор данных строк себя не причисляет, хотя, говоря отвлеченно, он и не пожелал бы России лучшей формы правления, чем конституционная монархия, как в Англии или скандинавских странах, отлично сознавая всю утопичность своего пожелания). Как жаль, что А. Белинкову осталось, по-видимому, неизвестно решение финского сейма!

А теперь снова вернемся к утверждению Белинкова, что русское общество всегда шло навстречу власти, когда она вылавливала и карала своих врагов. Пусть меня поправят, если я ошибаюсь, но мне известны только два случая кратковременного единения императорской власти и общества: в первый раз 1 марта 1881 г., когда народовольцами был подло убит Александр Второй, и летом 1914 года, когда Германия объявила России войну. Всё остальное время общество и правительство представляли собой два враждебных лагеря, и если прав А. Белинков, то он сделал эпохальное открытие в русской истории.

Но совсем не нужно быть историком, чтобы понять всю неверность и несправедливость слов А. Белинкова:

«Всю жизнь изучая научные труды, большая часть которых посвящена доказательству лживых идей..., я ни в одном из этих научных трудов не обнаружил того, что помогло бы мне понять, почему главной задачей русской истории всегда были попытки задуть свободу и почему русская интеллигенция всегда охотно этому помогала.

Это я понял, читая совсем иные книги и черпая образованность из иных кладезей мудрости...» (стр. 355).

А дальше идет потрясающий рассказ о том, чему подвергался А. Белинков на допросах, в тюрьмах, в концлагерях. Но при всем к нему глубоком сочувствии возникает горькое недоумение: как не мог он, с его умом и дарованием, проникнуть не то что в тайну, а в секрет полишинеля: именно потому и пытки, потому и тюрь-

мы, потому и миллионы замученных, потому и ложь, чтобы народ не возжаждал свободы. А он ее всё-таки жаждет!

«Декабристы были разгромлены, потому что боролись за свободу в стране, которая всегда ненавидела эту свободу во всех классах, ...потому что в этой стране должен погибнуть всякий, борющийся за свободу. Но, всегда надо помнить о том, что если в этой обреченной стране перестанут бороться за свободу, то будет уничтожено, сожрано, вытоптано, заплёвано всё, что веками создавалось теми, кто оставался свободным» (стр. 359).

Итак, с одной стороны, Россия «всегда ненавидела... свободу», а с другой — в ней не перестает идти борьба за свободу. Здесь Белинков сам себе противоречит, и слава Богу, что противоречит!

Как видно из редакционного примечания к статье, А. Белинков работал над новым вариантом статьи, рассчитанным не на советскую оппозицию, а на русского читателя в изгнании. Из его черновых записей видно, что первый вариант работы, написанный еще в России, был направлен «против гнусного советского патриотизма» и рассчитан на советскую оппозицию. В черновых же записях имеется и тезис: «Советская история это русская история, только выбравшая из нее всё самое реакционное, омерзительное, шовинистическое, кровавое и забывшая всё благородное, высокое, чистое и прекрасное» (стр. 365). Но даже учитывая этот тезис, нельзя не почувствовать, насколько «пересолил» в своей статье-памфлете А. Белинков и какую плохую услугу оказали и ему, и своему сборнику его составители, опубликовав на его страницах статью «Страна рабов, страна господ...».

Признаюсь: и «Трактат о прелестях кнута» Анонима, и статью «Страна рабов, страна господ...» Белинкова я читал без особенного внутреннего волнения: нам здесь, за границей, так часто тыкали в глаза фальшивкой «Завещание Петра Великого» и записками знатока

Sainte Russie, каким был маркиз де Кюстин, что к произведениям, написанным в подобном духе, у нас выработался своего рода иммунитет. Но вот у наших соотечественников в России (не считая каких-то особых, неизвестных нам кругов творческой интеллигенции) такого иммунитета нет. А между тем психологически наиболее вероятно, что отношение внутрироссийского читателя к сборнику определится не той хорошей прозой и не теми содержательными статьями, которые в нем есть, а «трактатом» Анонима и статьей А. Белинкова, которые в сборнике задают тон.

В заключение скажу о назначении и названии сборника. В замысле и того и другого есть нечто порочное. Нельзя предназначать сборник для России и в редакционной статье ограничиваться лишь благопожеланиями «советской творческой интеллигенции» (чем-то вроде «всеподданнейших адресов с прошениями на высочайшее имя от благородного дворянства»). И нельзя присваивать ему имя герценовского «Колокола»; этот сборник, название которого — плод неслыханной смелости его составителей, не имеет с детищем Герцена ничего общего.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

Исихазм

Назовем ли мы человека воплощенным духом или воодушевленным телом, в обоих определениях мы выразим наше убеждение в том, что связь духа-души с телом имеет органический характер. Не удивительно поэтому, что психическое состояние часто бывает обусловлено соматическими процессами и, наоборот, душевные процессы отражаются на нашем физическом состоянии. Душа есть организующее и руководящее начало в человеке, а его тело представляет собой основу, физический базис, на котором, как на якоре, сохраняется тождество нашего я в сменяющемся калейдоскопе психических явлений. Народная мудрость давным-давно выразила эту психо-соматическую взаимозависимость в своих поговорках, как, например, «в здоровом теле — здоровый дух» или «сытое брюхо к молитве (учению) глухо».

«Сытое брюхо» грубовато, но верно символизирует нашу плотность, которой мы погружены в физический, материальный мир. Это — наша животная природа. Наша духовная природа образуется в меру того, как мы, преодолевая тяготение долу, устремляемся нашим умом и духом горé, к миру универсальностей, к миру идеальному, к Богу. Наш дух начинает легко парить лишь тогда, когда наш организм не перегружен соматическими задачами (сохранение жизни посредством питания и размножения). Аскеза состоит в том, чтобы воздержанием от обильной и богатой содержанием пищи усмирить наши животные инстинкты, чтобы они, на время молитвы, не мешали нам сосредоточиваться на умозрительных, духовных предметах. Итак, подчеркнем: *состояние и положение нашего тела способствует молит-*

венному созерцанию. Способствует, но не детерминирует! Это значит, что *одними физическими приемами* молитвенной цели достигнуть нельзя.

Связь душевных и телесных процессов известна была людям с незапамятных времен. Аскетические школы Индии, существующие уже тысячелетиями, довели аскетическую технику до совершенства. Перешла ли оттуда эта традиция к нашим христианским подвижникам или они сами, опытным путем, создали психосоматическую культуру молитвы, сказать трудно. Христианская монашеская аскетическая традиция уходит своими корнями в первые века христианства. Зародившись в сирийских и египетских пустынях, она со временем нашла себе прочное прибежище на Святой горе Афонской, где практиковалась в тиши монастырских и скитских келий в течение многих столетий. В половине четырнадцатого века (приблизительно) о молитвенных приемах восточных православных монахов узнает калабрийский монах Варлаам и выступает с полемикой против молитвенной практики святогорцев, на защиту которых встает Григорий Палама*, сам святогорец, мистик, богослов и епископ Фессалоникийский. Разгоревшийся богословский спор, известный в истории Церкви в качестве спора об *исихазме*, закончился победой сторонников этой монашеской аскетической традиции, победой, принявшей форму соборного окончательного определения в 1351 г. на Соборе в Константинополе. С Афона традиция эта перешла и в русские монастыри, где стала известна под названием «умного делания» или «молитвы Иисусовой». На Западе она не нашла отклика и до настоящего времени; так, например, современный католический богослов М. Жюжи, известный хулиатель исихазма, обнаруживает удивительное нечувствие или нежелание понять суть этого явления

* См. статью этого же автора «Учение о человеке св. Григория Паламы» в «Гранях» № 84. — Ред.

и, в числе многих других, видит в нем лишь «механический процесс» и «молитвенную практику со следами мессалианства»*.

Как в обыкновенной горной породе встречаются золотые самородки, алмазы и другие драгоценные камни, так и среди массы людей с нормальными способностями иногда рождаются люди, о которых говорится, что Бог дал им талант. Они обладают сверхнормальными способностями в какой-нибудь определенной области: в музыке, математике, технике, искусстве, литературе и т. п. Нас в этой статье интересуют люди мистически одаренные. О них говорят, что они обладают «тонким духовным слухом» или «обостренным духовным зрением». Таким был в древности Сократ, апостол Павел, Плотин... и наши русские православные мистики, как, например, св. Серафим Саровский и св. Иоанн Кронштадтский (упоминаю их как самых близких к нашей эпохе). Иногда мистическое вдохновение посещает их неожиданно, тогда они бывают «восхищены» независимо от их воли, но это бывает в виде исключения. Как правило мистический экстаз есть увенчание длительного подвига людей, посвятивших себя молитвенной и постнической жизни, цель которой состоит в устремлении к Богу. Мистическая встреча с Богом — есть удел избранных и удостоенных, которые, со своей стороны, готовят старательно к этой встрече. Условием *sine qua non* такого молитвенного общения с Богом является полное безмолвие, тишина, по-гречески *исихия*.

* Мессалиане — еретическая секта, возникшая в 360 г. в Месопотамии, придерживающаяся учения, что единственным способом богообщения и богоуподобления является молитва. Секта эта была также известна под названием «энтузиастов», «евхитов», а в России — под названием «богомиллов». Учение этой секты окончательно было осуждено на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе в 431 г. — Иг. Г.

Рассмотрим вкратце, совсем схематически, в чем состоит такая подготовка.

Пост. Всякое усилие, сопряженное с духовным или умственным напряжением, предполагает умеренность в пище. Если некая диета нужна спортсмену во время подготовки к соревнованиям, тем более строго надо придерживаться ее в день соревнования, когда от спортсмена требуется не только предельное физическое усилие, но и психическое: спокойствие, самообладание, непреложная воля к победе. Диетические ограничения соблюдаются и всеми артистами, выступающими на сцене в балете, в опере и на концертах. Что же говорить о монашествующих, ведущих постоянную созерцательную и молитвенную жизнь? Если они хотят достигнуть более значительных успехов на этом поприще, им приходится всё время исполнять правила постничества. Подавляющее большинство православных монахов не ест мяса. Рыба разрешается изредка, как и умеренное количество вина по праздникам. Если принять во внимание количество сплошных постов годового круга и число сред и пятниц еженедельного круга, когда не полагаются ни растительные жиры, ни молочные продукты, то из этого видно, что монашеская пища лишена всех тех веществ, которые питают животные инстинкты организма. Особенно усердствующие подвижники сами себе определяют «диету», ограничивая общепринятые нормы. В то же время сами аскеты не рекомендуют другую крайность: нельзя организм лишать пищи на долгое время и до такой степени, чтобы это отрицательно влияло на здоровье. В изнемогающем теле может не найтись достаточной силы воли для сосредоточения духовной энергии. Всё искусство поста заключается в сбалансировании питания таким образом, чтобы властные позы тела не нарушали духовного покоя и равновесия.

| 4

Ритм жизни. Распорядок дня и ночи в монастырях строго определен. От него до некоторой степени освобождены те, кто «несет послушание», то есть исполняет различные работы по хозяйству. Распорядок этот называется «правилом»; им определяется дневной круг общих молитв и богослужений, общих трапез и послушаний. Кроме этого, монахи исполняют свое «келейное правило», состоящее из молитв, чтения Св. Писания, патериков (жития святых) и иных богоугодных книг. Соблюдение монашеского правила придает жизни монаха дисциплинированность, определенность, собранность и ритмичность.

Духовная брань. Овладение телесными желаниями и страстями представляет собой как бы внешнюю подготовку к борьбе со страстями духовными и к борьбе с помыслами. Борьба эта ведется посредством анализа мыслей, внутренних желаний и искушений. Это — путь нелегкий и небезопасный, монах помогает себе крестным знаменем, постоянной молитвой и земными поклонами (метаниями). Здесь подвизающегося подстерегают тонкие соблазны. Поддающиеся им иногда «впадают в прелесть», то есть прельщаются ложными идеями и мнениями.

Постом, молитвой и борьбой с помыслами достигается очищение чувств (катарсис) и бесстрастность (апатия). Достижение этих ступеней и желающие дальнейшего совершенствования принимают на себя подвиг уединения либо в монастырской келье (затворничество, большая схима), либо в индивидуальном скиту, либо в «пустыньке». Уединение это бывает временным или постоянным и обычно сочетается с подвигом безмолвия (исихия).

Прежде чем перейти к описанию подвига «пустыннобезмолвия», заметим, что на всех ступенях молитвенного совершенствования очень важную роль играет так называемая «молитва Иисусова».

Молитва Иисусова. Она состоит всего лишь из нескольких слов: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя (грешного)!» Молитва эта может быть *устной*, если слова ее произносятся вслух или про себя; *умной*, когда с нею неразрывно соединяется внимание ума, и *сердечной* (или умно-сердечной), когда она совершается в сердце. Желательно, чтобы слова этой молитвы повторялись непрерывно — всегда и во всех обстоятельствах, так, чтобы она стала привычкой, стала постоянно звучать в сердце молящегося даже и тогда, когда его сознательная мысль сосредоточена бывает и на чем-либо другом. Сравнить это можно с тем, как в погожий летний день мы постоянно слышим пение цикад или журчание ручейка, хотя и не всё время сознаем это. Как предметы, находящиеся вблизи ароматных цветов или трав, постепенно насыщаются их запахами и уже сами начинают издавать аромат, так молитвенник, усвоивший себе Иисусову молитву, светится внутренним духовным светом и уподобляется в некой мере самому Христу.

Вначале, когда молящийся произносит слова молитвы Иисусовой только сознательно и перестает их произносить, как только его сознание обратится к какому-либо иному предмету, молитва эта называется *деятельной, трудовой и покаянной*. Когда же она начинает сама по себе звучать в сердце, независимо от сознания, она называется молитвой *благодатной* или *самодвижной*.

Умное делание. Сочетание молитвы Иисусовой с некими физическими приемами называется в православной аскетике «умным деланием». На этой аскетической ступени хорошо иметь руководителя, опытного в умном делании, называемого обыкновенно «старцем» (в индусской аскетике — гуру). Кроме традиционных способов «умного делания», бывают и индивидуальные, когда молящийся сам по себе находит надлежащий и ему свойственный путь.

Для «умного делания» необходима полная тишина. Следует отойти от всех мыслей, забот и мечтаний и, сидя в уединении и сосредоточившись вниманием в сердце («сведя ум в сердце»), повторять беспрестанно слова молитвы Иисусовой, как бы стоя безгласно и отрешившись от всего земного перед самим Богом. В этом положении надо особенным образом дышать, как бы задерживая при входе и выходе дыхание в области сердца и ритмично сочетая вдохи и выдохи со словами молитвы. В духовных руководствах, список которых приведен в конце этой статьи, подробно описываются все физические и психические усилия при этой молитве, а также определяются симптомы правильного и неправильного молитвенного процесса.

Представив весьма схематически то, что предшествует совершенной молитве, приведем слова великого поборника исихазма св. Григория Паламы относительно вышесказанного.

«Безмолвие состоит в обращении и собирании ума в себе. Особенно же в обращении к уму всех душевных сил и действие их по уму и по Богу... Как только душа не будет развлекаться разными образами, тогда человек с трудом найдет мир и достигнет успокоения и, насколько возможно, познает Бога, благодаря Которому он существует. Это всё превосходит его собственную природу и ведет к причастию природе божественной, постоянно подвигаясь вперед к лучшему...»¹.

В другом месте св. Григорий пишет, что, находясь в мистическом экстазе, «восхищении»,

«человек созерцает божественное сияние, «свет фаворский» и, пользуясь тем светом, восходит по пути, который возводит на вечные вершины и, о чудо! он становится зрителем премирных вещей в том свете, не разлучаясь от этой жизни. Или вернее, отделяясь от материального, в котором он от начала проходит известный ему путь, он, однако, восходит не на мечтательных крыльях ума, который кругом всего блуждает, как слепой, и не схватывает далекими чувствами и не превыспренними умопо-

стижениями точного и несомненного восприятия; но путь этот возводит в истине неизреченною силою Духа; духовным и неслезанным восприятием он слышит неизреченные глаголы и видит несозерцаемое, и он уже здесь, на земле, становится весь чудо»².

Об этом же пишет Симеон Новый Богослов:

«Я делаюсь причастником света и славы: лицо мое, как Возлюбленного моего, сияет, и все члены мои делаются светоносными»³.

«Когда же я приобщился Его, то сделался бесстрастным, воспламенился удовольствием, возгорелся желанием Его и, приобщившись света, подлинно сделался светом»⁴.

Вспомним, что и на св. Серафима Саровского, «стяжавшего Духа Святаго», сходил всё тот же свет, который воссиял на горе Фаворе в момент Преображения.

Богословская оценка. Итак, что такое исихазм? Исходя из предыдущего, мы можем сделать заключение, что исихазм есть восточная, православная, монашеская аскетическая традиция, в которой можно выделить три характерных черты: 1) физическую дисциплину тела во время молитвы; 2) постоянное исполнение так называемой молитвы Иисусовой, посредством чего достигается умное трезвение, очищение сердца, сосредоточенность; и 3) достижение *некоторыми* подвижниками внутреннего созерцания света, истекающего от Божественного Источника.

О каком же свете идет речь? Конечно, не о физическом. Для лучшего уяснения процитируем тексты, избранные из литургического богословия архимандритом Киприаном (Жерном):

«Церковь постоянно молится о духовном просвещении верных. Так, в сорокодневной молитве родительнице читается в отношении к младенцу: «...Яко Ты привел еси и показал еси ему свет чувственный, да и умного сподобится света». «Умного», то есть умопостигаемого. Чинопоследование крещения неодно-

кратно в себе содержит моление о просвещении крещаемого: «Сам, Владыко, Господи просвещение лица Твоего в сердце его озаряти выну благоволи». И всё это потому, что «есть другой свет, который, по противоположности с первым (то есть физическим) и по характеру среды, где он обнаруживается, может быть назван внутренним, духовным. Этот свет столь же реален, так же важен для жизни духовной, сколь и реален и важен первый в мире физическом, для жизни органической. Лишь при наличии этого света становится доступным созерцание предметов и красоты духовного мира. Только при условии «внутреннего» освещения в той или другой степени возможен правильный рост, цветение и плодоношение души... Надо помнить, что Бог называется Церковью светом: «Христе, Свете истинный, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный» (молитва 1-го часа)⁵.

Таких выражений, как «Матерь Света», «Свете тихий», «Свет истинный», «Божественный, неприступный, Триипостасный Свет», «Светоначальная Троица», «световидное покаяние», очень много в различных литургических текстах. В светильне Пятидесятницы говорится: «Свет Отец, Свет Слово, Свет и Св. Дух, иже в языцех огненных апостолом послася».

Символика света перешла в литургическое творчество и из Библии. Вспомним наиболее яркие примеры. Первое откровение, в котором Бог открыл Моисею имя Свое (Ягве), было в явлении пламенеющего и нестарающего терновника, «купины неопалимой». Позже, когда Моисей провел сорок дней и сорок ночей на горе Синайской в молитве и богообщении и затем начал спускаться с горы со скрижалями, то «лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним» (Исход, 34, 29, а также ст. 35). Когда Иисус Христос взял трех избранных учеников и пошел с ними на гору Фавор, то «преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет» (Матф. 17, 2). После воскресения явился женам мироносицам

Ангел Господен: «Вид его был как молния, и одежда его бела как снег» (Матф. 28, 3). Ап. Павел обратился ко Христу после того, как на пути в Дамаск услышал глас Его при внезапном осиянии его светом с неба (Деян. 9, 3).

Преп. Макарий Великий так пишет об этом свете:

«Свет, облиставший Павла, которым он был восхищен до третьего неба и стал слышателем неизглаголенных тайн, был не какое-либо просвещение мыслей и видение, но *ипостасное озарение души* силою Св. Духа»⁶ и «Как тело Господа, когда Он взошел на гору, прославилось и преобразилось в божественную славу и в бесконечный свет, так и тела святых прославляются и делаются блистающимися... Еще и ныне святые своим умом причащаются от Христовой сущности и Христова естества»⁷.

Отличительная черта православного религиозного сознания — это символическое восприятие мира. Не удивительно поэтому, что и наше психическое и наше физическое восприятие света символизирует свет фаворский, который представляет собой божественную энергию, как бы внешнюю ризу Божества в его обращенности к миру. Фаворский свет есть *прорыв* божественного в мирское, есть имманентное явление трансцендентной сущности.

Гений русского языка указывает на божественный аспект света, сочетая слово «свет» со словом «святой», а святость есть один из атрибутов Божества, о чем говорит молитва «Святой Боже, святой Крепкий, святой Бессмертный, помилуй нас!». В отношении к человеку, когда хочется выразить духовную настроенность его, говорится: лицо его просияло, светлая личность; и, насколько мне известно, только у русских встречается ласкательное выражение: «светик ты мой ясный!»

С точки зрения философии слова, интересно отметить, что на славянских языках свет одновременно означает мир, космос, подчеркивая, таким образом, наиболее существенный элемент вселенной. Это опять-таки перекликается в некоторой степени с текстом

Евангелия от Иоанна, где он пишет о Слове, второй Ипостаси, которой Св. Троица творчески обращена к миру (вселенной). Слово является ипостасным центром жизни, и эта «жизнь была свет человеков» (Иоан. I; 1-5). Первая поляризация докосмического хаоса состоялась в момент, когда Бог повелел: «да будет свет». (Быт. 1, 3).

Современные ученые предполагают, что наша постоянно расширяющаяся вселенная возникла в результате взрыва некоего онтического праатома. Световая энергия первична, если рассматривать историю вселенной в «нисходящем» порядке, она же — самая предельная, если смотреть на нее в «восходящем» порядке. Световая энергия стоит на рубеже материального мира и мира идеального, или (что то же) мира физического и мира духовного⁸. Один из русских мыслителей так определяет свет:

«...Свет есть высшая и, значит, также интегральная разновидность мировой энергии, в которой это реальное начало бытия представлено наиболее совершенным образом; он есть состояние высшей творческой активности мировой энергии, — предельное в своей интенсивности и безусловное в своей благодати»⁹.

Каково же отношение физического света к тому свету, который видят некоторые исихасты в своих умозрениях и озарениях? Вероятно, такое, какое имеется между вещью и ее идеей, между, скажем, нарисованным треугольником и математическим понятием треугольника вообще (идеей треугольника). Это — с научной точки зрения.

С богословской и мистической точек зрения свет Фаворский есть блистание божественной ризы в идеальном мире, или же одна из божественных энергий. Согласно апофатическому православному богословию, сама сущность Бога людьми не познается, потому что превосходит познавательные способности тварного че-

ловеческого разума. Однако модусы обращенности Бога к тварному миру, Его энергии («выступления», «теофании» и т. п.) удобопостигаемы. Все те имена¹⁰, которые мы приписываем Богу, как, например, благость, мудрость, любовь, святость, вечность и т. п., суть божественные энергии («то, что окрест Божества») и в своей совокупности они представляют собой объект богопознания. Божественные энергии, рассматриваемые в умозрительном или дискурсивном порядке, многочисленны. Переживаемые опытно, в мистическом экстазе, они сливаются в один несозданный, божественный свет. Поясним это на примере, помня, что это будет только грубая, в силу природы описываемых явлений, аналогия.

Если мы общаемся с любимым нами человеком, то общение это может выражаться в сосредоточении нашего внимания на его телесном облике (смотрим, любимся, дотрагиваемся, оцениваем с эстетической точки зрения его формы, слушаем и т. п.). Мы можем также размышлять над результатами нашего чувственного опыта либо над психическими и интеллектуальными качествами любимого человека. Мы можем попросту наслаждаться общением с этим человеком, независимо от какого-либо отдельного аспекта его существования. Мы интуитивно воспринимаем сосуществование его в целокупности всех его атрибутов, внешних и внутренних, дорожа его присутствием, соболезнуя его страданиям, желая жертвовать собой для него... и это есть любовь. Но даже при самой интимной близости мы не можем сказать, что наш друг есть по существу. Даже в отношении к самому себе мы не можем познать, например, в чем суть нашей души. Мы знаем только, что наша душа есть и как она есть... Если мы примем во внимание, что человек сотворен по образу Божию и что он, по свидетельству некоторых отцов Церкви, символично троичен (дух — душа — тело; ум — дыхание — слово и т. п.), то, сохраняя надлежащие пропорции, мы

можем провести некую отдаленную и несовершенную аналогию между человекопознанием и богопознанием. Так как Бог есть чистый дух, то, исключив возможность физического общения и возможность познания, что Бог есть по существу, следует заключить, что Бог предоставил нам возможность познавать, что Бог есть (Ягве - Аз есмь Суций), и в мистической встрече с Ним постигать, как Бог есть, то есть воспринимать Его энергию. А это и есть суть исихазма.

И если смысл жизни человека есть обретение бессмертия в результате *обожения*, то в лице избраннейших и наидостойнейших исихастов мы имеем пример того, что этот процесс обожения может начинаться уже здесь, на земле.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ St. Petri, 17-18, — col. 1081 AB.

² „Xen“ — col. 1081 AB.

³ Гимн X, стр. 63.

⁴ Гимн XLIXIX, стр. 226.

⁵ Проф. архим. К и п р и а н. «Антропология Св. Григория Паламы», YMCA-PRESS, Париж, стр. 61.

⁶ „De libertate mentis“ cap. 23, MPG. t. 34, col. 957 AB.

⁷ Homilia XV, cap. 38, MPG. t. 34, col. 601 BC.

⁸ В. Н. И л ь и н. «Шесть дней творения», YMCA-PRESS, Париж, 1930, стр. 65-71.

⁹ П. Б о р а н е ц к и й. «Основные начала», Париж, стр. 248-249.

¹⁰ Псевдо-Дионисий Ареопагит. «О Божественных именах», Буэнос-Айрес. Игумен Геннадий. «Экскурс о положительном и отрицательном богословии в творениях псевдо-Дионисия Ареопагита», стр. 119-128.

Избранная библиография

Добротолюбие.

Творения святых отцов Церкви.

ИСИХАЗМ

О. Василий Кривошеин. «Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы», Семинариум Кондаковианум, Прага, 1931, VIII, стр. 99-116.

«Откровенные рассказы странника». YMCA-PRESS, Париж, 1948.

«Сборник о молитве Иисусовой», 1936, изд. Валаамского монастыря.

«Беседы о молитве Иисусовой», 1938. Сердоболь, изд. Валаамского монастыря.

Библиография

ГОРЕНИЕ ДУХА

1

В книге «На переломе», вышедшей в Париже под редакцией Н. М. Зернова, — в семейных воспоминаниях самого редактора, его жены, двух сестер, брата, отца и матери, — есть то значительное, что делает семейную хронику подлинно историческим документом: в ней судьбы русской интеллигенции, судьбы самой России, вступившей в начале двадцатого века на путь экономического прогресса и духовного возрождения, трагически прерванный катастрофой семнадцатого года.

Открывается хроника кратким повествованием о пастырской и педагогической деятельности деда Н. М. Зернова — протоиерея Степана Зернова, человека выдающегося, пастыря и церковно-общественного деятеля, пользовавшегося в свое время в Москве большой популярностью.

Вслед за тем идут воспоминания второго поколения семьи — родителей Н. М. Зернова — об их общественной деятельности в Москве и на Кавказе.

Михаил Степанович Зернов, отец Н. М. Зернова, родился накануне великих реформ, в 1857 году. Окончил медицинский факультет Московского университета. Известный врач и либеральный деятель, он основал в Ессентуках общество «Санаторий» для малосостоятельных больных. Ушел в эмиграцию. Жил в Югославии, затем в Париже. Занимался врачебной практикой и общественной работой. Был председателем Московского землячества в Париже и товарищем председателя Общества врачей им. Мечникова. Умер в Париже в 1938 году.

Жена его, Софья Александровна, педагог и общественная

«На переломе». Три поколения одной московской семьи (семейная хроника Зерновых) (1812 - 1921). Под редакцией Н. М. Зернова. УМСА-PRESS, Париж, 1970 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

деятельница, родилась в 1865 году и умерла в Париже в 1942 году.

Наиболее значительны в книге «На переломе» воспоминания и статьи самого редактора Николая Михайловича Зернова и его сестры Софьи Михайловны, недавно умершей в Париже, известной в эмиграции общественной деятельницы, человека поистине замечательного, все силы свои отдававшего помощи людям.

Она кончила, как и ее младшая сестра Мария Михайловна, богословский факультет Белградского университета. По приезде в Париж была генеральным секретарем Русского студенческого христианского движения (РСХД), создательницей и бесшумной директрисой (с 1934 года) Детского дома под Парижем.

Младший брат Владимир Михайлович кончил медицинский факультет в Белграде и Париже. Автор ряда трудов по медицине. Практикующий врач.

Сам Николай Михайлович Зернов родился в 1898 году. Участвовал как доброволец в Белом движении. В 1925 году окончил богословский факультет Белградского университета. Был генеральным секретарем РСХД. С 1925 по 1929 год редактировал «Вестник РСХД». Доктор философии, доктор богословия Оксфордского университета, где с 1947 по 1966 год читал лекции по православной восточной культуре. Читал лекции в качестве профессора и в американских университетах. Автор нескольких книг на русском и английском языках, среди них: «Вселенская Церковь и русское православие», «Русские и их Церковь», «Восточное христианство», «Русское религиозное возрождение 20 века». Много путешествовал.

«Мне было дано видеть, — пишет он, — много мест, знаменитых своей красотой: фьорды Норвегии, острова Греции, каньоны Аризоны, красные пески Сахары, пурпурные скалы Синая, коралловые аттолы Гавайских и Соломоновых островов, тропические леса южной Индии и Цейлона...»

2

Говорят: эмиграция не всегда — неудача.

Стоит уточнить и углубить понятия удачи и неудачи, ког-

да речь идет об эмиграции, переломном этапе в жизни человека.

Конечно, не всех ждало и ждет в эмиграции материальное благополучие.

Конечно, не исключена возможность жизненных катастроф.

Но где-то, в самом важном, духовном — эмиграция это жизнь, в то время как на родине, превращенной в тюрьму духа, всякому мыслящему человеку уготована духовная смерть.

Именно так думает читатель, размышляя над прочитанной книгой «На переломе».

Останься семья Зерновых в России, она могла просто погибнуть. Во всяком случае, неминуемая гибель ждала отца Михаила Степановича, не скрывавшего своих симпатий к Белому движению, помогавшему белым, и старшего сына Николая, участника движения.

Духовная гибель ждала и всю семью, глубоко религиозную, жившую высокими духовными интересами.

Замечательно, что на отъезде, на обязательном отъезде настаивала молодежь во главе со старшим братом Николаем.

По его настоянию семья покинула в ноябре 1917 года Москву, переехала в Эссентуки, по его и сестры Софьи настоянию ушли в эмиграцию.

Прежде всего они (а потом уже родители) поняли, что несет с собой большевизм.

«К концу лета 1917-го года, — пишет Н. М. Зернов, — мы, наконец, встретились лицом к лицу с подлинным кровавым ликом всероссийской разрухи. Распахнулась дверь в черное подполье, и оттуда с ошеломляющей силой вырвалась наружу демоническая ненависть, зависть, страстное желание растоптать, унижить, уничтожить все и всех, кто был или мог казаться представителем павшего строя. Эта одержимость злобой, ослепившая и одурманившая часть русского народа, была объявлена на крайне левой печатью проявлением его сознательной революционности. Социалисты и анархисты различных толков истерически кричали о защите завоеваний революции и о необходимости беспощадного уничтожения всех ее врагов. В этих неистовых призывах всё сильнее звучали голоса тогда еще чуж-

БИБЛИОГРАФИЯ

дой для всей России, но уже целеустремленной кучки большевиков».

В ноябре 1917 года семья Зерновых покинула Москву. Как и многие москвичи-интеллигенты, отец думал, что «захват власти большевиками — лишь краткий эпизод в истории России, и собирался вернуться в свою квартиру в Хлебном переулке на Поварской если не к Рождеству, то во всяком случае к Пасхе».

Русский интеллигент-либерал, принадлежавший к трудовой, творческой интеллигенции, к той лучшей части ее, которая стремилась не к коренной ломке традиционного уклада жизни, а к его совершенствованию, не к разрушению существующей системы и России, а к ее либерализации, Михаил Степанович Зернов видел гибельность пути, на который толкали народ большевики, но всё надеялся, что власти они не захватят, а если и захватят, то долго не удержатся.

Оба они, и отец, и мать, принадлежали к той части интеллигенции, которая особенно была ненавистна большевикам.

«Коммунисты, — пишет Н. М. Зернов, — с особой ненавистью обрушились на этих представителей либеральных и прогрессивных течений, и подавляющее большинство их погибло в красных застенках».

Отец не погиб только потому, что вовремя бежал на юг, а потом ушел в эмиграцию.

С огромными трудностями семья Зерновых добралась до Ессентуков. Когда в Москве началась уже разруха, когда Москва голодала, здесь еще шла нормальная, почти дореволюционная жизнь.

Но вот в Ессентуках утвердилась новая власть, называвшая себя советской, и началось всё то, что было уже пережито в Москве.

«Одно время, — пишет Н. М. Зернов, — нами владели соперничавшие банды большевиков, которые занялись систематическим грабежом местных жителей. Каждую ночь шайка грязных озверевших людей окружала один из домов, стогнала

жителей в одну комнату и дочиста обирала их. Попытки сопротивления карались смертью как контрреволюция».

Затем:

«Наступила страшная, холодная зима. Я старался, по мере возможности, не выходить из дома. Наша семья слилась в нераздельное целое. Упование на Божью помощь согревало нас. Мы старались в то же время морально и материально помогать нашим друзьям и знакомым. Среди казаков всё больше росло недовольство их красными хозяевами».

Недовольство вылилось в восстание. Шла уже гражданская война, время надежд и горького разочарования.

Из Эссентуков бежали в 1920 году с ясным сознанием невозможности признать над собой власть большевиков.

В воспоминаниях Софьи Михайловны Зерновой — путь семьи из Эссентуков, через весь Кавказ, в Тифлис, в Батум, оттуда на английском крейсере в Константинополь, — путь, отмеченный поистине чудесными случаями спасения.

3

В заключительной части книги «На переломе» Н. М. Зернов спрашивает:

«Из какого источника черпали авторы этой книги силы для своего положительного отношения к жизни, для веры в конечную победу добра и правды?»

И отвечает: в Церкви.

К Церкви третье поколение семьи Зерновых — два брата и две сестры — пришло еще в юности. Духовному подъему, вдохновлявшему их, посвящено немало прекрасных страниц книги. Веру, обретенную в страшные годы российской катастрофы, пронесли они через всю жизнь. Церковь, религия, по свидетельству Н. М. Зернова, помогла ему, всей семье увидеть глубинную античеловеческую сущность коммунизма.

«Несмотря на кратковременность нашей жизни под большевиками, — пишет он, — мы пережили в Эссентуках подлинную встречу с советским строем. То моральное отталкивание от него, которое родилось у нас при первом соприкосновении с ним, было вначале более инстинктивно, чем продумано... Со-

БИБЛИОГРАФИЯ

знательное отрицание ленинизма созрело у нас позже, по мере вхождения в Церковь. Она помогла нам увидеть коренное противоречие между христианством, с его учением о свободе и ценности каждого человека, и той псевдорелигией, которую большевики создали в России на основе марксизма».

Утверждая, что коммунисты «никогда не смогут преодолеть своей чуждости подлинной России», Н. М. Зернов считает, что именно поэтому не прекращается борьба между творческой культурой, выросшей на почве Церкви, и коммунизмом; не прекращается и не прекратится.

По внешней своей форме — семейная хроника, — книга «На переломе» — по содержанию своему, по внутренней своей сущности отмечена горением истинного духа добра, который, рано или поздно, должен победить дух зла коммунизма.

Владимир Самарин

НЕ ЛИРА, НО КИСТЬ

Что прежде — проще и легче — всего бросается в глаза, когда читаешь эти небольшие книжки, это та легкая поступь, легкое дыхание, какими выше всякой меры наделены стихи Ивана Буркина. Иные поэты, популярные, сильно эмоциональные, с ударно-эстрадными эффектами, поэты по-настоящему хорошие, а слушаешь их или читаешь — и как-то всё-таки невольно чувствуешь пот, чувствуешь те усилия, с которыми эти поэты добивались даже воздушности, прозрачности — или, напротив, меднозвучности — своих стихов. И невольно вспоминается Маяковский:

А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размолов от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.

Иван Б у р к и н. Рукой небрежной. 1972, 55 стр. Иван Б у р к и н. Путешествие из черного в белое. 1972, 59 стр.

А читаешь Буркина — и кажется, что он шутя, что ли, как сам пишет о себе, — «рукой небрежной», легко набрасывает на бумагу свои строфы, и они так же легко парят в прозрачном воздухе, чуть холодном воздухе его поэзии.

У меня — сказать вам честно? —

Очень легкая рука... —

признается Буркин. И верно, — легкая рука и легкое дыханье. И любит поэтому он легко летящие строчки, короткие, стремительные.

Но вчитываешься, перечитываешь — и понимаешь: не это главное. Не главное даже легкость мелодии стиха. Не звук, не лира, а зоркий глаз живописца: не лира, но кисть. У него весна не водит мандельштамовские хороводы, а

Распечатывала спешно почки,
Разговаривала ласково с грачом,
Вынимала клейкие листочки,
Запечатанные красным сургучом.

У него «дождь упал и сделал дырку на поверхности воды», «в халатах здесь стеганных куры», а

Подсолнух в чинах, в эполетах
На вытяжку, смиренно стоит.

Его слон:

Идет осторожной походкою слон.
Тяжелые ноги похожи на сваи,
На них как цистерна положен живот.

А хобот его — «прочный резиновый противогоаз».

Среднерусский пейзаж Буркина скромнен, трогателен, небо над ним высокое —

В горошинку платья,
Просторы же в слезку,
И в крапинках бедность,
И горе в полоску,

БИБЛИОГРАФИЯ

как в полоску засеянные поля России. Пейзаж небогатый и не изощренный:

Ну что же поделаешь!
В нашей сторонке
Пейзаж не похвалится
Выделкой тонкой.

Но он уютен, как уютно стародадовское житьё-бытьё глухоманных окраин, где

Со старым котом
Все хозяйство мурлычет.

Его Россия — не Русь и не Невидимый Град, Иван Буркин любит Россию не вымечтанную, а вот эту, посюстороннюю, не сказание, а явь:

Ты не Китеж и, может быть, даже не град.
Ты ни тот, ни другой и, конечно, ни третий.
Чепухи, что всегда о тебе говорят,
Накопилось немало за восемь столетий...—

обращается поэт к России в лице стародавнего стольного, а теперь захудалого глухого города. Но панорама России дорога Буркину в ее старине и в ее новизне, вся в ее целом:

Колокольчики, венчики, стёжки.
Вот она полосатая ширь.
В град престольный — кривые дорожки,
И прямые дороги в Сибирь.
То встречает часовня с иконой,
То опять без икон ширина...
То тряхнет вдруг малиновым звоном
Белокаменная старина.
То подкрадется вдруг деревенька,
То поднимется рожь во весь рост,
То подскочит вдруг на четвереньках
Неожиданный дедовский мост.
То калика спешит перехожий,

То калека с Байкала — с сумой,
То солдат, на себя не похожий,
Возвращается с фронта домой...
...Льются песни — и всё про лучину,
Про свечу, что вот-вот догорит,
Про такую родную дубину,
Что как ухнет, то чудо творит.
Там в лесу ковыряется Кама,
А здесь Волга уходит в пески.
А там Дон... Вот она панорама
Вековой полосатой тоски.

(Читатель должен простить меня за обилие цитат: о стихах нельзя рассказывать, — их можно лишь показывать).

Иван Буркин — по крайней мере в этих своих двух первых книгах — почти не говорит о любви. А если иной раз и заговорит, то и любовь его так обрастает пейзажем, так зрительно ощутима обстановка влюбленности, что сама-то она, любовь, уходит на второй план:

Я только что вышел из храма науки.
Бил ветер в лицо. Колыхался вагон.
Я ехал курьерским в губернию скуки.
Жара нестерпимая шла на рожон.

А вот в этой самой «губернии скуки», где скрестились его путидорожки с любимой, в саду

Уйдя с головой в очень толстую книжку,
Сидел очень тонкий, но мой идеал.

У живописца-стихотворца столько впечатлений, внешний мир и тонкие наблюдения природы, и тонкие наблюдения над своим внутренним миром — всё это делает его каким-то скопидомом, жадно собирающим все и всякие, самые мимолетные даже впечатления дня — ибо всё ново в мире, ничто не повторяется:

...день рассыпался на множество новшеств...

Но время беспощадно стирает одни — и приносит новые впечатления. Но время беспощадно уничтожает наше прошлое,

БИБЛИОГРАФИЯ

крушит все устои, всё устоявшееся. Оно — как ураган — переносит нас из страны в страну, с материка на материк. Рушатся не только города, в которых мы живем, — рушатся государства и культуры. И поэт попадает в этот водоворот — но не пропадает в нем:

Я как приток впадал в большую реку
Событий, мчавшихся всегда вперед.
Мой стих шагал размашисто, как рекрут,
И собирался сделать поворот.

Германия конца войны и после войны. Войны, где, в сущности, нет ни победителей, ни побежденных, так как она порушила стеной хребет европейского духа, европейской культуры, европейской государственности. Германия развалин:

А вот мозаика развалин.
В ней до костей обнажены
И стены бывших тихих спален,
И мир уютной тишины.

Буркин и тут тот же живописец — со способностью вживаться моментально в новую обстановку и делать моментальные эскизы с натуры:

Вторгаюсь в шум толпы и колымаг,
Вливаюсь в улицу, в цвета ее и запах.

Он сразу замечает в развалинах города, что «фонтан как рожь изволит колоситься», — и что

Из бронзы вылитый какой-то патриот
Со всей империей свалился с пьедестала.

А теснящиеся в бараках, в рассеченных пополам бомбежкой домах, в подвалах и лачугах «перемещенные лица», часто утратившие даже свои имена — из-за смертельного страха выдачи «на родину», вместе с тем освободившись от всего решительно, даже как-то внутренне стали свободнее:

И все тайны, и души все настезь.
Ни барьеров, ни прав, ни кулис.
Лишь обрывки каких-то династий,
Да обрывки ненастий и лиц.

Предапокалипсическое время. Чувствуется, что не только у изгнанников, невольных чужестранцев, остались лишь «обрывки ненастий и лиц», а и мир-то обмелел и рассыпался, даже смертные грехи измельчали, всё одряхло:

И грехи как орехи,
И стихи как грехи...

И само время уже не катится величественной океанской волной, а надувается, пучится, пыжится:

Мы посмотрим, как движется
Наше время вперед —
Оно, может быть, пыжится
Словно в печке пирога.

Пусть разговоры о «закате Европы» стали теперь почти неприличными — ведь в доме повешенного не говорят о веревке! — но какой все-таки соблазн заговорить об этом:

Уж не запеть ли по-старинке.
Всему конец. Всему капут.
Почем теперь на черном рынке
Эрзац-Европу продают?

Но лучше ли — по существу, не по внешней победительной мощи — положение давно уже не Нового Света? Вот Нью-Йорк:

Теснится небо между крыш.
Толкутся звезды где попало.
Какой в них толк, какой барыш?
И много звезд, но толку мало...
...Вам улыбается плакат,
К вам направляется гримаса,
К вам льнет пустой, как облака,
Колючий запах масс и мяса. ...

БИБЛИОГРАФИЯ

...И мысли некогда вздремнуть,
И небоскреб струится рядом.
Но нужно несколько минут,
Чтобы измерить его взглядом. ...
...Когда же снова луч денницы
Заденет боком небоскреб,
Встают нули и единицы,
И иже с ними. ...

Встают нули и единицы, совсем обезличенные городом городов, превратившиеся в статистические точки, точки пересечения обесмысленного труда и обесмысленного бизнеса — ибо и бизнесмен перестал быть человеком из плоти и крови — его засосал процесс производства и воспроизводства, жить и ему некогда:

По соседству раскинулись бездна и бизнес,
И над ними изделия из облаков...

Нет уже ни облаков, ни человека. Нет уже ни звезд, ни личности. Даже планеты заключены в тюрьмы городов-вавилонов. Все только нули и единицы, только точки пересечения смертной бездны и жизненного бизнеса:

И звезды на юг улетают с насиженных мест.
И кто-то похерил прожектором часть небосвода.
И робкой походкой, минуя парадный подъезд,
На небо луна поднимается с черного входа.

И в это ночное время культуры — европейской, а следовательно, и мировой культуры — тяжело тому, кто еще остается не статистической единицей (или даже нулем), а человеком. Тяжко и одиноко, а еще тяжелее потому, что и Бога-то он потерял на суетном и шумном рынке городов-вавилонов; потому что в пустоте ночного бесконечного пути тянется его трудная жизненная дорога: ведь если он и поминает Бога, то только вышелушенными словами:

Хрустит подлунная дорога,
И на прогулку вышел снег.
Глядит в пустые руки Бога,
Грустит прохожий человек.
Грустит и верит в Божьи руки
И даже в Божью пустоту.
А в пустоте мелькают брюки
И подметают темноту.
Вон на углу фонарь в ермолке..

Хорошие две книжки издал поэт. И, очевидно, был очень строг в выборе написанного. Судя по всему, эти две тоненькие книжки — это выжимка написанного не менее, чем за три десятка лет.

Нет, его стихи при этом не рисунок, чуть подкрашенный цветными карандашами. При всей легкости фактуры, при всей воздушности линий, много и светотени, и пастозности, много и глубины тонов. Но, повторяю, говорить о стихах могут только формалисты и структуралисты. Я же считаю, что нельзя о них рассказывать. А показывать их в цитатах — хватит. Пусть читатели сами прочтут эти две книжки. Они — редкое явление не только в зарубежье, но и вообще в русской поэзии последнего десятилетия. А, может статься, и двух десятилетий.

Борис Филиппов

«РЫВОК»

Мне трудно быть холодным рецензентом книги Эдуарда Кузнецова: перед глазами — не книга, а человек. Его «дневники», прошедшие через тайники тюремных камер и бесчисленные лагерные «шмоны», настолько передают натуру автора, что я так ясно вижу за строчками его твердые и напряженно думающие глаза, так ясно слышу его спокойный голос.

Эдуард Кузнецов. Дневники. Les Editeurs Réunis. Paris. 1973.

БИБЛИОГРАФИЯ

Есть у Есенина такая строчка: «Только в скупости чувства греются...» Вот так у Эдика в скупости внешних чувств всегда слышалось напряжение внутренней страсти борца, несдающегося бойца.

Читая его «Дневники», я вспоминаю, как в 1961 году в Дубровлаге появилась троица новичков: Эдик Кузнецов, Владимир Осипов и Илья Бокштейн. Это они провели еще в 1961 году нашумевшую в мире манифестацию на площади Маяковского в Москве* — отдали себя на казнь ради того, чтобы будить чувство человеческого достоинства в людях, подавленных сатанинским режимом демагогии, жестокости и лжи.

Эдик сразу попал в нашем лагере в компанию интеллектуалов, поэтов и... штрафников: эти понятия слитны в тюрьмах СССР.

Всё для него было ново, но он не поддавался чуждым и ненужным ему влияниям: всё окружающее он пропускал через призму своего осмысливания.

В нем чувствовался философски мыслящий человек. Вот и в «Дневниках» его та же склонность осмыслить и обобщить происходящее. В книге видишь зрело мыслящего человека, старающегося как бы со стороны увидеть периоды жизни, через которые он проходит: отчаяние бесправного советского гражданина, стремящегося легально выехать из страны ненавистного режима; опытного лагерника, готовящего захват самолета и побег из СССР; подследственного, борющегося с органами принуждения и защищающего товарищей и жену — Сильву Залмансон, сидящую тут же, рядом; смертника, приговоренного к расстрелу за то, что нигде в мире не является даже преступлением — за желание выехать из страны.

Особенно интересны и глубоки, с моей точки зрения, рассуждения Эдуарда о том, каково будет значение их попытки побега для людей в СССР. Еще тогда, когда весь мир молчал и не ведал о совершенном, этот запертый в каменном мешке человек сумел провидеть будущее: понять, что их отчаянный акт

* См. В. Осипов «Площадь Маяковского, статья 70-ая» в «Г р а н я х» № 80, 1971. — Р е д.

почти верного самоубийства разбудит и всколыхнет тех, кто мечтает об Израиле, кто внутренне уже свободен, но скован внешними обстоятельствами.

Я видел происходящее уже со стороны, из Израиля. И хорошо помню, как удалось вызвать в свободном мире демонстрации в защиту героев, судимых в Ленинграде, и как сразу после процесса тысячи репатриантов приехали на Родину.

А Эдик еще до тюрьмы понимал, что он и его друзья пробивают путь для других; он понимал, что стоит лишь «подождать», и он уедет спокойно в Израиль, так как отчаяние уже созрело в людях и кто-то пойдет на «рывок», как называли в лагерях отчаянный побег на глазах у конвоя.

Вся группа побега, все 12 человек (10 евреев, один русский и один украинец) понимали в день побега, что им не удастся выполнить план (КГБ ходило за ними по пятам). Но они «уже не могли вернуться», мосты были сожжены, и они рванулись вперед.

Все эти этапы сознания и типы людей остро даны в книге Эдуарда Кузнецова. Удивительно, как смог он в условиях тюрем, этапов и лагерей, сидя напротив вечно бодрствующего «глазка» в дверях или окруженный стукачами, создать этот труд, дающий нам возможность не только поэтапно проследить развитие событий, но и вникнуть в психологическую картину происшедшего.

Одновременно с этим в книге чувствуется незаконченность и незавершенность: ведь автор писал под угрозой обнаружения записей и уничтожения их, не имел возможности даже перечитывать написанное! И это — настоящее чудо, что он сохранил и передал на Запад эти бесценные материалы, свидетельствующие о непобедимости духа. Когда читаешь, как вели себя на суде эти люди, то охватывает чувство гордости за них: Анатолий Альтман просил не за себя, — он просил за Сильву; а Сильва старалась взять чужую вину на себя, думая облегчить участь мужчин, которым грозил расстрел.

Издатели были правы, поместив в конце книги официальные материалы Ленинградского процесса 1970 года, это дает

БИБЛИОГРАФИЯ

возможность читателю, не знающему подробностей этих событий, войти в курс дела.

Думаю, что ошибкой было предисловие... без подписи.

Книга Эдика Кузнецова заслуживает предисловия, в котором будет сказано всё, без умолчаний.

Закрывая книгу, поневоле думаешь: когда же мы увидим автора?..

А. Шифрин

ПОЛНОТА ВНИМАНИЯ

Быть может, иной читатель, раскрыв эти книги и увидев, что затронуты темы о жестоких расправах в годы революции и войны, не захочет вновь переживать минуты, которые стараются забыть. Но Владимир Самарин не так легко отпускает своего читателя. Он заставляет смотреть на страшную действительность новыми глазами, и вы уже не можете оторваться от картины, быть может, знакомых сцен, потому что даже чужое горе становится близким, когда оно не *рассказано*, а *показано*. Когда есть полнота внимания, то не может быть ни скуки, ни отвращения. Это и есть преображающая магия искусства.

Яркая иллюстрация этого приема — в рассказе «Мой однокурсник» (Цвет времени), где спасенная от расстрела девушка смотрит на своего избавителя. Сказано только: «она обернулась — никогда не забуду глаз ее». Потому что есть вещи, на которые можно только намекнуть, — никакие описания не передадут полноты чувства.

Стиль писателя предельно сжатый, ни одного лишнего эпитета, тон почти бесстрастный, но события показаны правдиво, и потому они вызывают волнение, сочувствие.

Владимир Самарин. Песчаная отмель. Рассказы. Изд. «Русская книга». Вашингтон, 1964. Тени на стене. Рассказы. Изд. «Русская книга». Нью-Йорк, 1967. Цвет времени. Рассказы. Изд. Нью-Йорк, напечатана Башкирцевым. Мюнхен, 1969.

Время играет большую роль в повестях Самарина. Об этом свидетельствуют названия его книг. «Я ровно ничего не знаю о времени», пишет он в рассказе «Цвет времени». «Почему оно связано со мной? Может быть, оно само по себе, по своим неизвестным законам движется, то ускоряя, то замедляя ход свой». Прошлое никогда не умирает, оно живет в памяти: воспомина-ния такие жгучие, даже не об утраченном счастье — лишь о возможности счастья. «И никогда уже мне не забыть той доро-ги, тишины леса, запаха листьев и ее волос...» («Живые ли-стья». Тени на стене). Да разве можно забыть подобные сцены! «Я вижу раннее июльское утро, пустынную улицу нашего сред-нерусского города, разбитые дома, кучу щебня и расщепленные осколками бомб куски бревен и досок, в воздухе запах гари, битого кирпича и еще чего-то, чем так странно и страшно пах-нут развалины разбомбленных домов...» («Документы эпохи». Тени на стене).

Автор умеет в нескольких словах, говоря о чем-то второ-степенном, дать почувствовать, как было дорого для героя то самое важное, о чем он говорит лишь вскользь: «Боже мой, я вспоминаю теперь собачье ворчанье, словно голос родного че-ловека слышу» (Тени на стене).

Каждая подобная сцена могла бы быть названа «встречей-разлукой» по-ахматовски, или — проще — «Краткой встречей» (как назван прекрасный английский фильм о встрече двух ду-шевно близких людей). Краткая встреча — чудесное мгновение, где всё предельно динамично, как будто действительно «небо упало в море» (в рассказе с тем же заглавием. Песчаная отмель), и потом — конец, срыв в пропасть. И только в памяти обоих (если они не погибли в годы войны или в «мясорубке 37-го года») воспоминание о счастье («Человек ждет счастья». Пес-чаная отмель) — райское видение залитой солнцем реки («Пес-чаная отмель») или звезд на бархатном небе («Непонятные сиг-налы». Цвет времени). В таком ключе построены почти все по-вести о любви. Чудо бывает лишь раз в жизни и больше не может повториться, но пока вы в его власти, вы не сомневаетесь, что оно бессмертно: «Он думает — она здесь рядом — и теперь они никогда не расстанутся.» («Небо, упавшее в море». Песча-

БИБЛИОГРАФИЯ

ная отмель). «Но завтра не было» — для одного из них, во всяком случае, не было... («Черная молния». Тени на стене).

Автор умеет мастерски усилить впечатление трагизма событий, как, например, в рассказе «Окно на Гудзон» (Песчаная отмель): «угловой дом, где она упала, виден из моего окна». И читатель понимает, что видение ее гибели непрестанно стоит перед мысленным взором героя.

«Невердимая» — рассказ чудесный по сжатости и по глубине запрятанного чувства между строк. Рассказ о девушке — «не наша, дальняя девушка» — уцелевшей во время бомбежки. Как хороша последняя фраза: «И вот уже двадцать лет, как мы вместе».

По художественной законченности хороша картина безысходного отчаяния и покинутости в «Ночных полях» — «молчат ночные поля» (Цвет времени).

В рассказах много ярких сочных красок: «Медвежья гора, покрытая шерстью леса, пила соленую воду Черного моря» («Небо, упавшее в море»). Или: «я смотрел в темноту, где с раздражением шумел океан, и слышал, как у меня обрывается сердце». Шум океана подчеркивает нарастающую тревогу в душе. Между бегством волка — «он скакнул, как пружинной подброшенный, спасая свою жизнь, и оставил глубокий след на снегу» — и бегством человека из концлагеря проведена параллель. Ясно, что «глубокий след» от этих переживаний остался в памяти... («Глубокий след». Тени на стене).

«Волчья падь» — «проклятые болота» — место встречи палача и его бывшей жертвы, у которой память всё еще ранена ужасом прошлого, а кость руки еще не зажила от ударов. Но теперь роли переменились. Рассказ кончается словами: «они узнали друг друга». Читателю предоставляется самому решать, что произойдет между ними.

Имена и прозвища героев тоже выразительны. Девушку (современную!), с подходящей психологией, назвали «Баланси-на» от слова «Баланс»... Такие клички, как «Скрипучее дерево», «Душескреб», как нельзя лучше подходят к их обладателям. «Мешок с дымом» — прозвище самоуверенного начальника, который зря болтает, куражится. В двух словах дан порт-

рет советского чиновника — «Страус». «Он крутил шеей, словно пытался освободиться от накинутаго петли». Ванька Сорин «думал бицепсами».

Автор знакомит нас с подонками общества, — их и людьми нельзя назвать! — которые «исполняют задания в тылу противника». Они преуспевают везде: и на службе у большевиков, и у эсесовцев, а попав в Америку, и там продолжают работать «по специальности»... («Совесьть шакала». «Документы эпохи».) Люди, пострадавшие от них, говорят: «живи, шакал, совесьть сама тебя сгложет. Если совесьть есть, она проявится». — А если ее нет? — в недоумении задают они вопрос. («Совесьть шакала». Цвет времени).

У Самарина сухая, незлая ирония — «Бывшая Марийка» (Песчаная отмель), «Опасная фамилия» (Тени на стене). В той же книге — «Женская душа», а также в сценках американских нравов — «Бутылка малаги» (Тени на стене), «Человек на дороге», «Мощная кисть», «Грядущие барыши» (Цвет времени). У него порой «юмор висельника» — «Чувство юмора» (Песчаная отмель).

Глубоко трогательны рассказы «Душа молится» (Тени на стене), «Архитектурный памятник» (Цвет времени). «Чудеса ведь рядом с нами», замечает один из героев.

Тысяча мелочей, часто сами по себе ничтожные, разъединяют людей, и между ними встает «стеклянная стена» («Пискля и Лёлька»). Но стена эта иногда рушится. В том и состоит, мне кажется, задача настоящего художника, у которого «душа открыта миру», чья личность прозрачна. Читатель всегда благодарен, если ему дают возможность приобщиться к действию, не оставаться только свидетелем «чужой» драмы. Эти требования Владимир Самарин вполне выполнил. Хотя его рассказы очень коротки, но какое в них разнообразие тем и типов! Перед нами развертывается вся гамма человеческих чувств, от самых примитивных, низких — до высших пределов, когда всё временное, человеческое, умолкает, и только душа одна еще способна возноситься к Богу и молиться той молитвой, которая горами движет.

† О. Можайская

Редакционная почта

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В журнале «Грани» № 84 опубликована весьма интересная и выразительная статья неизвестного автора — «Судьба русской столицы», вышедшая в Самиздате в сборнике «Вече» № 1 (от 19 января 1971 г.).

Автор рисует наглядную картину разрушения и уничтожения исторического облика города Москвы, достаточно хорошо известную каждому, кто хотя бы немного следит за тем, что происходит у нас на Родине. Поэтому мы не будем задерживаться на разборе содержания самой статьи, а, что нам кажется важнее, остановимся более подробно на предпосланном этой статье в «Гранях» предисловии, или введении, Б. Сергеева, с некоторыми положениями которого нельзя согласиться.

Не приходится возражать против того, что говорит Б. Сергеев относительно разрушения многих исторических памятников, зданий и целых ансамблей в разных городах мира, особенно в столицах крупных государств; такого рода разрушения связаны, несомненно, с концентрацией в городах деловой жизни и современного моторного транспорта. Коммунистическая пропаганда приписывает эти явления в западных странах «порокам капитализма» (частной собственности вообще и в особенности на землю, погоне за прибылью, анархии хозяйственной жизни и т. п.), которые отсутствуют в социалистической системе, где, следовательно, не должно быть этого отрицательного явления. Однако это не так, и разрушение в Советском Союзе идет еще более интенсивно, чем на Западе. Но сущность этих разрушений в СССР — иного порядка. Б. Сергеев говорит:

«В результате между 1930 и 1940 годами Москва потеряла больше средневековых зданий, чем любой другой город мира» (стр. 118).

С этим вполне можно согласиться, но далее Б. Сергеев пишет:

«Сколько здесь было просто незрелого инженерного азарта

(«улица должна быть прямой и широкой»), а сколько сознательной воли стереть следы религиозно-национальной культуры, сказать сейчас трудно. Инженерный азарт Второй мировой войны затмил любительские взрывы строителей первых пятилеток (там же).

И вот с этим утверждением мы согласиться никак не можем. Тем, кто сам пережил 30-40 годы в Советском Союзе, а тем более участвовал и в строительстве «сталинских» пятилеток, — совершенно ясно, что дело было вовсе не в «незрелом инженерном азарте», а в сознательном партийном, коммунистическом, идеологически обоснованном уничтожении того, что в марксистской теории носит название «опиума для народа», то есть всего, связанного с религиозной культурой. Кроме того, уничтожение вообще всякого наследия докоммунистической, дооктябрьской культуры служило для практического обоснования тезиса, что коммунистическая власть пришла на пустое место и создает всё заново. Все разрушения шли и до сих пор идут, несомненно, под этим влиянием. Вторая причина разрушений, которые происходят не только в Москве, но и по всей стране, — та, что для местной партийной власти любой исторический памятник всегда представляет помеху в том смысле, что является неким центром излучения чуждого и враждебного партийной пропаганде духа, а следовательно, и центром притяжения определенных настроений в народе. Это становится совершенно ясным, если мы посмотрим, что происходит с теми памятниками, которые официально объявляются находящимися под охраной государства. Основная забота местных партийных заправил — найти повод, чтобы снять их со списка охраняемых объектов. И это происходит отнюдь не только в Москве, но и в любых других местах, где никакие соображения и требования (взять участок земли под застройку или расширить за его счет проезд) не могут быть технически обоснованы, как бы ни старались притянуть их за волосы. В качестве иллюстрации приведем некоторые примеры. Сравнительно недавно в газете «Комсомольская правда» был опубликован протест ленинградских деятелей культуры против решения горсовета о ликвидации и сносе ряда памятников — старых исторических кладбищ и квартир писате-

БИБЛИОГРАФИЯ

лей и исторических личностей (последние — в порядке «ремонта жилфонда»). Затем в журнале «Новый мир» № 10/1966 г. в статье Леонида Волынского «Охраняется государством» был опубликован обзор положения памятников на Украине и в Молдавии, в городах Кишиневе, Львове, Чернигове, Киеве и в других местах. Не менее прискорбную картину видим мы также в первой столице Сибири — Тобольске, где подавляющее большинство исторических зданий XVI - XVII веков либо полностью разрушено, либо пришло в полную ветхость, а реставрационные работы натываются всё время на искусственно создаваемые препятствия (см. журнал «Урал» № 9/1972 г., статья «Неразрывность времени» Людмилы Словолюбовой).

Отметим также, что если местным коммунистическим властям не удастся найти повода к сносу или местная общественность добивается своими протестами отмены сноса (что, к сожалению, удастся весьма редко), то соответствующее здание передается для самого неподходящего использования. Например, церкви — под мастерские или склады, причем происходит самое варварское приспособление их для новых целей, и никаких работ по сохранению здания новым хозяином не производится. Подобных фактов — множество как в указанных выше материалах, так и в ряде других публикаций, время от времени попадающихся в советской прессе. Никакие постановления, иногда издаваемые для приличия центральными органами власти, не меняют и ничего не могут в этом изменить. Те ничтожные исключения, которые допускаются для пропагандных целей и одновременного выкачивания валюты из карманов иностранных туристов (например, Суздаль) — ничего в общей картине не меняют. Поэтому надо считать совершенно неуместными и не соответствующими действительности следующие слова вступительной статьи Б. Сергеева:

«В подтексте статьи («Судьба русской столицы»). — С. К.) звучат страхи перед «жидо-масонским» заговором против русской культуры, которые, если быть снисходительным к автору, просто смешны. Идеал автора — полная консервация и реставрация древней Москвы — нереален в наше время при любом режиме» (стр. 119).

Говорить о страхах перед каким-то «жидо-масонским» заговором, якобы звучащих в статье из «Вече», нам кажется, действительно, нет оснований. Все действия по разрушению исторических памятников, начиная со сноса храма Христа Спасителя в Москве или снятия двухглавых орлов с кремлевских башен и до разрушения тобольского кремля или взрыва церкви в любой захолустной деревне — явления одного порядка и отлично укладываются и логически вытекают из уже упомянутых теоретических (Маркс: «Религия — опиум для народа») и из практических основ режима (Ленин: «А на Россию нам, господа хорошие, наплевать!»).

То, что в статье «Судьба русской столицы» фигурирует на первом месте Л. М. Каганович, не есть доказательство неких происков «жидо-масонов», а точное отражение того положения, которое занимал Каганович — один из возглавителей партии — в годы составления проектов реконструкции Москвы, и его роли и влияния в этом деле. А то, что для исполнения и дальнейшего «творческого» развития этих идей и требований тогдашней ВКП(б), высказывавшихся Кагановичем, находилось много исполнителей, это дело обычное. К сожалению, в таких ситуациях всегда находится достаточно исполнителей. Были они у Гитлера: и для «кацетов», и для ведения «научных опытов» в них, и для проектирования, сооружения и эксплуатации газовых камер и печей. Были они и у Ленина, а затем у Сталина — для застенков ЧК-ГПУ-НКВД и социалистического строительства концлагерными методами. Существует и сейчас достаточное количество их для проведения «психиатрических экспертиз» в институте Сербского. И видеть здесь происки и заговор тайных, неизвестных никому сил и тем снимать ответственность с истинных, явных преступников — нет никакого основания. Нет его и в случаях с памятниками во всех «градах и весях» страны нашей! А то, что автор статьи в «Вече» пару раз упоминает в тексте о том, что эти разрушения производились якобы не по программе КПСС и якобы не вытекают из нее, это, увы, обычное, часто встречающееся «оптическое смещение» у многих авторов Самиздата и легальных оппозиционеров демократического движения в СССР. Вот эту нелогичность — склон-

БИБЛИОГРАФИЯ

ность приписывать всё то, что творится, не системе, не партии КПСС и ее возглавлению, а отдельным исполнителям, и следовало бы четко отметить во вступительной статье, а не ссылаться на несуществующие «инженерный азарт» и «жидо-масонский заговор», не существующие в равной мере ни в натуре, ни в статье неизвестного автора.

С. Кирсанов

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Авторханов Абдурахман. Происхождение партократии. Т. I — стр. 728, т. II — стр. 536. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973.

Буркин Иван. Путешествие из черного в белое. Стихи. 1972. Стр. 58.

Буркин Иван. Рукой небрежной. Стихи. 1972. Стр. 55.

Вейдле В. О поэтах и поэзии. YMCA-PRESS. Париж, 1973. Стр. 203.

Вольное слово. Самиздат. Избранное. Документальная серия. Выпуск 8. Р. И. Пименов. Один политический процесс. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 107 и 5 нумер.

Герцог Юрий. Начало эпопеи. Поэма-хроника. Изд-во «Вольная мысль». Вашингтон, 1968. Стр. 95.

Гладков Александр. Встречи с Пастернаком. Париж, 1973. Стр. 159.

Горбачевский П. И. Армагедон. В круге пятом. Издание автора. Рамат-Авив, Израиль, 1972. Стр. 178.

Желудков Сергей о. Почему и я христианин. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 324 и 1 нунум.

Жильяр Пьер. Трагическая судьба русской императорской фамилии. Воспоминания бывшего воспитателя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 153.

Максимов Владимир. Карантин. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 362 и 2 нунум.

Панин Димитрий. Записки Сологодина. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 575.

Панин Димитрий. О революции в СССР. О природе эксплуатации. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 80.

Пылин Борис. Первые четырнадцать лет 1906—1920. Калифорния, 1972. Стр. 213.

БИБЛИОГРАФИЯ

Редлих Роман. Библиотечка солидариста. Серия философская. Выпуск 4. Соборность и солидарность в философии братьев Трубецких. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 27.

То же. Выпуск 5. Диалектика Б. П. Вышеславцева. Стр. 48.

То же. Выпуск 6. Солидаризм и диалектика. Стр. 44.

Русские поэты Австралии. Сборник стихотворений. Издание Русского Дома в Мельбурне, 1971. Стр. 148.

Самарин Владимир. Далекая звезда. Путевые очерки. Нью-Йорк, 1972. Стр. 93.

Солженицын Александр. Том шестой. «Дело Солженицына». О творчестве А. Солженицына. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 662.

Уделов Ф. И. Об о. Павле Флоренском (1882—1943). УМСА-PRESS. Париж, 1972. Стр. 142.

Ульянов Н. Свиток. Изд-во «Киннипиак». Нью-Хэвен, 1972. Стр. 232 и 2 нenum.

Федосеев А. П. Сборник статей из серии «Социализм и диктатура. Причина и следствие». Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 286.

Филиппов Борис. Миг, к которому я прикасаюсь. Рассказы. Очерки. Стихи. Вашингтон, 1973. Стр. 145.

Хазин Е. Я. Всё позволено. Размышления о творчестве Достоевского. УМСА-PRESS. Париж, 1972. Стр. 70.

Хетсо Гейр. (Kjetsaa Geir). Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Universitetsforlaget. Oslo—Bergen—Tromso. Norway. 1973. Стр. 739.

Цветаева Марина. Неизданные письма к Л. Эллису, В. Розанову, А. Ахматовой, О. Черновой, Б. Сосинскому, Л. Пастернаку, Б. Пастернаку, В. Буниной и др. с четырьмя приложениями под общей редакцией проф. Г. Струве и Н. Струве. УМСА-PRESS. Париж, 1972. Стр. 651.

Цетник К. 135633. Часы над головой. Перевод с иврита Ш. Бар-Ор. Изд-во «Nazvi», Tel-Aviv, 1973. Стр. 111.

Чиннов Игорь. Композиция. Пятая книга стихов. Изд-во «Рифма». Париж, 1972. Стр. 116.

Шафаревич И. Р. Законодательство о религии в СССР. Доклад Комитету прав человека. YMCA-PRESS. Париж, 1973. Стр. 80.

Шифрин А. Четвертое измерение. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973. Стр. 468.

Anweiler Oskar und Ruffmann Karl-Heinz. Kulturpolitik der Sowjetunion. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart, 1973. S. 400.

Schon A. Donald. Die lernende Gesellschaft. Vorwort von Robert Jungk. Hermann Luchterhand Verlag. Neuwied und Berlin, 1973. S. 258.

Lange Oliver. Vandenberg oder als die Russen Amerika besetzten. Roman. (Aus dem Amerikanischen von Herbert Schülter). Marion von Schröder Verlag in der Econ-Gruppe. Hamburg-Düsseldorf, 1973. S. 392.

Milits Alex. Tro och makt i Sovjet. Denna bok tillägnas Boris Talantov, Jury Galanskov, Ivan Moisejev, Nikolaj Chmara — fyra kristna martyrer i Sovjet, därmanpaa pappert har religionsfrihet. Den Kristna bokringen. Örebro, 19 maj 1973. S. 213.

Miller R. Arthur. Der Einbruch in die Privatsphäre. Datenbanken und Dossiers. Vorwort von Spiros Simits. Hermann Luchterhand Verlag. Neuwied und Berlin, 1973. S. 376.

Sowjetunion. Außenpolitik 1917 - 1955. Osteuropa-Handbuch. Herausgegeben von Dietrich Geyer. Böhlau Verlag Köln Wien, 1972. S. 618 und XI.

Samarin Vladimir. The triumphant Cain. An Outline of the Calvary of the Russian Church. New York, 1972. PP. 64.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
в № 87 - 88 журнала

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
4	1 сверху	плена	тлена
193	11 сверху	битиё	бытиё
195	17 сверху	Я сижу	И сижу
195	9 снизу	Москва, 66	Москва, 69

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова
Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main



Редакция со скорбью отмечает
смерть поэта и публициста

Александра Николаевича
Неймирока

долголетнего автора
и члена редакционной
коллегии журнала

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА « П О С Е В »
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство « П о с е в », находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале « Г р а н и », в ежемесячнике « П о с е в » или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в « П о с е в е » ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s s e v - V e r l a g,

623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Теперь создалась новая обстановка, которая будет нами учитываться. Но мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО « П О С Е В »

Содержание номеров журнала « Г р а н и » помещено:

с № 1 по № 58 в № 59

с № 52 по № 74 в № 74

с № 75 по № 78 в № 78

с № 79 по № 86 в № 87-88

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

№ 75

(Апрель 1970 г.)

Виктор Вельский — Откровения Виктора Вельского; Петр Вегин — Над крышами. Поэма; Муза Павлова — Ящички. Пьеса; Т. Семенова-Бенини — Константин Паустовский. Главы из монографии; А. Болто — Духовные судьбы России; В. Перелешин — Просторная простота; О. Можайская — Следопыт родных полей; А. Рк. Слизской — Книга о второй мировой войне; О. Емельянова — Зов природы; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 76

(Июль 1970 г.)

Илья Габай — Волхвы. Попытка объяснить замысел. Моя исповедь. Стихи; Варлам Шаламов — Эсперанто. Инженер Киселев. Лагерная свадьба. Татарский мулла и чистый воздух. Последний бой майора Пугачева. По лентлизу. Любовь капитана Толли. Менделист. Погоня за паровозным дымом. Рассказы; Иосиф Бродский — 1 сентября 1967 года. «Отказом от скорбного перечня — жест...» Стихи; Наталья Горбаневская — Стихи, не собранные в книги; Муза Павлова — Крылья. Пьеса; В. Ардов — Встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветаевой; Л. Кузьмич — Борис Пильняк и его роман «Гольф год»; † А. Половцев — Модернизм — духовная революция; В. Ростопчин — Призрак. Страх. Страха ради; М. Перелешин — Обвинительный акт; А. Ранин — О. Манделштам. Том третий; Ю. Арсеньев — Воспоминания поэта-переводчика; Вл. Нежданов — Новая книга о советском шпионаже; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 77

(Октябрь 1970 г.)

Юлий Даниэль — А в это время... Поэма; Варлам Шаламов — Аневризма аорты. Кусок мяса. Припадок. Бизнесмен. Женщина блаженного мира. Сергей Есенин и воровской мир. Рассказы; Илья Габай — В последний раз в именье родовом. Позднее кредо Иова. Стихи; В. Костецкий — Адам, я и капиташа; М. Булгаков — Записки на манжетах. Отрывки; Вечер памяти Манделштама в МГУ; Е. Олицкая — Соловки. Отрывки из книги; Н. Ф. Платтен — Из Зеркального переулкa в Кремль; А. Александров — О повести «Котлован» А. Платонова; Н. О. Лосский — Интуитивизм; Г. Померанц — Человек без прилагательного; В. Перелешин — Апологет ереси; Глеб Рар — «Церковь и Россия»; А. Русак — Пятнадцать веков христианского искусства; Вл. Нежданов — Люди за бортом; О. Можайская — В преодолении рока; Список книг, поступивших в редакцию; Обращения редакции «Граней» и изд-ва «Посев».

№ 78

(Декабрь 1970 г.)

От редакции; Василий Гроссман — Всё течет... Отрывки из романа; Марина Цветаева — На смерть Маяковского. Стихотворение; А. и Б. Стругацкие — Сказка о тройке. Повесть; Д. Руднев — «Замкнутый мир» современной русской фантастики; Вл. Н. Павлов — Исторософские взгляды О. Манделштама; Н. О. Лосский — Интуитивизм. Окончание; В. Перелешин — Залетная душа; А. Неймирок — «Dichtung» и «Wahrheit»; О. Можайская — «Не умеющая солгать»; О. Емельянова — Улыбка Псиши; Д. Орленин — Путешествия Олеария в Россию XVII века; И. В. С. — Еще одна находка; Список книг, поступивших в редакцию; Содержание номеров 75-78 журнала «Грани»; Обращение изд-ва «Посев».

№ 79

(Апрель 1971 г.)

Игнати́й Карамо́в — Стихи; Иван Чай — Языковые трудности адмирала; А. Красно́в — Мое возвращение; Г. М. Ши́манов — Записки из Красного дома; Н. Ф. Платте́н — Из Зеркального переулка в Кремль. Окончание; А. Нейми́рок — О Бунине (1870—1953); Д. Рудне́в — «Замкнутый мир» современной русской фантастики. Окончание; Библиография: В. Пеле́шин — Земной наряд; О. Можайска́я — Под глухими небесами; А. Сли́зской — Воспоминания М. Гольдштейна; О. Емельяно́ва — Стихи на веере; Список книг, поступивших в редакцию; С. Кирса́нов — О концлагерях в очерках В. Шаламова. Письмо в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 80

(Сентябрь 1971 г.)

А. Солже́ницын — Автобиография. Из цикла «Крохотки»: Старое ведро. Способ двигаться. Рассказы; Наум Коржа́вин — Русской интеллигенции. Памяти Цветаевой. Можно строчки нанизывать... Вступление к поэме 1952 года. Стихи; В. Макси́мов — Четверг. Поздний свет. Повесть; Алекса́ндр Петро́в-Агатов — Из цикла «Сначала Кольма. Потом Мордовия». Стихи; Влади́мир Осипов — Площадь Маяковского, статья 70-ая; Приложение — Биография; *** — Казнь Понтия Пилата (О романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»); Г. Померанц — Малые эссе: Счастье. Очень короткая философия. К теории зари. Коан. Бог и Ничто. Реабилитация чёрта; Ива́н Русланов — Молодежь в русской истории. (Продолжение); Библиография: Арка́дий Столы́пин — Ошибочная историческая концепция Вас. Гроссмана; Эммануи́л Райс — Н. Я. Мандельштам. Воспоминания; Л. Рже́вский — Труд огромный и нужный; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 81

(Ноябрь 1971 г.)

Д. Эву́с — Город солнца; Из российской поэзии: Ю́лия Вишне́вская, Та́тьяна Глушкова, З. Дубно́в; Объединение Реального Искусства: Михаи́л Арндт — ОБЭРИУ, Дани́л Хармс — Рассказы, Алекса́ндр Введе́нский — Елка у Ивановых. Пьеса; Рома́н Редли́х Неоконченный Достоевский (К столетиядесятилетию со дня рождения); А. Киселев — Учение Н. Ф. Федорова в свете современности; Д. Поспеловский — Этика и история. (Историософские тенденции в Самиздате); Ива́н Русланов — Молодежь в русской истории. Окончание; Библиография: Д. Рудне́в — Сборник «Русская подпольная литература»; В. С. — Свидетельство эпохи; О. Можайска́я — Двухтомник Анны Ахматовой; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение изд-ва «Посев».

№ 82

(Декабрь 1971 г.)

*** — Никто. Дисангелие от Марии Дементной. Повесть; Арка́дий Цест — Стихи; Никола́й Гребенщи́ков — Раздумия. Эссе; Елена Матве́ева — Стихи. Алекса́ндр Петро́в-Агатов — Арестантские встречи; Приложение: Биография; Л. Рже́вский — Три темы по Достоевскому (К столетиядесятилетию со дня

его рождения); А. Неймирок — «Россию жалко...» (О романе А. Солженицына «Август Четырнадцатого»); В. л. Н. Павлов — Споры о славянофильстве и русском патриотизме в советской научной литературе 1967—1970 гг.; Библиография: Роман Редлих — О «Непостижимом»; Ж. Бай — «Русская литература при Ленине и Сталине. 1917—1953 гг.»; Д. Руднев — Миф «самобытности» и реальность религиозности древнерусской культуры; О. Можайская — Муза поет в луче; Арк. Слизской — Воспоминания генерала Врангеля; Игумен Геннадий (Эйкалович) — Проблема бессмертия в экуменической перспективе; Обращение издательства «Посев».

№ 83

(Май 1972 г.)

Александр Галич — Стихи; Д. Л. — Крест. Рассказ; Андрей Платонов — Государственный житель. Рассказ; Александр Петров-Агатов — Арестантские встречи; Приложение: Биографии; Людмила Клейман — Заметки о «Раковом корпусе» А. Солженицына; Темира Пахмусс — Замоленное произведение Зинаиды Гиппиус; Зинаида Гиппиус — Роман о мистере Уэллесе; Дискуссия о Марксовой теории отчуждения; Я. Трушнович — От переводчика; Милован Джилас — Отчуждение — в природе человека; Михаил Михайлов — Джилас против Маркса; Приложение: Биографии М. Джиласа и М. Михайлова; Д. Руднев — Встреча с Розановым; Библиография: Аркадий Столыпин — Две ценные книги о психотюрьмах; Ю. Трегубов — Лагерный роман; † Памяти Б. К. Зайцева; Список книг. Обращение редакции «Граней» и издательства «Посев».

№ 84

(Июль 1972 г.)

Аркадий и Борис Стругацкие — Гадкие лебеди. Отрывок из повести; Д. Л. — Дверь. Рассказ; Л. Мерцалов — Стихи; В. Казаков — Алданская трасса. Рассказ; Александр Петров-Агатов — Арестантские встречи. Окончание; Приложение: Биографии; Николай Татищев — Гийом Аполлинер — поэт грустного веселья; Судьба русской столицы. Предисловие В. Сергеева; С. Крушель О положении науки в СССР; Игумен Геннадий (Эйкалович) — Учение о человеке св. Григория Паламы; Библиография: А. Неймирок — «День надежды и воскресения»; Д. Руднев — Философия подполья; О. Можайская — Повесть о древнем Пскове; Федор Данилов — Религия и атеизм в СССР; Письмо в редакцию: «Хрущевские разоблачения и смерть Орджоникидзе» С. Кирсанова; Список книг.

№ 85

(Октябрь 1972 г.)

Михаил Булгаков — Блаженство (Сон инженера Рейна). Пьеса в четырех действиях; Из концлагерной поэзии: Игорь Авдеев, Юрий Домбровский, И. Пашков, Геннадий Черепов; Василий — Смех после полуночи; Александр Солженицын — Нобелевская лекция 1970 года по литературе; Людмила Фостер — «Посещение музея» Набокова в свете традиции модернизма; Владимир Осипов — К читателям Самиздата; Мэри Леконт дю Нуи — Пьер Леконт дю Нуи; Библиография: Б. Литвинов — «Раскольник» или жизнь и дела Никоса Казандзакиса; Э. Штейн — От «при сказки» до «советской России»; О. Можайская — Нержавеющий сосуд; Д. Руднев — Улитка на склоне; В. Сладковский — Ваяние в стихах; Список книг. Обращение редакции «Граней» и издательства «Посев».

(Декабрь 1972 г.)

Памяти Юрия Галанскова — Некролог из неволи; Г. Кагановский — В глухой Мордовии... Стихотворение; Андрей Платонов — 14 Красных Избушек. Пьеса в четырех действиях. Вступление Алексея Киселева; Юрий Иофе — Стихи; Александр Неймирок — Пыль... Пыль... Солнце. Рассказ; Глеб Рар — Вступительные замечания к воспоминаниям А. Краснова «Закат обновленчества»; А. Краснов — Закат обновленчества; Людмила Клейман — Человек и природа в произведениях А. Солженицына (Некоторые аспекты темы); Ота Шик — «Пражская весна». От редакции; Доклад; Дискуссия; Виктор Ростопчин — Человек на земле. Смежные записи; Игумен Геннадий (Эйкалович) — О «Церкви Духа Святого»; Библиография; Прот. К. Фотиев — «Ожидание» Владимира Варшавского; Михаил Михайлович — Феноменология царства лжи; Б. Сергеев «Двенадцать стульев»; Д. Руднев — «Дневник писателя» на французском языке; Список книг; Обращение издательства «Посев».

№ 87 - 88

(Январь - апрель 1973 г.)

Владимир Максимов — Прощание из ниоткуда. Роман. Часть первая; Игнатий Карамов — Стихи; Владимир Войнович — Путем взаимной переписки. Повесть; Юрий Иофе — Стихи; Шалом Иосман — Рейс 265; А. Краснов — Закат обновленчества. Окончание; Вл. Н. Павлов — Исторические взгляды Максимилиана Волошина; Д. Руднев — В щупальцах будущего. «Традиционалисты»; Роман Редлих — Философиями рождаются. (О «Практической метафизике» А. Московита); А. Московит — Практическая метафизика. (Главы из книги); Библиография; Д. Руднев — «Чевенгур»; О. Можайская — «Под каменным небом»; С. Подгорная — «Воспоминания» Н. Я. Мандельштам по-французски; С. Кирсанов — Советская внешняя политика; Игумен Геннадий (Эйкалович) — О рабстве и свободе человека; А. Русак — Со знанием и любовью о Святой горе. Список книг, поступивших в редакцию. Содержание №№ 79-86 журнала «Грани». Обращение издательства «Посев».

№ 89 - 90

(Июль - декабрь 1973 г.)

Владимир Максимов — Прощание из ниоткуда. Роман. Часть вторая; Лия Владимирова — Стихи; Аркадий Цест — Реквием о Виолетте. Поэма; Александр Петров-Агатов — Стихи; Александр Неймирок — Памяти Петефи. Стихи; Шалом Иосман — Рейс 265. Продолжение; Ю. Т. Галансков — поэт человек. Сборник. Самиздат; Борис Филиппов — Вячеслав Иванов; Н. Антонов — Годы безвременщины; Петр Одабашьян — Духовный мир героев А. И. Солженицына; Рональд Лэйн — Ф. И. Тютчев (1803-1973); Михаил Гольдштейн — О композиторе Б. Тищенко и советской монополии на музыкальные произведения; Абдурахман Авторханов — Зарождение криминального течения в большевизме («экссы»); Александр Неймирок — «Новый колокол»; Игумен Геннадий (Эйкалович) — Исихазм. Библиография; Владимир Самарин — Горение духа; Борис Филиппов — Не лира, но кисть; А. Шифрин — «Рывок»; О. Можайская — Полнота внимания. Редакционная почта. С. Кирсанов — Письмо в редакцию. Список книг, поступивших в редакцию. Содержание №№ 75-90. Обращение издательства «Посев».

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

И

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ. ИЗБРАННОЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: В Европе — 65 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 33 ам. дол., простой почтой — 27 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 35 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 50 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 27 ам. дол.; простой почтой — 22 ам. дол.

Журналистическая подписка на «Посев» и 4 брошюры «Вольного слова», предоставляющая право использовать весь материал, не снабженный «copyright», без предварительного согласования: в Европе — 240 н. м., в остальном мире (с индивидуальной доставкой возд. почтой) — 270 н. м.

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: в Европе — 78 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 40 ам. дол., простой почтой — 32 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 42 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 60 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 32 ам. дол.; простой почтой — 27 ам. дол.; в Австралии — 20 ав. дол. (по воздуху).

Стоимость подписки в неевропейских странах, кроме США, Канады и Австралии, простой почтой — та же, что и в Европе; авиапочтой — с доплатой за пересылку.

Стоимость в розничной продаже: 5 н. м. — или эквивалент 5 н. м. — для Европы и неевропейских стран; для США и Канады 2 ам. дол; для Австралии 1.60 ав. дол.

VERLAG — POSSEV — REDAKTION

D - 6230 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15

Telefon: 34 12 65. Postscheckkonto 33461 Frankfurt/M.

Bank: Nassauische Sparkasse 161 001 163 Frankfurt/M.

Telegramme: Posseverlag Frankfurtmain

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**В Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

При подписке непосредственно из издательства —
36,— н. м.

При подписке через представителей и книжные магазины —
43,— н. м.

Цена в розничной продаже — 10,— н. м.
(двойной номер — 20,— н. м.)

В США и КАНАДЕ:

При подписке непосредственно из издательства —
15,— ам. дол.

При подписке через представителей и книжные магазины —
18,— ам. дол.

Цена в розничной продаже — 4,— ам. дол.
(Двойной номер — 8,— ам. дол.)

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.

Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

И

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ. ИЗБРАННОЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: В Европе — 65 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 33 ам. дол., простой почтой — 27 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 35 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 50 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 27 ам. дол.; простой почтой — 22 ам. дол.

Журналистическая подписка на «Посев» и 4 брошюры «Вольного слова», предоставляющая право использовать весь материал, не снабженный «copyright», без предварительного согласования: в Европе — 240 н. м., в остальном мире (с индивидуальной доставкой возд. почтой) — 270 н. м.

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

«Посев» и 4 брошюры «Вольного слова»: в Европе — 78 н. м., в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 40 ам. дол., простой почтой — 32 ам. дол.; с дост. обоих изданий по воздуху — 42 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 60 н. м., в США и Канаде возд. почтой — 32 ам. дол.; простой почтой — 27 ам. дол.; в Австралии — 20 ав. дол. (по воздуху).

Стоимость подписки в неевропейских странах, кроме США, Канады и Австралии, простой почтой — та же, что и в Европе; авиапочтой — с доплатой за пересылку.

Стоимость в розничной продаже: 5 н. м. — или эквивалент 5 н. м. — для Европы и неевропейских стран; для США и Канады 2 ам. дол.; для Австралии 1.60 ав. дол.

VERLAG — POSSEV — REDAKTION

D - 6230 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15

Telefon: 34 12 65. Postscheckkonto 33461 Frankfurt/M.

Bank: Nassauische Sparkasse 161 001 163 Frankfurt/M.

Telegramme: Posseverlag Frankfurtmain

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**В Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

При подписке непосредственно из издательства —
36,— н. м.

При подписке через представителей и книжные магазины —
43,— н. м.

Цена в розничной продаже — 10,— н. м.
(двойной номер — 20,— н. м.)

В США и КАНАДЕ:

При подписке непосредственно из издательства —
15,— ам. дол.

При подписке через представителей и книжные магазины —
18,— ам. дол.

Цена в розничной продаже — 4,— ам. дол.
(Двойной номер — 8,— ам. дол.)

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.

Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.